



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

3 (27)' 2018

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Андрей Костинский (Харьков), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Александр Петрушкин (Кыштым),
Юрий Работин (Одесса), Олеся Рудягина (Кишинёв),
Евгений Степанов (Москва), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2018

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Петрусевичюте. Облаков колокола. <i>Стихотворения</i>	4
Одесса: Леонид Якубовский. Красота печальная. <i>Стихотворения</i>	9
Одесса: Анна Стреминская. Розы, польхающие на подвора. <i>Стихотворения</i>	14
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Реквием по снегу. <i>Стихотворения</i>	19

ПРОЗА

Одесса: Александр Леонтьев. Высота. <i>Сборник рассказов</i>	22
---	----

ПОЭЗИЯ

Москва: Евгений Степанов. Между строк. <i>Стихотворения</i>	42
Санкт-Петербург: Елена Тихомирова. Белые страницы бессонницы. <i>Стихотворения</i>	49
Баку – Новый Уренгой: Эльдар Ахадов. Воспоминания о Латинской Америке. <i>Стихотворения</i>	55
Москва: Анна Маркина. Приблудный снег. <i>Стихотворения</i>	60

ПРОЗА

Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. Mini-Mental State Examination. <i>Повесть</i>	65
--	----

ПОЭЗИЯ

Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. Тропами Хо Ши Мина. <i>Стихотворения</i>	78
Ростов-на-Дону: Александр Соболев. Глаз циклона, как глаз циклопа. <i>Стихотворения</i>	83
Евпатория: Елена Коро. Контрабандисты времени. <i>Стихотворения</i>	89
Пермь – Будапешт: Ян Кунтур. Восковые ягоды тиса. <i>Стихотворения</i>	95

ПРОЗА

Киев – Одесса: Елена Шелкова. Старые бородавки. <i>Рассказ</i>	100
Тель-Авив: Ефим Гаммер. Иерусалимские рассказы	103

ПОЭЗИЯ

Кишинёв: Ирина Ремизова. За церковью Архистратига. <i>Стихотворения</i>	106
Воронеж: Валентин Нервин. На краю моих небес. <i>Стихотворения</i>	111
Саратов: Наталия Кравченко. Зима нашей любви. <i>Стихотворения</i>	116
Москва: Андрей Васильев. Бесконечный достоверный снег. <i>Стихотворения</i>	122

ПРОЗА

Одесса: Татьяна Орбатова. На границе эха. <i>Рассказ</i>	127
---	-----

ПОЭЗИЯ

Крым: Квантовая лирика (Марина Матвеева, Ариолла Милодан, Даниэль Бронтэ). <i>С предисловием Юлии Мельник</i>	135
---	-----

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Новая одесская проза. Вступительное слово Евгения Голубовского	146
Янина Желток. Переулочек старой сосны. Рассказ	146
Елена Андрейчикова. Жди меня на причале. Рассказ	149
Анна Михалевская. Путешествуя по крышам. Рассказ	151
Майя Димерли. Червь сомнений. Рассказ	157
Наиль Муратов. Господин Гольдберг и Мария. Рассказ	158
Вадим Ланда. Часовщик. Рассказ	164
Евгений Деменок. Часть вторая. Рассказ	164
Алексей Гладков. Майдан. Рассказ	165
Виктория Коритнянская. Интересные разговоры. Рассказ	166

«ОКОЕМ»

Тверь: Марина Крутова. Стихотворения	169
Липецк: Светлана Пешкова. Стихотворения	171
Гродно: Павел Соловьёв. Стихотворения	174
Напрат-Иллиг: Людмила Чеботарёва. Стихотворения	175
Енисейск: Надежда Осипова. «Сидит белка на суку...». Рассказ	177
Москва: Олег Куимов. Дожить бы до лета. Рассказ	180
Тверь: Любовь Старшинова. Возращение. Рассказ	183
Полоцк: Виталий Москалёв. Стихограф. Стихотворная пьеса в шести актах. Акты первый и второй	187

«СЕТЧАТКА»

Иваново: Вячеслав Океанский. Символическая метафизика дома и дороги в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Эссе	205
Москва: Станислав Айдинян. Феномен Ремарка. Эссе	210

«ШКАФ»

Москва: Андрей Краевский. Если бы они были живы... Ретрорецензия на книгу Левона Осеяна «Умереть в Париже»	216
Москва: Александр Карпенко. Правдивый и свободный птичий язык. Рецензия на книгу Лады Миллер «В переводе с птичьего»	217
Кишинёв: Александра Юнко. «На развалинах дня...». Рецензия на книгу Валерия Кожушяна «Записки прохожего»	219

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

ОБЛАКОВ КОЛОКОЛА

Всё было просто: в полях созревали колосья,
В небе катались, гремя, золотые колёса.
Время росло на дрожжах, как таинственный остров
Из-под воды поднимался, безмолвный и грозный.

Время в полях прорастало зубами дракона,
Было навывлет под рёбра, как скифские стрелы,
Ткалось дождями, как холст бесконечный и белый,
И запекалось в крови, непроглядной и чёрной,

Стутками памяти, пятнами каменной соли,
Медью и золотом вписывалось в хромосомы,
Сыпалось просом и мелким песком на ладони,
И умирало во сне без печали и боли.

Стояли в полях дожди, как белые кони,
И ветер встряхивал мокрой зелёной гривой.
И все были счастливы. Все ещё были живы,
И время лежало яблоком на ладони,

И время текло по пальцам горячим воском,
Стеклянным крошевом сыпалось, мокрым снегом,
Расколотым зеркалом и разорванным веком,
На мокрый асфальт ложилось красной полоской.

Лилось дождями, смывая живую память,
Как отпечатки пальцев стирает убийца
С предметов и книг, и чистые белые лица
Уже не знали, зачем смеяться и плакать.

Стояли сумерки, как кони у воды,
И пили тишину из глубины сирени.
В саду был дом, а в нём бродили тени,
И вечер спал, не чувствуя беды.



На чёрных парусах ночные корабли
Отплыли не спеша от звёздного причала,
И девочка Свобода танцевала,
Раскинув крылья, на краю земли.

Что мне сказала вода? – Уходи отсюда.
Знаешь, у ночи есть дно? Найди его корни.
Крепкие нити сна свяжи на ладони,
И не снимай, а то я тебя забуду.

Переплети дождём дорогу и травы,
Лей молоко на рога ночной кобылицы.
Сбудется то, что тебе наяву приснится,
То, что найдёшь во сне – окажется правдой.

И стояла над городом ночь, в два крыла тишина,
Густая и сладкая, как молоко из реки.

Один за другим загорались сверху маяки,
Чтобы спящие не заблудились в излучинах сна,

Чтобы тот, кто уснул навсегда, не сбивался с пути
К далёким селениям, к окнам домов за рекой,

Где медленный снег укрывает сады, и покой
По раскрытой ладони стекает на рану в груди.

Когда пространство корчится во рту
И обретает форму чёрной речи,
Наружу выворачивает печень
И в клочья разрывает немоту, –

Горят чумные свечи в зеркалах,
И прожигают дыры в каждом слове,
И вязкая смола дымится вместо крови
На обожжённых слышшихся губах.

Дрожит земная ось, гудит дрожа,
И я дышу во власти этой дрожи.
Мне страшно жить, но всё же, всё же, всё же –
Блеснули крылья чёрного стрижа.



И губы вновь прокушены, и рот
Опять твердит бессмысленную песню,
Что смерть является психической болезнью,
И что никто, конечно, не умрёт.

Ну что ж, лети, лети, мой чёрный стриж,
Срезай крылом земную оболочку,
Черти на белом небе чёрным строчку
И повторяй кардиограмму крыш.

Черти единым росчерком пера
Биенье пульса, маленький сейсмограф,
Толчки земной коры, апостроф-остров,
И точку ставь. Давно уже пора.

Я живу в тишине. В тихом шелесте медленных туч,
В серой башне у самой черты горизонта, над морем.
Это древний маяк, и по стеклам его перед штормом
Пробегает зелёный и острый, как лезвие, луч.

От него зажигается в башне сигнальный огонь,
Запускается весь механизм. Штормовая сирена
Завывает, как дева морская, поднявшись из пены,
И торжественно вторит её завыванию шторм.

Десять тысяч испуганных птиц от пределов земных,
Обезумев, летят и летят через край на тот свет,
В те края, где ни боли, ни страха, ни холода нет,
Где прозрачное море спокойно и ветер затих.

Равнодушное небо. Холодные капельки смысла.
Нескончаемый дождь поливает размокшую твердь.
Оскользаясь, съезжаем по склону. Дорога раскисла,
В чистом поле вдыхает рассвет наша чистая смерть.

Этот воздух промывает до стеклянного тихого звона.
Это наша свобода траву задевает крылом.
Мы уходим из дома. Съезжаем с раскисшего склона
И уходим искать наш затерянный в осени дом.

Среди трав, за холмом, возле моря, на запад от ветра,
На восток от луны, возле моря, на старом плато,
Мы находим свой дом. И не ищем иного ответа.
Просто входим и молча стоим, не снимая пальто.



...И ветер сбросит со стола
Буханку хлеба и бутылку молока.
Был душный летний вечер. Ты пришла,
Укутав плечи крыльями платка.

Сказала: будет дождь. Твоя рука
Белела в сумерках, и молоко белело,
И стало ясно, как непрочно тело,
И что любовь моя, как смерть, крепка.

Прохладой веяло от ясного чела,
Покоем веяло от тихих рук и речи.
И стало ясно, что такое вечность,
И что у вечности два шерстяных крыла.

Ранее утро. Запах свежего хлеба.
Я хочу жить с тобой в деревянном доме,
В маленькой роще на берегу залива,

Где тишина стекает по веткам ивы,
Как молочный сон тридевятого неба,
И застывает камешком на ладони.

Я хочу, чтобы ты засыпал счастливым,
Чтобы слышал, как ветер бродит по крыше,
Как по-птичьи свистит в ласточкиных гнёздах.

Как звенят в стеклянном воздухе звёзды,
Как дожди выстукивают мотивы,
Как земля и море, обнявшись, дышат.

А дом качался на ветру
И хлопал крыльями, взлетая,
Кружила в небе крыш крикливых стая
И кто-то шёл по гулкому двору,
По обнажённым лестницам наверх
Взбегал он, как по трапу самолёта,
И двери в пустоту вели кого-то,
И окна раскрывались, как орех,
И в сердцевину этой синевы
Нырля какой-то он
Скворцом в пальтишке,
А город, рот раскрыв,
Глядел мальчишкой,
Всё вверх роняя шапку с головы.



А в небе, раскаленном добела,
Гудели облаков колокола,
И солнце медным куполом гремело.
Горячий звон волной вливался в тело,
И тело раскрывало два крыла.

Поля дремали, до краев полны
Зерном и солнцем, в кольцах тишины,
Среди цветов и пчёл, в медовом царстве,
И ты, как стриж, одним крылом касался
Дороги, как натянутой струны.

ЛЕОНИД ЯКУБОВСКИЙ

КРАСОТА ПЕЧАЛЬНАЯ

Всё лето шпателями правлю стены,
Правилом бы вот так – да по судьбе...
Под штукатурной сеткой, под сатеном
Воспоминанья прячу о тебе.

Теперь всё просто, пережить жару бы,
А к ночи дождь – слезами на престол...
И дождь стучит, как падают шурупы,
Летя из рук на деревянный пол.

Так просто быть не магом, а маляром,
Накладывая свет и тень в слои.
Играть земным или воздушным шаром
Без разницы искусству и любви.

Я забываю о тебе. Шлифую стены,
Чтоб сделать их подобием зеркал.
Под сеткой штукатурной, под сатеном
Твой образ я, как клад, замуровал.

Ничего нет вечного
В памяти планет.
Рая безупречного
Нет, и ада нет.

Святости и грешности
Небольшой урок.
Даже нашей нежности
Обозначен срок.

Ветра дуновение –
Веткой по стеклу.
Наша жизнь – мгновение,
Краткий поцелуй.



Красота печальная,
 Чувствуя свой прах,
 Нервно и отчаянно
 Светится в руках...

И когда вселенная,
 Кончив смертный бой,
 Что и вспомнит тленное,
 Думаю – любовь!

Облетают листья, словно чувства,
 И ложатся в холод умирать.
 В том и проявляется искусство –
 Отдавая, ничего не брать.

Я теперь и сам не отгадаю,
 Женщину любил или её
 Образ. Осень золотою данью
 Платит за земное бытие.

Нас не станет, не устанет литься
 Светом – звёзд сияющая рать...
 Облетают чувства, словно листья,
 И ложатся в сумрак умирать.

Ан. Е.

Хотел бы тебе я устраивать отдых,
 Снимая усталость твою, как рукой,
 В кафе возле моря... А лучше на звёздах,
 В беседке хрустальной над синей рекой.

Ну, в общем, подальше от шума и мира,
 За облаком белым, за света стеной –
 Мы будем пить кофе, и звёздная лира
 Слезами прольётся у нас за спиной.

Мы будем, забыв о печалях на свете,
 Беседовать тихо, смотреть на луну...
 А если прохладный подует вдруг ветер –
 Я пледом колени твои заверну

И, если позволишь, возьму твои руки,
 Дыханьем согрею, к губам поднесу.
 Но ветра не будет. Не будет и скуки –
 Покой и слова. И звезда на весу.



Из слов и созвучий, старанья и страсти
Тебе я придумаю лучший свой стих.
Мы будем смотреть на воздушные трассы,
Как звёзды на землю срываются с них.

Мы скоро вернёмся, допьём только кофе,
Примеряешь лёгкость небесную тут,
И снова земные дороги, как строфы,
Тебя от меня уведут, уведут.

Деревьев воздушные зимние кроны
Одеты в холодный прозрачный хрусталь,
И в воздухе города их перезвоны
Молитвенно льются, как чья-то печаль.

Искристыми ромбами или шарами,
Раскидистой вязью в сиянии льда
Горят лучезарно они перед нами,
В январские смело войдя холода.

Сверканье их звонко, горенье их нежно.
И в мех завернувшись, сквозь дрёму душа,
Так заворожённо и так безмятежно
Всё смотрит и смотрит на них, не дыша.

Она склонилась, задремала будто,
Остановив на телефоне тень руки,
И поняла, что ничего уже не будет –
Ни лета, ни ответов на звонки.

Летела ночь. И Буду золотого
В зеркальной пудренице видела она...
А телефон звонил из измерения другого,
Из долго снившегося сна.

И было ей спокойно. И горела
Над нею люстра тёмного стекла,
Но не могла она и не хотела
Признать, что этой ночью умерла.

ШАХМАТЫ

Вот так на шахматной доске,
Построившись полками к бою,
Во всей отваге и тоске
Играли жизнью и судьбою



Народы, страны, племена.
 Какие конницы летели!
 Мелькали копыя, стремена
 Рвались, звенели стрел метели.

Тура брала полцарства в плен.
 Подобно сумасбродству, бреду,
 Жизнь королевы шла в обмен
 На гениальную победу!

Плелись интриги там и тут
 И вмешивалось провиденье,
 Любовь рождалась на лету
 И умирала за мгновенье.

И трепетали короли,
 И по сей день они трепещут
 На шахматных полях земли,
 Величьем тешась, точно вещью.

Свернулась рукавом безбрежность
 И мир закрылся, как тетрадь.
 Я так мечтал тебе всю нежность
 И всю любовь свою отдать.

Теперь прикуривать от спички
 Так долго можно, не спеша,
 Как будто стала безразлична
 И жизнь и, может быть, душа.

И хорошо и одиноко,
 Разрушив королевство грёз,
 Смотреть в свои ночные окна,
 Не выдав звёзд, не выдав слёз.

В конечном счёте мелодраме
 Заламывает руки шут,
 И смех его направлен к даме
 Распущенный, как парашют...

Всё в мире тянется к спасенью
 И умирает в хоре труб...
 Любви, как хрупкому растению,
 Нужна забота рук и губ.

К. Ш.

Ангел, ангел, ты мой ангел
 Прилетел и на фалангу
 Пальца бабочкою сел.
 Удивительно как смел!



У него твои ресницы.
Ты хотела мне присниться..?
Ангел, счастье ты моё!
У него лицо твоё
И твои большие очи,
А на крыльях звёзды ночи...
Мне подул на веки он
И растаял этот сон.

АННА СТРЕМИНСКАЯ

РОЗЫ, ПОЛЫХАЮЩИЕ НА ПОЛДВОРА

Последний лист в тетради – что на нём оставить?
Пусть капнет дождь, пусть мошка упадёт,
пусть кот пройдёт, следов оставив память,
и вдалеке пусть поезд пропоёт...

Там пассажиры едут к переменам
иль возвращаются к самим себе.
Как школьная доска, земля покрыта мелом,
и каждый ученик приник к своей судьбе.

Заполнить чем? – Бездонным этим небом
и винограда голою лозой...
И первыми морозами, и снегом,
и ледяной на дереве слезой.

Должна бумага зачинать, как поле
и зёрна слов покорно принимать,
чтобы стихом заколосится вскоре,
и чтоб шумела полная тетрадь!

А жизнь свои стихотворенья пишет,
без нашего участия. И мы
лишь иногда строку её услышим,
почти безумны и почти немые.

Знаешь, мне почти уже все равно...
Я в себе ощущаю свободу, неведомую до сих пор.
Я смотрю свою жизнь отстранённо, как чьё-то кино,
покуда не вынесен окончательный приговор.

Свобода от страсти, а также от мнений и слов –
это такое счастье, такой простор!
Зачем я вязла в болоте ревности до сих пор,
если в сетях моих звёздный блестит улов!



И хочется жить, как звери, как вся прекрасная рать их,
а бежать, куда хочешь, пса беспородного вроде...
И, в общем-то, понимаешь: это животные – наши старшие братья,
а нам бы у них поучиться искренности и свободе!

Рушатся наши домики –
карточные – жилые.
Мы в них почти что гномики –
кажется, даже живые.
Или почти муравьи мы,
наш муравейник непрочен...
Зависимы, уязвимы,
и жаждем все новых пророчеств!
Пряничные, леденцовые –
домики временем скупаны.
Замки воздушные, новые,
будут подавно разрушены.
Дома ледяные растаяли,
дома из бревен сгорели.
Омыты волнами-стаями,
песчаные замки чуть целы...
Сгорают мосты и падают,
особенно те, что меж нами.
И то, что нас больше радует,
назавтра окажется в яме.
Жизнь из берегов выходит,
смывая всё на дороге.
Конструкции наши вроде
дикарских – смешны, убоги...

И вот восторг: всё рушится и тает –
всё достоянье Снежной королевы –
и белый мех её, кристаллов стая,
и слитки серебра, и выюг напевы...
Под крышами – озёра и запруды,
ежесекундно капает с сосулк
сияющее золотое чудо
и озаряет светом переулк.
Так каплет время – равномерно, чётко...
Весны клепсида установлена до срока.
И отбивает на снегу чечётку
весёлая и хитрая сорока.
На крыше джаз – оркестр выступает,
и рыжий кот солирует надменно.
А солнце золотит его, играя,
так щедро, радостно, самозабвенно!
И звонкий воздух полон обещаний,
в душе желанья детские проснулись.
И хоть дома заполнены вещами,
надут ветрами белый парус улиц!



НЕЗНАКОМЦЫ

Земля незнакомцев кружится юлой без конца...
 Не знают друг друга ни муж, ни жена, ни друзья,
 сын маму не знает, и дочка не знает отца.
 В познание любом есть предел, за который нельзя!

Тиран приближенных не знает, хозяин – гостей.
 Влюблённые любят придуманный образ чудной...
 Не знает газетчик реальных, правдивых вестей.
 Но что-то открыто поэту из сути земной!

Поэт хочет знать, что и где происходит, любя
 весь мир – сумашедше-прекрасный, ужасный, большой...
 Но самое страшное: каждый не знает себя!
 Себя не познав, не познаешь и космос чужой.

Он говорил: «Расскажи мне свой сон, я не вижу снов никогда,
 лишь только ослик однажды приснился, тёплые губы его...»
 И я ему говорила про страны, дворцы, города,
 про людей в восточных одеждах – им танец важней всего!
 Про рай в виде летней деревни, бревенчатые дома,
 сады и цветы, и крестный ход вдалеке...
 Про ад, как большой коридор, и дверей в нём – тьма,
 и ты в нём плывёшь, как по быстрой, тёмной реке...
 Он мне говорил: «Какая счастливая ты!
 Это такое счастье – умение видеть сны,
 читать сновидений книгу, расцвеченные листы
 перелистывать бесконечно, иные едва видны...»
 А в это время шумел его старый сад,
 как будто на что-то пытался давать ответ.
 Он умер недавно, и сны теперь без преград
 он смотрит свои, настоящие, реальней которых нет.

Жил в нашем доме сосед – такой молчаливый, такой простой,
 может, он был шофером, об этом не знает никто...
 И жена его черноглазая умерла совсем молодой,
 а его черноглазая дочка носила её пальто...
 У соседа бывали запои, и он приходил на бровях,
 лежал перед входом, мычал, прося отворить его дверь.
 А потом заползал, иногда задерживаясь в дверях –
 ведь такой приход не может быть без потерь.
 Дочка потом упорхнула и больше не появлялась здесь,
 а он приходил на бровях, но вдруг захотел красоты...
 И однажды, когда был трезв, то преобразился весь:
 он разбил красивые клумбы и посадил цветы.



Но главным там был огромный розовый куст,
и розы, пунцовей и жарче которых нет.
Он построил беседку, чтоб дворик наш не был пуст –
белую и зелёную, для душевных бесед.
А потом он умер, в июле, когда пришёл на бровях,
его убили жара и водка – он не дожил до утра.
Но он так хотел красоты – ему светили впотьмах
розы, полыхающие на полдвора...

Что же Господь хочет сказать снегом?
То ли, что всё едино, и нет причин для печали...
Что там за знаки ложатся звериным следом?
Что за сады расцветают на стёклах ночами?

Что же Господь хочет сказать цветами –
вспышками радости в суетном жизненном тренье?
То ли, что радость недолго пребудет с нами,
и за пожаром красок идёт гниенье?

Что же Господь хочет сказать пожаром –
древним огнём, съедающем всё живое?
Этим оленем несущимся и поджарым,
что от огня ушёл, но остановлен водою?

Что же Господь хочет сказать водою?
Каплями на лице, колодцем чернее сажки,
Радостными ручьями или страшной бедою...
То ль, что вода устанет и снегом ляжет?

Дворник, метущий аллеи,
листья сгребает в холмы.
Листья, всюю пламенея,
падают кротки, немые...

Дворник шаманствует видно,
листья сжигая в кострах.
Жертвенный дым змеевидный
горек. И он им пропах.

Но среди листьев и дыма
звёздный случается час.
Звёздные пилигримы
движутся, радуя нас!

Звёзды срываются с неба:
не листопад – звездопад!
Он бы и дворником не был,
если б не этот парад.



Лучшей метлою сметает
он эти звёзды в холмы.
Их он в мешки собирает
после дневной кутерьмы.

Ноша бывает большая –
лучший подарок жене.
Дом свой они украшают –
счастье мигает в окне.

Каждую ночь, до рассвета
двор их сиянием полон.
Словно кусочек планеты
звёздною солью посолен!

– Разве плохо тебе, что ты родилась?
Разве плохо тебе, что ты родилась?
А могла бы совсем не родиться
и быть чёрной и склизкой водичей,
рваным ветром, слепым одиноким лучом,
электрички гудком и оплавившей свечой,
и безжалостным словом, печною золой,
и листком, что теряет свой цвет золотой,
и, сгорая в костре, вьётся в небо змеей...
– Но я также сгораю в костре, дорогой!

ВЕРА ЗУБАРЕВА

РЕКВИЕМ ПО СНЕГУ

Есть город, который я вижу во сне...

*Песня «У Чёрного моря».
Стихи Семёна Кирсанова*

1

Луна маячит на последнем этаже,
Словно готовится к прыжку с вышки.
Машины шуршат по мостовым, как мыши,
И юркают в норки гаражей.
И снится снег, и плавьёшь, и плавьёшь
Вдоль берега ночи по его млеку,
И Город сам на себя не похож,
И память о нём из снежных молекул.

2

Время заканчивается там, где вода.
Мы спим и движемся вереницей туда,
Где сверху сияющее, а внизу беспросветное,
И будущее пятится в никуда,
И на дудочке древа играет ветром.

3

Когда просыпаешься, всегда ночь.
Толщю её не пробьёт и слово.
Засыпаешь – день. И всё точь-в-точь
Повторяется от одного пробужденья до другого.

4

Дно кровати – травы и мох,
Пружины корней уходят в подземелья
Снов, застающих всегда врасплох
Сознание, потерявшее бдительность в теле.
Город тикает. Полночь. Свет.
Мина ходиков поджидает бессонницы
Там, где ты есть, – тебя уже нет,
Хоть одно с другим никак не сходится.

5

...И снится будущее. И все идут
 С закрытыми глазами, и море в блёстках,
 И плавно вздымается его батут
 Под ангелами парусников и детьми в матросках.
 И ты летишь, и весь мир – вода,
 И ничто не шелохнётся над сияющей гладью,
 И горны ангелов отлиты изо льда,
 И музыка сфер неподвластна восприятию,
 И матери в белом... А потом, а потом
 В казарме вселенной трубят подъём.

6

И ты подскакиваешь. А жизнь твоя
 Продолжает парить над ареной моря,
 И дрессированная семья
 Чаек разлетается в каком-то узоре,
 И степь заплетает косу, и склон
 Смотрит, как солнце зреет в зените,
 И колокол облака хранит в себе звон,
 И шмель раскачивается на солнечной нити.
 А ты выполняешь «бегом арш!»
 По жизни своей, в воронку отброшенной
 Взрывом будильника. И в почтовом ящике –
 Похоронка будущего, ставшего прошлым.

7

И всё раскалывается – память, жизнь,
 И думы о прошлом, будто бомжи,
 Блуждают в обломках эпохи.
 И прежние радости нехороши,
 И новые радости не для души,
 И Город застыл на вдохе
 Гигантского оползня. Ночью слышней,
 Как движутся мысли песков, камышей
 Под театром бульваров и скверов,
 И кто не уснул, тот не сможет уже,
 А тот, кто уснул, содрогнётся в душе
 От вида подземных карьеров.

8

Над морем раскинулся Город-гулаг.
 Беззвёздная ночь – его траурный флаг.

Его стережёт часовой без лица,
 Без рода, без Матери, Сына, Отца.

И надзиратель с оползнем глаз
 Шарит по улицам в сумрачный час.



Город отрезан, город в беде.
Спит бескозырка на чёрной воде.

Что там под ней? Чернота? Пустота?
Город молчит. Неспроста, неспроста.

Ветра набат. Осыпается дом.
Город залёг на дно катакомб.

9

И ёжится море посреди снегов,
И метель из шуб, самоваров и писем
Его укутывает, но не спится
Морю под тяжестью метельных снов.
А ночь надвигается со всех сторон,
И ветры захлёбываются в агонии,
И море вьюжится множеством волн,
И Город мерещится с колокольнями,
И слух улавливает перезвон пурги,
А купола застигает снегом,
И на расстоянии вытянутой руки –
Пристань, чайки, обрыв над берегом,
Ты на краю... И смотрят ввысь
В ожидании будущего дети в матросках.
Но будущего нет. И мелькает мысль:
«Нет – и не надо». А потом – воздух.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

ВЫСОТА сборник рассказов

ЗВЁЗДОЧКА

Каждое утро, когда я просыпаюсь, я вижу, как в тёмном окне светится звёздочка, прямо слева, возле мамино клоуна, в синем комбинезоне и золотистом колпаке.

Сейчас зима, и вставать совсем не хочется. Я слышу, как шаркает в гостиной своими большими тапками папа, как гремит на кухне посудой мама, и закутываюсь сильнее в одеяло. Мне тепло и хочется ещё полежать, вспоминая мою любимую страну Гагарию, где живут мои любимые птицы, пушистые гаги.

Звёздочка мигает сквозь синее окно, а клоун улыбается мне своими красными, раскрашенными губами.

– Ты мой клоун, – говорит мне мама. – Раньше был папа, а теперь ты.

– Нет! – восклицаю я. – Я не клоун – я балерина.

Я слышала, как вчера Светлана Александровна говорила маме: «Понимаете, у неё слабая “выворотность”, и ещё она слишком стесняется. В зале у неё всё получается, а когда начинается репетиция, она сразу тушует, прям не знаю, что делать».

Мама вздыхает и говорит: «Ну, может, со временем она разовьётся».

– Может, посмотрим, – говорит Светлана Александровна и пожимает плечами.

Обидно мне всё это слышать, честное слово. Ведь я так стараюсь.

И хотя я начала заниматься балетом прошлой осенью, когда пошла в первый класс, я уже многих «обскакала», как говорит папа. Кто-то перестал ходить, кто-то так и ходит в младшую группу. А я уже в средней, и у средней планки стою. Но других берут в спектакли, а меня – нет. Это потому что я сильно волнуюсь, хотя у меня и растяжка лучше, и спина, и шея, и фигура – балетные.

Так сказала тётя Наташа, папина знакомая, а её дочка уже кончила балетную школу и уже танцует в театре. Я тоже так хочу.

Недавно я должна была играть гусеницу. Нас там несколько: и Вика, и Марина и я. Ходишь под зелёным покрывалом с головой гусеницы по сцене, только ноги видны и всё. Но меня так и не взяли на роль. Почему, не знаю. Взяли Вику Родзянскую. А Вика – ленивая, и двигается никак, но её взяли. А она совсем не старается, ей всё равно.

Она мне так и сказала:

– Мне всё равно. Я не хочу сюда ходить. Я рисовать люблю больше.

Я тоже рисовать люблю. Но балет мне даже снится. И папа говорит, что я даже во сне поднимаю ноги, как в танце.

Папа даже беспокоится очень. И просит маму узнать, нормально ли это.

Когда меня не взяли на гусеницу, я очень расстроилась. А папа заметил это и сказал, чтобы я меньше старалась. Когда он мне говорит такое, у меня даже слёзы из глаз, и я кричу ему: «Как, как я добьюсь чего-то, если я не буду стараться!?»

А он говорит:

– Твоё всегда легко и всегда будет с тобой, и от него на сердце тепло.

Боже! Папа такой глупый, он так меня раздражает. И маму тоже, когда говорит такое. Мне даже хочется шлёпнуть его по попе, честно! Ну, как он не понимает, что мне это надо. Я каждый день вижу себя на сцене «лебедем», да.



Когда я посмотрела в Интернете «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой – потом не могла уснуть, так сильно мне понравилось, разнервничалась и наелась шоколаду, этих Киндеров, ну, вы знаете. Мне нельзя, но я их как-то припрятала, вот и бегала, ела тайком, – у меня ещё так ацетон поднялся, что врачи ночью приезжали, укол делали.

Папа ещё ругался очень. И кричал, что это всё от балета, и не верил, когда я призналась, что много шоколада съела в тот вечер.

Да, «Лебединое озеро» мне часто видится. И как я танцую, кружусь, делаю фуэте и подпрыгиваю, и лечу над сценой в огнях звёздочек...

Когда мне папа говорит такое, ну, про это «легко», мне обидно, ну как он не понимает, что я очень хочу на сцену.

– Я ему так и говорю: «Я хочу!»

А он только пожимает плечами.

И мне его даже укусить хочется. И я гоняюсь за ним и хватаю за руку, или запрыгиваю на колени, обнимаю, кусаю его за щёку или за шею, так легонько, не по-настоящему. Хочу, чтобы он знал, что для меня это важно.

Но он только отбрыкивается и шутит, падает на пол с дивана. А я запрыгиваю сверху и мутузю его, потому что папа моя любимая игрушка.

Да, папа, моя любимая игрушка...

Мы играем с ним в куклы, ни с кем я так не играю.

Вот, кажется, идёт мама, сейчас начнёт будить меня, а я притворюсь, что ещё сплю.

Звёздочка мигает на небе, а окно уже не синее, а голубое. И всё больше света в окне. И ещё сорока трещит на дереве, вот, тоже мне – трещотка ещё.

– Котя, Котенька, – вставай моя хорошая, поднимайся. Вставай, а то опоздаешь, у тебя первый урок математика.

Мама отдёргивает шторы, звёздочка моя едва-едва светится. Но она ещё рядом со мной, и всегда будет, наверное. И в моей Гагарии тоже. Да, там тоже она будет со мной.

– Мама, я не хочу идти в школу, – говорю я вдруг.

И мама удивлённо смотрит на меня.

– Как не хочешь? У тебя же контрольная по математике.

Лучше бы она этого не говорила.

– И ещё труд, и физкультура, и пение. Какую кашу тебе приготовить: жёлтую или овсянку?

– Жёлтую.

– Ой, кукурузная, кажется, закончилась.

Я поднимаюсь и вижу, что звёздочка моя почти растаяла, вот – ещё раз вздохнула – и её уже нет.

– Быстрее, доченька, а то опоздаешь...

Как не хочется идти в школу... Правда, там есть подружки, и ещё Лёва, новенький, в этом году только к нам перевёлся.

Он так странно ведёт себя, не дерётся, не носится в классе, как другие на перемене, а сидит, играет на телефоне и смотрит так странно, глаза у него синие, большие, нарисовать хочется, обязательно нарисую. Да, и ещё он немного смешной, и фамилия у него смешная – Кукушкин. Над ним все подхихкивают, – а я нет!

Все мальчишки – дурилы – орут, что самая красивая в классе Лорка Ницевич, хотя, что в ней особенного?! Ну, носится вместе с мальчишками и ещё может треснуть книжкой по голове. Да, все орут, а Лёвка молчит, своими делами занимается.

А ещё сегодня урок физкультуры. А я бегая быстрее всех, даже мальчишек! Пусть эта Лорка посмотрит. Правда, меня она не задирает. Да, но пусть посмотрит.

Ну, вот, опять эта овсянка, со стручками. А я от них давлюсь и глотаю кашу быстро, зажмуриваясь, до слёз...

Звёздочки моей уже нет, только розовый свет в окно, много света, и ещё коты орут, и баба Валя, соседка, уже кормит их и зовёт своего любимого: «Беня! Беня!».

А я зажмуриваюсь и вижу много звёзд вокруг, и большой зал полон публики... прыжок – и я полетела.

Опять пришла мама, сейчас торопить будет. Зима. Выходить не хочется.



На математике я что-то пишу, наверное, правильно.

Лёву посадили на последнюю парту, прямо за мной. Он совсем не старается, сразу видно. А у нас все стараются, хвастаются оценками, и я тоже.

Вот и физкультура, смотрю, все собрались вокруг Лорки – шушукаются. Чего, спрашивается? А, ну их.

Переодевшись в спортивный костюм, я начинаю разминаться и делаю фуэте, так просто, от нечего делать, вовсе не воображаю, честно.

А эти шушукальщицы затихли, смотрят на меня. Пусть смотрят, не жалко.

И вдруг слышу голос за спиной: «Ты – звезда, настоящая!».

Оборачиваюсь, Лёвка стоит, улыбается, даже бросил переодеваться.

Как здорово! Я так счастлива! Зима – лучшее время года! А гусеницу пусть Вика играет – мне всё равно! И пусть говорят, что Лорка самая-самая... На сердце ведь так тепло и легко. Да, очень! Но папе я не скажу об этом. Нечего! А то зазнается ещё.

УРОК МАГИИ. ВЕТЕР

– Сперва научись контролировать ветер.

– Как это?

– Ну, вот, смотри, расставляешь руки пошире, как крылья, закрываешь глаза и говоришь: «Ути-ути, ути...хни». И ветер затихает.

Лёвка удивлённо смотрит на меня.

– Да ну?

– Попробуй, только нужно очень зажмуриться, и сильно-сильно захотеть, тогда получится.

Мы идём через парк. Жмущусь от солнца, листочки золотисто-синие. Ветер. Пух попадает на лицо и очень хочется чихнуть, и чешется нос, лоб, и щёки.

Возле фонтана, на котором мраморные мальчик и девочка льют воду из кувшинов, мы останавливаемся.

– Давай, попробую.

Лёвка отводит руки в стороны, зажмуривается и шепчет:

– Ути-ути-хни!

Так странно. Ветер вдруг, как по команде, затихает.

Лёвка открывает глаза и удивлённо озирается по сторонам.

– Вот, видишь! Я же говорила!

От радости я хлопаю в ладоши и бегу по асфальтированной дорожке навстречу солнцу. Так здорово! Мы уже такие большие, окончили четвёртый класс и теперь переходим в гимназию. Не все, конечно. Но я так хочу, чтобы Лёвка учился со мной дальше, но он ещё не решил.

Лёвка гонится за мной, что-то кричит, но я не слышу, сиреневый ветер в лицо, оборачиваюсь и вижу, что он настигает меня.

Остановилась, увернулась от него, ух! Не могу отдышаться.

– Но только это совсем просто. Ну, чтобы приручить ветер, понимаешь? Зато дерево оживить – вот это да!

– Чего? Чего?

Лёвка тоже запыхался и покраснелся, смешной такой. Так смешит на уроках, да, иногда такое напишет на доске, или скажет, что мы падаем.

Учителя замечания в дневник ему строчит. А ему хоть бы хны.

«Ты мой клоун!» – хочу сказать ему. Но боюсь, а вдруг он обидится. Что тогда?

Хотя, вообще-то, не люблю клоунов. Они смешат так ненатурально. И цирк не люблю. Да, я не люблю цирк, потому что звери не ходят по залу, и их нельзя обнимать и тискать.

А ещё у меня тайна, только ему покажу. Он же мой друг, мальчик, не то что Мыльный Пузырь, или Вика, или Анжела с балета. Сегодня они подружки, а завтра просто шушукальщицы.

Нет, Лёвка, он другой. В конце года проводили тестирование, он больше всех баллов набрал. Отличники обзавидовались, да, ну, кроме меня, конечно. Но только все хотят с ним дружить, даже они, только не хотят признаться.

Он смелый, вот что главное! И делает, что хочет. Ему дома всё разрешают. И говорит, что хочет, даже учителям. А я стесняюсь. Да, он очень смелый, очень, и с ним легко...



А ещё он умеет слушать. А ведь я так люблю рассказывать про всё, про всё, и про балет, что я мечтаю танцевать в Гранд-Опера, и про школу, ну, что мне не нравится, что оценки ставят незаслуженно, и многое ещё чего. А он кивает, и смотрит на меня так странно, мурашки по коже, даже поцеловать его хочется, ну, в шутку, конечно.

Мыльный Пузырь хвасталась, что со второго класса целуется, но я в это не верю. Ведь никто же не видел. И папа говорит, что всё это враки, я иногда с ним советуюсь, ну о чём мальчишки мечтают, и всё такое...

Недавно я пригласила Лёву на балет, где я буду танцевать среди главных теперь в «Щелкунчике».

Сначала я танцевала солдата, а потом маленькую крысу, а теперь уже фею на пуантах. Да, я хочу, чтобы он увидел меня на сцене, я хочу его заморозить, потому что там магия. Шучу, конечно. Просто хочется, чтоб он слушался меня немного и всё.

– Да, дерево оживить намного сложнее.

– А как, как это?

– Вон, смотри, какая акация...

Среди цветущих, в парке растёт одна, даже смотреть на неё грустно.

– Вот, я сейчас поговорю с ней, обниму, и скоро цветы на ней будут.

– Шутишь?

– Сам увидишь.

– А я тоже иногда слышу, как деревья поют, и даже говорю с ними. Мы с мальчишками ходили в лес за подснежниками, и я слышал, как дубки жалились, что им зябко, и хотели тепла. Веришь?

– Да, верю.

Я, конечно, люблю присочинить, как говорит папа. А это чудо он мне сам показал прошлым летом, но так хочется удивить Лёву.

Подбежав к дереву, я прижимаюсь щекой к тёплой коре и шепчу: «Голос, голос, оживай, свежим соком наполняй, веточки, листочки, веселые звёздочки-цветочки».

Повторив так несколько раз, я подхожу к Лёве.

– Иди, сам попробуй.

И он тоже обнимает акацию и повторяет за мной заклинание, повторяет, как следует, громко и чётко.

А потом мы бежим из парка к театру, возле которого стоят фургоны частного цирка.

– Вот, они здесь, – показываю я на фургон, с маленькими окошками, на которых решётки.

– Ух ты! – замирает Лёвка перед большой клеткой на трейлере, в которой спит тигр, один жёлтый глаз только посверкивает на нас.

– Ты что, тигра в зоопарке не видел?!

Но Лёву не сдвинуть, стоит, как вкопанный, разглядывает полосатика.

А тот отвернулся и лижет лапу себе.

– Ну, идём же давай, – ташу я Лёву.

Мальчишки такие упрямые иногда. Кажется, что всё делает, как я хочу, а потом раз – с места не сдвинуть. Ну, вот, наконец-то.

– Это здесь, – вновь показываю я на фургон, из которого раздаётся глухое урчание.

– Здесь они, – поясняю я.

И в этот момент, в окошке, между прутьями решётки появляется мокрый нос медвежонка.

– Им же тесно там! И окошко такое маленькое! Как же дышат-то они?!

– Вот и я говорю, спасать их надо. Цирк-то частный, хозяева, что захотят с ними, то и сделают.

А если зверь заболит, то и усыпить могут.

– Как это, усыпить?

– Ну, укол такой делают и всё.

– Что всё?

Ух, как я волнуюсь, вы бы знали, когда таких простых вещей не понимают.

– Как же ты не понимаешь, – зверь умирает тогда.

Молчит. Нахмурился. Думает, аж глаза заблестели...

– А я ещё в цирк собрался.

Смотрит мимо.

– Я, кажется, придумал, – произносит он твёрдо.

– Что? Что?!

Хватаю я его за рукав футболки, заглядываю в глаза.



- Потом скажу.
- Скажи, скажи сейчас.
- Нет, потом, идём отсюда.

Лёвка поворачивается и уходит. Он идёт очень быстро и даже не смотрит, иду ли я следом. А я уже чуть ли не бегу за ним, едва поспеваю.

Но мне почему-то весело, и жутко интересно, и страшно, что он такое надумал. Ведь он-то умеет такое выкинуть иногда, что дух захватывает!

Ах, как колотится сердце, аж в висках горячо. А ведь мне ещё готовиться к выступлению, каждый день репетиции, и каникулы целое лето... и так хорошо и весело!

ВОЛШЕБСТВО

Вчера мы выпустили их на свободу. Охранник убежал тушить огонь возле цирка, ну, – а мы тут как тут, – всё успели. Медвежата громко урчали, а тигр в клетке проснулся и рыкнул так, что мы чуть не померли, от страха.

Юрка до сих пор сидит дома и дрожит. Я звонил ему, говорит, что заболел, но я не верю. А Вовка уехал к бабушке, смылся по-тихому. На звонки и эсэмэски не отвечает. Отдувайся за них теперь, хотя, кто ж догадается?

Ей потом расскажу. Она уехала в Берлин с балетом, там конкурс какой-то. Красиво танцует, да, – будто другая. Хотя, что в этом балете особенного? Ну, прыгают, бегают, смешные такие. И ещё этот дядька, который из крысы превратился в принца, сам взрослый, а вокруг дети – смешно. Не пойму только, чего вспоминал так часто, да...

На фургоне замок был тяжёлый, пришлось повозиться, – темно же было.

Один медвежонок вдруг как заревел, когда тигр уже успокоился.

А Юрка ему:

– Тихо ты!

Да, крикнул, – а этот голос услышал и затих, представляете! Они же ручные, привыкли, что ими командуют, когда по сцене водят.

В небе вдруг как треснуло! Скоба выскочила из стенки фургона, а молния раз – и сфотографировала нас. Мы замерли, как привидения, стояли, не дыша, долго...

А Вовка сказал:

– Вдруг бросятся на нас, что тогда?

Вот же бубнило!

Но я отмахнулся, дёрнул дверь на себя и отскочил от парашета.

Ветер рванул и ударил дверь с грохотом о стенку, а из темноты сразу выглянули медвежата.

Нам они показались большие, хотя на сцене вроде бы маленькие.

Мы прыг – в стороны.

А они выглядывают и жмутся друг к дружке, не хотят выходить, боятся.

И вдруг – раз – смотрим, они уже в загоне.

Один кувыркнулся, стал на задние лапы, – и застыл, приплюсываясь к ветру из леса.

А другой озирается по сторонам, ещё боялся.

– Ну, чего стоите, дуйте в лес! – крикнул я.

Тут вдруг дождь: как забарабанит по крыше фургона.

Дверь – бах – захлопнулась.

Смотрим, – а медвежата уже за парашетом.

А Юрка как засвистит, он умеет, – даже в животе больно стало.

Те как припустили! Так и неслись чернильные тени в свете фонарей, а потом исчезли...

В клетке метался тигр, он теперь рычал, не переставая; и кричал охранник; и мы мчались во все лопатки через серебряный ливень.

А когда остановились, спрятавшись под каштаном от дождя, обнялись и танцевали, и дурачились, и хохотали, и пели:

– Ты и я, ты и я, вместе мы друзья!

Юрка ткнул меня в бок.

– Ну, ты дал! Я думал, они бросятся на тебя.



– Та, подумаешь, они же малыши ещё.

– Ни фиги себе, да они больше ротвейлера в два раза!

Отдышавшись, мы рванули дальше, и были дома, когда гроза уже всю грохотала.

В ту ночь на город налетел буря: вырывал с корнями деревья, ломал ветки. Их ещё долго убирали с улиц потом.

Утром по телеку сообщили, что из фургона частного цирка сбежали медведи.

Они так и сказали в «Новостях»: «Медведи!». И добавили: «Полиция объявила розыск!». Представляете!? «Как им не стыдно?!» – думал я. И всё переживал, как они там, в лесу, нашли ли еду и всё такое...

Но всё равно – это лучше, чем ходить на цепи по сцене! И задыхаться в фургоне. А потом тебя – чик – и усыпляет хозяин, потому что ты стал не нужен.

Нет – лучше на воле! Свобода – вот магия, волшебство, и всё, всё, всё!

Вот она обрадуется, когда расскажу...

Днём еле нашёл эту акацию. Да вот же она! – вся в белом цвету. Не могу надышаться.

Все другие уже отцвели, покрылись зелёной клейкой листвой, а эта – невеста, как та, что сейчас у белого «Кадиллака» с женихом целуется.

Да, вон какие у неё гроздья большие, душистые. Здорово! Как люблю их жевать! Вкус терпкий, язык пощипывает. Прижмусь щекой, – тёплое, нагрелось на солнце, акация моя, слышу, тренькает что-то тихонько внутри, – разве кому объяснишь?!

День рождения скоро, будет куча подарков, ведь уже десять исполнится... и каникулы целое лето! Здорово!

Вот... сейчас закрою глаза и пойду по тротуару, по самой середине, смешно, даже щекотно внутри, цвет акации летит из ладони, – ветер.

Иду, а потом, раз – открою глаза – и на другой планете... а под сердцем: тинь-тинь, тинь-тинь, будто кто-то танцует, как на пуантах – волшебство.

ВКУСНЫЙ СНЕГ

Папа, папа, – смотри! – показала я на рыженькую собачку, которая подпрыгнула, кувыркнулась на снегу, прыгнула на своего чёрного дружка, а он увернулся и отскочил от неё. Потом они обнялись, сцепились и с весёлым визгом скатились со снежной горки, которую намело за ночь.

– Щенки. Снега никогда не видели. Это, наверно, их первый снег в жизни. Такая радость и чудо!

– Да? А мой? А мой какой снег в жизни?!

– Твой?

Папа поднял мне шарф выше к носу.

– Твой, малышка, уже восьмой.

– И первый в этом году, да?

– Да, в этом году – первый. Первое чудо...

Снег был чудо! Я высунула язык и несколько снежинок попали на него, и я их слизнула, и было вкусно, ням-ням-ням.

Я села на санки, устроилась поудобней, а папа как побежит быстро-быстро!

– Но, лошадка! Но, лошадка!

Папа смеялся, а я бросила в него снежок, потом ещё один, а потом он как затормозит, и я полетела в снег...

На горке собралось много ребят. Её уже хорошо раскатали, и я поднялась наверх, с другой стороны, где снег был рыхлый.

Папа стоял далеко внизу и махал мне рукой.

Слева под нами сверкала на солнце замёрзшая река, а санная дорожка уносила в парк, где росли разлапистые ели, и все проносились между ними, или бухались прямо в них.

Здесь были ребята из нашего класса: Лёвка, Вова, и Юрик, и другие – из параллельного.

Они катались сами, без родителей, и важничали. Только Лёвка не задавался.

Мне стало вдруг весело, я зачем-то ткнула Юрика в бок, когда он садился на санки, – они выскользнули из-под него, и он понёсся вниз с криком, а вскоре уже стоял внизу рядом с папой и показал мне кулак.

Папа похлопал его по плечу и что-то сказал, а Юрик кивнул и бегом стал взбираться на горку.

Потом прыгнул на санки Вова, они у него без спинки; он лёг на них грудью, оттолкнулся и понёсся вниз, ловко управляя руками, и укатил очень далеко, – за ели.



А Лёва пропустил меня вперёд.

– Ты же первый раз, – сказал он. – А мы уже накатались. Отталкивайся левой ногой сильнее.

– Хорошо, – сказала я и почему-то вдруг разволновалась.

Я уже каталась здесь в прошлую зиму, но тогда мы съезжали вдвоём с папой, а теперь я была одна и очень волновалась.

– Я поеду за тобой, не бойся.

– Угу, – кивнула я.

А у самой щёки горели, и волосы выбились из-под шапочки, они у меня непослушные, всегда выгибаются локонами.

– Эй, ну скоро там?! – стали напирать ребята, которые стояли за Лёвкой, я обернулась на их голоса, поскользнулась, неловко плюхнулась в санки и понеслась, не разбирая пути.

Всё вокруг замелькало в сиреновом ветре, слёзы из глаз брызнули, перехватило дыхание. Быстро приближался папа, а потом вдруг я зацепилась за смёрзшийся снег ногой, и санки резко нырнули влево, и понеслись по склону к реке, которую недавно сковало льдом.

Сквозь снег кое-где пробивались веточки, я хваталась за них, но всё равно неслась на санках к обрыву.

– Тормози, тормози! – кричал позади Лёвка.

Я заметила, как папа без шапки бежал вдоль берега.

– Прыгай в сторону, брось санки! Бросай!!! – кричал Лёвка.

Всё случилось так быстро, что я ничего не поняла: когда я должна была прыгнуть на речку, как с трамплина, мне удалось перевернуться, и теперь я висела на краю, уцепившись за мёрзлые ветки, а они выскальзывали.

Папа кричал снизу, а Лёвка был прямо передо мной и протягивал мне руку.

– Соня, держись, хватайся!

Лёвка спас меня, и теперь он мой герой! Пусть все знают об этом! Пусть Мыльный Пузырь хихикает, и Вика, всё равно. Пусть говорят, что было невысоко, и папа словил бы меня, и всё такое. Пусть что хотят, болтают.

Папа меня ещё долго потом тискал и обнимал, и целовал, как никогда прежде. Хотя он, вообще-то, очень сдержанный и строгий, мой папа. Он и Лёвку даже обнял.

Домой мы возвращались все вместе. Мы с Лёвкой шли, держась за руки, а Юрка с Вовкой шагали за нами, тихо переговариваясь.

Мне было приятно и даже щекотно в груди, ну, там, справа от сердца.

Да, я была такая весёлая, и папа был весёлый, и бросал шапку в небо.

Я рассказывала, что совсем не боюсь высоты, и могу залезть даже на самое высокое дерево. Этому меня научила моя подружка, Ирка, её ещё Маутли зовут.

Да, а Лёвка наоборот помалкивал; глаза у него были синие-синие, даже ярче, чем всегда, а щёки совсем бледные.

Да, он помалкивал, и, кажется, почти не слушал меня.

Только один раз тихо сказал, я едва расслышала: «А я очень высоты боюсь. У меня до сих пор голова кружится».

И тогда я заметила, что он идёт как-то странно, посередине тротуара, и всё время смотрит перед собой. Папа тоже заметил, а потом подмигнул мне, и свистнул громко и ярко щенкам, которые до сих пор игрались в снегу.

Они всё ещё носились счастливые, радуясь первому снегу.

Я тоже высунула язык и сказала: «Ням-ням». Повернулась к Вове и Юрчику, махнула им, чтобы они нас догоняли, и крепче сжала Лёвкину руку, – я тоже была так счастлива.

ДЯДЯ САША-ПРАЗДНИК

Никогда я не забуду этот день. Однажды летом, когда мы гоняли с мальчишками в футбол во дворе, вдруг полил дождь; мы заскочили в подъезд и поднялись на лифте на последний этаж. Домой идти не хотелось.

За окном небо было чёрное, что-то гудело, ухало; ветер трепал деревья, а вдалеке сверкнуло, и гром треснул так, что мы присели.

Прохожие бежали к подъездам, прикрыв голову сумками: лупило уже, будь здоров!



А Юрка сказал вдруг:

– Я смотрел недавно фильм про вампиров, они в квартиру залезают, когда гроза, а ночью кровь пьют.

– Та, подумаешь, зомби круче! Вот подлезет, как двину твоему вампу, мало не покажется! Ху! – махнул кулаком Вовка, который недавно записался на каратэ.

На переменах он всегда кричал: «Я зомби! Я зомби!». И шёл на девчонок, растопырив руки и выпучив глаза, а девчонки визжали и убегали из класса. Правда, могли и стукнуть учебником по голове.

– Интересно, а всё-таки кто сильнее, зомби или вампир? – спросил я вдруг.

– Ты чего это?

Удивился Вовка.

– Та, не боись, ты не вкусный, гы! – неожиданно хлопнул его Юрка по плечу.

Вовка аж подпрыгнул и отскочил.

– Отстань!

– Может они уже здесь, а?

– Кто, кто?!

Уставились они на меня.

– Ну, вампиры эти ...

– Да ну тебя! – отмахнулся Юрка. – Это ж кино.

– Слышите!

Поднял я руку.

Но кроме дождя, который барабанил по карнизу, и громовых раскатов вдали, ничего не было слышно.

Вдруг открылись двери лифта, и кто-то в сумраке торопливо пробежал к дверям квартиры.

– Вы видели, вы видели, кто это?

– Тихо! – прошептал Юрка.

– А ещё, – произнёс я после паузы, – Васька Зорькин рассказывал про горбуна-часовщика, который ворует младенцев.

– Часовщик? Дядя Сапа, наш сосед, – часовщик, но он не горбун, – сказал Юрка.

– Какой дядя Сапа? – повернулся к нему Вовка.

– Ну, он ещё каждый день всех с праздником поздравляет.

– Ага, хороший дядечка, напился кровушки, вот и празднует! – бросил ехидно Вовка.

Мы помолчали.

– А ещё Васька Зорькин сказал, – он однажды стал есть пирожок, а там – бах! – человеческий ноготь!

– Врёт! – топнул ногой Юрка.

– Он же рядом с тобой живёт, да? – протянул тихо Вовка.

– Кто он?

– Да часовщик этот.

– Так это ж не про него!

– А где, где квартира его?

– Вон, там, видишь! – показал Юрка.

Невольно мы все обернулись и уставились на дверь, которая белела в сумраке.

За окном полыхнула зарница, и громыхнуло так, что мы пригнулись.

Теперь ливень хлестал прямо в стекло; ветер яростно обрывал карниз, хлопал жестью.

Мы присели под подоконник, и вдруг я почувствовал, как Вовка дрожит, а сам я услышал какой-то странный стук, это у меня зубы стучали: «клац-клац», – а один шатался, – я нащупал и согнул его языком.

Вдруг мы услышали скрип, не скрип, а скрежет двери.

Кто-то медленно стал подниматься по ступеням прямо к нам.

– Это он, – громко прошептал Юрка.

– Кто он? – спросил Вовка, не своим голосом.

– Горбун. Он пришёл за нами. Подойдёт ближе, кинемся на него.

– Не бросайте меня, пожалуйста, не бросайте! – захныкал вдруг Вовка.

Шаги приблизились: над нами выросла громадная тень.

Мы готовы были уже броситься вперёд, как вдруг раздался скрипучий смех, и кто-то спросил:

– Мальчишки, что вы тут делаете?!

– Мы, мы ничего... – сдавленно обронил Вовка.

Он стал протискиваться вдоль стены, а потом и мы с Юркой, – боком-боком...

– С праздником вас! Сегодня Медовый Спас, большой праздник, ух, ну и погодка... а у меня есть подарок для вас, – произнёс дядька громко и весело.

От него сильно пахло луком и чем-то душным и страшным.

– Куда же вы? А вы знаете, почему праздник так называется?

Я рванул первый, прыгнул сразу через три ступени, больно ударился о перила и помчался вниз, слыша за спиной визги и гиканье Вовки и Юрки.

Забыв про лифт и про всё, мы слетели с девятого этажа, – распахнули входную дверь, которая громко зашипела, распугав котов у подвальной решётки.

Ливень закончился. Гроза была летняя, быстрая.

Лиловые тучи таяли на горизонте; солнце вовсю светило; сверкали капли на листья акации.

Мы переглянулись. Ну и видок у нас был, я вам скажу!

Вдруг за спиной громко хлопнули двери лифта, и раздался возглас.

– Мальчики, да погодите же!

Мы рванули во все лопатки прямо по лужам, куда глаза глядят.

На бегу я успел оглянуться.

Это был он – дядя Сапа-Праздник.

Он стоял с мусорным пакетом – великан, толстый, улыбающийся, с красным широким лицом и красными толстыми губами.

– Да стойте же вы, у меня есть для вас подарок! Вот!

Что-то яркое, типа линзы, сверкнуло у него в руке.

Но мы пропустили ещё быстрее и, не оглядываясь, неслись вперёд.

Вечером я не включал телевизор и не брал телефон. Я даже не смотрел, кто мне звонит. Хотя мне всё время кто-то наяривал.

Я закутался в плед с головой, улёгся на диван в спальне и чутко прислушивался к каждому звуку. Зуб я таки выдал язык и теперь рассматривал его, крепко зажав между пальцами.

А мама всё спрашивала, как заведённая:

– Сынок, что с тобой? Ты бледный какой-то... заболел, что ли, простудился? Покажи, что у тебя там.

Но я накрывался с головой и отодвигался к стене.

В тот вечер я дал себе слово, что больше никогда не буду смотреть фильмы про зомби и вампиров, да, – и до сих пор держу слово!

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ И БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Меня спрятали в чемодан случайно, ну, так получилось, прямо на Хэллоуин.

Мы поспорили с Витькой Жигаловым из 4-Б на модель «Доджа», что я помещусь туда. Вот они с Юркой меня и засунули, ведь я же маленький. Зря я согласился, конечно, но кто ж знал, что так всё получится?!

Чемодан большой такой, немецкий, на колёсиках, папа из Германии недавно привёз.

Я взял его с собой в Киев, куда мы на каникулы приехали. Нас поселили в какой-то дом, где ещё студенты живут.

Так вот, поселили нас в одну комнату: меня, Вовку, Юрика и Витьку Жигалова, для баланса, так сказать.

Витька же очень балованный, а Вовка отличник. Зато у Витькиного папика денег куча. А главное, что выдумывать всякие каверзы Витька мастак. Да, это уж точно. А тут ещё Хэллоуин, самое время!

Целый вечер мы готовились: как намазаться пастой, чтоб пострашнее... у Витьки ещё были с собой светящиеся шарики и пару вампиров игрушечных, у которых ночью зубы светятся... мы ещё маски сделали из картонной коробки, которая валялась у меня под кроватью.

Но главное мы приготовили на ночь: девочкам в окно должна была постучаться белая ведьма: ну, простыня на швабре. Девчонки жили как раз над нами. А в дверь к ним должен был постучать зелёный человек с горящими зубами.

Зелёным человеком меня выбрали, потому что у меня было два спортивных костюма: красный, с пёстрыми полосками, и зелёный. Ну, и ещё потому что я умею представляться, в классе иногда такого шута выкину, что ребята укатываются от смеха.

Да, придумали хорошо. А тут мой чемодан на глаза попался. Заспорили мы, и я оказался в ловушке, а всё потому что пожадничал. Витька же, кроме «Доджа», ещё денег пообещал, типа приз, двадцать тысяч. Позарился я, в общем, – а зря...



Вдруг всех в вестибюль позвали: Нина Ивановна всех собирала, рассказать об экскурсиях на завтра.

Она сама заглянула к нам:

– Быстро, быстро мальчики, все в вестибюль!

– Да мы сейчас, Нина Ивановна, только... – расслышал я, как сказал Витька.

Но, видать, она уже потащила их за собой.

Я даже гугукнуть не успел.

Да, попался я. Сижу, свернувшись калачиком, как у мамки в животе, и думаю, что сейчас пацаны вернутся, а их всё нет и нет.

Сколько времени я там просидел, даже не знаю, мобильный мой на подоконнике долго надрывался, а потом затих.

– Вот же попал! – думаю.

Хорошо ножик перочинный, папин подарок, в кармане всегда со мной. Прорезал я дырку в чемодане и жду, дышу.

А этих всё нет и нет. Я даже задремал чуть, и мне вдруг привиделся *зелёный дом и белый человек* в нём, в этом доме... а потом я вдруг услышал голоса.

– Соня, выключи свет, давай быстрее!

– А вдруг зайдут сейчас?

– Да нет же, давай!

По голосам я узнал Соню Лаврову и Запольскую Вику, с ними ещё были девчонки из параллельного класса.

– Подсвети фонариком, вот, кажется, Витькина кровать, протягивай, протягивай нитку. Да нет же, под простынёй. Ух, как завизжит, когда потянем, все услышат!

Мне сильно захотелось чихнуть, нос так и чесался, но я зажал себе чих рукою. Интересно ведь было, до чёртиков, чего они задумали.

Вдруг кто-то как уселся на меня.

– Ой, что это?! Чемодан, что ли? Кажется, Лёвка в нём привёз свои клоунские костюмы, хи-хи, – прыснула Вика.

Я даже привстал на коленях.

– Чего ты, он хороший, – услышал я тихий голос Сони.

– А-а, вторилась, да? Жених и невеста тили-тили тесто!

При этих словах я решил терпеть до конца, чтобы ни случилось.

Но случилось совсем не то, что я ожидал.

Вика вдруг пересела мне прямо на голову, причём, так неожиданно, что я охнул.

– Тихо! Ой, кто здесь?! – подпрыгнула она, шаря по чемодану руками, – Включите свет!

Струхнула она здорово.

Послышались торопливые шаги, затем странный треск.

– Перегорела! – воскликнула шёпотом одна из их подружек.

– Открывай дверь, давай, да скорее же!

«А командирша тю-тю, сдулась», – подумал я.

Вика заводная, но сильно уж задаётся.

Дышать мне стало трудней; я посунулся чуть-чуть и ещё сказал, прочищая горло:

– Гр-р!

– Мамочка! – завизжала испугано Вика и отбежала в сторону.

Послышался скрип двери, а потом что-то щёлкнуло.

Кто-то отчаянно дёргал дверь.

– Дверь сломалась! Заклинило! Девочки, помогите!

И тут я услышал, как Вика вдруг закричала:

– Белый человек за окном!

– Привидение! Помогите! – кричали уже все они.

Видно, кто-то проделал наш трюк с простынёй.

Я отчаянно начал двигаться в чемодане.

– Это я, девочки, да, освободите же меня!

Чемодан завалился в их сторону; начался такой визг, крик и топот, будто сто поросят убежали о волка.

Они визжали так, что снаружи стали колотить в дверь. Там собралась уже целая толпа. Да, суматоха была знатная.



Среди общего ора можно было различить голоса Витьки и Юрика, которые объясняли, выкрикивая, что на меня кто-то напал.

Девчонки вскочили на кровать и голосили, не переставая: будто их окружают змеи, вампиры и зомби...

А я выкрикивал всё время:

– Да выпустите меня отсюда, выпустите!

Так хотел вырваться.

– Он движется, подползает! Помогите! – кричала Вика.

– Вампир, вампир! – кричали другие.

И Соня, кажется, тоже.

Кто-то начал вскрывать дверь инструментом.

– Говорил же коменданту, что замок поменять нужно! – послышался голос какого-то дядьки.

Толпа ворвалась в комнату. Они хватали девчонок, слепя их фонариками, а те отчаянно визжали и отбивались.

По мне тоже хорошо потоптались, а когда вытащили на свет, я долго щурился, схватившись руками за голову.

Выглядел я не ахти. Красный, как малина, и злой.

А эти дураки: Юрка, Вовка и Витька обнимают меня, тискают, весело им! Обнимают и ещё пританцовывать стали.

А девчонок едва успокоили.

Они выходили, озираясь, смотрели на меня выпученными глазами, будто я монстр какой-то.

Утром я ещё дулся, не хотел с ними разговаривать, но потом мы уже хохотали, как здоровски всё получилось!

Да, утром мы все вновь дурачились и подкалывали друг друга, и гуляли по Киеву: были на Майдане, Андреевском спуске, везде... гонялись друг за другом счастливые.

Витька отдал мне «Додж», который проспорил. Модель суперская: жёлтый кабриолет, дверцы все открываются, и тент натягивается. Он даже заводится и может дистанционно управляться, – вот это вещь, супер! Да! Такого ни у кого нет. А деньги, которые он проспорил, мы вместе потратили, чтоб веселей было!

ДЖИНДЖЕР

С детского сада не люблю стихи. Придётся домой, а там дядя Коля, папин друг, а мама давай меня демонстрировать:

– А ну-ка Лёвка, прочти нам про Лукоморье. Ой, он у нас такой талантливый!

И тащит скользкую табуретку, чтоб меня на неё взгромоздить. А я вырываюсь и в шкаф прячусь. У нас такой большой, раздвижной шкаф на всю стену, вот. Зароюсь я там в мамину одежду и выходить не хочу.

А они толкуются возле двери, уговаривают.

– Ну, Лёвочка, ну, пожалуйста.

И папа туда же бу-бу-бу, – а ещё друг называется.

Если дядя Коля приходил надолго, им удавалось выманить меня, если нет – я не выходил.

Уж сколько им говорил, что это девчонкам нравится, когда их, как кукол, напоказ выставляют. А они опять за своё! Потом, правда, отстали. Зато в школе – что ни день, то учи новый стих, – нет моих сил просто.

Я маме так и сказал во втором классе:

– Информатика, природа там – это ещё туда-сюда, а стихи – нет уж, хватит, надоели до чёртиков!

Правда, потом всё наладилось. В той школе, где я раньше учился, папа разрешал не учить стихи. Он разрешал вообще уроки пропускать, делал из меня «свободного человека», «ребёнка индиго».

А в новой – мне тоже повезло, в классе у нас целая куча знаек. Постоянно руки тянут, а стишки для них самое то, вызубрил, «бу-бу-бу» – и «отлично», ещё раз пробубукал, – и вновь «отлично»! Сидят потом, хвасты, дневники друг другу показывают.

А мне же того и надо: можно в игру новую погонять, музыку послушать, или чего ещё.

Правда, сегодня был явно не мой день! Да, я вам скажу, натерпелся я, это уж точно.

Сегодня к нам пришла новая учительница, Нина Ивановна. С этого всё и началось.

Сначала пол-урока Лидия Павловна, наша преподавательница по литературе, рассказывала про Крылова, басни и всё такое. А потом заявила она, Нина Ивановна. Её привёл дядя Петя, наш директор, по кличке «череп», лысый и жёлтый.



Да, а Нина Ивановна, она совсем как старшеклассница, говорит:

– Дорогие ребята, скоро Новый год, и нам нужно отобрать чтецов для выступления на новогоднем концерте.

Ну, говорит она, а я пригнулся, на всякий случай, и перемигиваюсь с Юркой; языки друг другу показываем; рожу умалишённого строим: дурачимся, в общем, но без нагленин, – так, только чтоб скучно не было.

А Лидия Павловна уселась на последнюю парту и чего-то себе улыбается, прямо заслушалась.

Мы её очень любим. Она хорошая. Хотя иногда её так заносит, когда рассказывает, что она не помнит, с чего начинала. Зато у неё на уроке можно всегда читать стихи по желанию, вот что главное!

Да, пока новая учительница рассказывала про «декламацию», стали мы с Юркой смотреть друг на друга. Это такая игра, кто первый моргнёт, – тот и проиграл. Я в неё почти всегда выигрываю. Папа говорит, что у меня цвет глаз подходящий, да и характер тоже крепкий и неуступчивый, я даже у него иногда выигрываю.

– А теперь ребята приступим к чтению, давайте, кто хочет? – спросила Нина Ивановна.

Она раскраснелась, вся такая красивенькая, и пахла, как леденец.

Да, и говорила она весело так, задорно, как аниматор.

Смотрю, наши знайки, все как один, руки тянут. Хотят на сцену залезть, чтоб их все видели!

Ну, пока мы с Юркой дурачимся, вдруг Васька Лысай как крикнет с места:

– Кукушкин, Кукушкин читает лучше всех, вызовите Кукушкина!

Это он со мной решил поквитаться за то, что снежком его умыл, когда он обзвал меня «кукишом».

– Кукушкин? – завертелась на месте Нина Ивановна, – пожалуйста, идите к доске!

– Зачем?! – спросил я, прикидываясь, что не понимаю, – а вдруг пронесёт.

А она глядит на меня, будто я божий коров какой-то. Кажется, вот сейчас, поглядит и Чупа-Чупс даст.

– Может не на-адо? – протянул я неуверенно.

Но тут вдруг Лидия Павловна со своего места: «Что значит не надо?».

Хотела показать, что она главная.

– Ты же можешь ведь, да, Лёва?

Я даже не посмотрел в её сторону.

А Юрка накрыл голову книжкой, от смеха давится.

В общем, вышел я к доске, маячит всё перед глазами.

Нина Ивановна сунула мне какую-то книжку, буквы пляшут.

– С-славная осень, – начал я, отчего-то вдруг заикаясь, – и остановился.

– Продолжай, продолжай, очень хорошо! – подбодрила она.

– С-славная осень, з-здоровый, ядрёный, – затянул я, вновь заикаясь.

Меня будто перемкнуло.

Даже Соня глаза опустила, видать неловко ей было за меня, и Вовка с Юркой погрузнели, только Митяй довольно на стуле откинулся.

«Ну, ничего, пусть готовится», – мелькнула добрая мысль.

С утра намело сутрбов, найдётся и для него подходящий, чтобы сунуть его разок туда, вместе с ушамми-локаторами.

– Да нет же, не так! – выхватила книгу Нина Ивановна и сама прочитала первый куплет красиво, нараспев.

И в третий раз у меня ничего не вышло.

– Заело! – хрюкнул Митяй.

И все грохнули.

Я готов был провалиться сквозь землю, честное слово.

– Лёва, да что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?

Поднялась из-за парты Лидия Павловна и подошла к нам. Она мне сочувствовала, и мне её стало даже немного жалко.

Все притихли. Тишина была такая, что слышно было, как на солнце между стёклами муха жужжит счастливая.

Я ещё удивился, откуда она тут в декабре?

И тут вдруг раздался громкий звук: «Мяу!».

Лидия Павловна вздрогнула и спросила:

– Лёва, что за странные звуки ты издаёшь?

А мои Юрка с Вовкой смотрю, уже пищат от смеха, – да и другие тоже.

- Нет, – говорю, – это он.
- Кто он?
- Мой друг, Джинджер.
- Какой ещё Джинджер?
- Ну, мой кот говорящий!

Лицо у неё стало, как зелёная сливка, хорошо, зазвенел звонок с урока.

Я стал объяснить, что кот игрушечный, ну, что я закачал игру на смартфон и всё такое. Но, куда там! Она слушать ничего не хотела, – так разобиделась. Её уже было не остановить: так и записала у меня в дневнике: «Принёс в школу кота, который мяукал, сорвал урок!».

Зато Джинджер теперь всегда со мной! Я много игр закачиваю на смартфон. Закачиваю, потом удаляю, да. Но Джинджер всегда со мной, – ведь он меня так выручил!

ПРИВЕТ ОТ КОРОЛЯ

Шуршу мне подарил Святой Николай, но выбрала я сама её.

Мама хотела белого пушистого, а я такого, как у моей подружки Полины, серого, джунгар называется, или русский хомяк. Потому что у Полины хомяк совсем ручной, даже кашу вместе с ней кушает. Представляете! Здорово как! Будет друг, – думала я, – с кем можно всегда поделиться. Да и кому хочется есть эту противную овсяную кашу, в которой стручки попадают, а у тебя питомец на столе, помогает тебе, да... И ещё я обязательно хотела, чтобы была девочка.

Но только я ошиблась. Шурша оказалась совсем не такая, на руки идти не хотела, кусалась, не больно, только чуть-чуть, но всё равно страшновато немного. И ещё она гоняла по клетке, или в колесе, попробуй тут, возьми её на руки. В общем, совсем не такая, как я хотела.

Я, конечно, расстроилась, но всё равно любила сидеть подолгу возле клетки, и давала по зёрнышку ей корм, и смотрела в её чёрные глаза-бусинки, наблюдала, как она моет лапки, или грызёт кабачок, и ещё меняла воду в поилке. А через пару дней даже обиделась на неё, когда она меня куснула.

«Ну, – думаю, – не хочешь дружить, и не надо! Сиди сама в клетке, а я буду играть с любимыми куклами».

А ещё папа донимал меня, повторял всё время:

- Она же такая, как ты, своенравная. Питомцы всегда похожи на своих хозяев.
- Отстань! – топала я ногой и убежала к себе в комнату.

А потом был Новый год, и Дед Мороз подарил мне много подарков, но главное у меня был первый балет, меня взяли танцевать солдата в «Щелкунчике»!

И мы все поехали в Оперный театр, где танцевала великая балерина Павлова, и дирижировал сам Чайковский.

Представляете, я там танцевала! Я была так счастлива! И ещё я папе доказала, что могу.

На спектакле были все: и папа, и мама, и бабушка с бабушкой.

Меня одели в костюм солдата, с такой высокой шапкой, и вручили ружьё. И мы защищали Машу, и я вместе со всеми наставляла ружьё на крыс, ведь мы же солдаты!

Крысы нападали на нас, особенно та большая, страшная, ну, трёхголовая, вы знаете. Но мы победили! И нам хлопали, и кричали «браво», когда мы вышли поклониться. Как здорово было! Я даже совсем забыла, что у меня есть Шурша.

А она тихо шуршала весь тот день, я слышала, когда мы вернулись домой.

Она шуршала тихо, тише, чем обычно, и не бегала в колесе, и ела мало своего хомячьего корма, а вечером мама сказала:

– Шурша, кажется, заболела.

И точно, я тоже заметила. Она теперь лежала на своей подстилке. А ещё папа дал ей зачем-то много салфеток (он вычитал в Интернете, что хомячки любят играть салфетками). Да, и Шурша построила себе целое гнездо, и теперь лежала тихо там, и глаза у неё были такие грустные.

А потом мама сказала:

– Нет, она умирает. Вон кровь на салфетке... И писк, она так жалобно пищит, маленькая...

Я убежала к себе в комнату, выключила свет, подошла к окну, закрыла лицо руками, и плакала. А на небе было столько звёзд! И моя, – которая возле маминого клоуна, тоже сияла... И я спрашивала её: «Почему же так?! Ведь я так хочу, чтобы она жила. Ведь я так всех люблю!». И я так устала, что мама уложила меня спать раньше обычного, и сама улеглась со мной. Мама тоже очень расстроилась.



А папе хоть бы хны! Он что-то там бурчал себе под нос всё время и повторял, как ни в чем не бывало: «Да всё нормально, всё нормально, так бывает...». И рыскал чего-то себе в интернете.

Мне даже говорить ему ничего не хотелось, и маме тоже.

Так мы вдвоём с мамой и уснули, совсем расстроенные.

И мне снился балет, и как мы защищали Машу от крыс, и как Светлана Александровна кричала из-за кулис: «В такт музыке! В такт музыке!».

А потом я вдруг проснулась и даже подскочила.

В дверях стоял папа, на кухне горел свет.

Папа вновь громко сказал:

– Она родила.

– Кто? Кто родил?! – спросила мама, ничего не понимая.

Глупая мама, а я сразу всё поняла!

Я соскочила с кровати, метнулась в гостиную, где на столе жила Шурша в клетке. И вот, вот же они маленькие колбаски, меньше пальчика, голенькие малыши попискивают.

Подошла мама.

– Да где, где же они?

– Вон, вон мамочка, под салфеткой.

– Да, – протянул папа, – напала на Мышиного короля, – вот он тебе и привет прислал.

– Какой, какой привет, от кого? – смотрела я удивлённо на папу и маму.

Но папа только посмеивался, а мама обняла меня крепко и поцеловала.

– От того, радость моя, кто король и мышей и хомячков. Он у них один. Идём, идём спать, смотри ночь за окном какая красивая, звёздная!

Я ещё услышала, как папа объяснил маме:

– Дай, думаю, покормлю её разок, напоследок. Мы же за ней так ухаживали, и тут заметил их, представляешь?!

Папа с мамой ещё о чем-то говорили, но я уже едва слышала их... потому что Шурша моя теперь купала у меня прямо с руки, и была ручная, и помогала справиться с овсяной кашей. А я гладила её по пушистой серой шёрстке и улыбалась.

ПУНЯ-ПУНЯ

Мой самый нелюбимый предмет – это история.

Вовка и Юрка целый день гоняют в футбол: «бум-бум», «бум-бум», – колотят мячом о железные ворота, а я, как наказанный, сижу, долдоню про Карфаген. Не могу я запоминать даты, и ещё имена. Да и разве тут усидишь!? Какое там!

Но сегодня – свобода! Мы гоняли до самого вечера. Хорошо, папа в рейс ушёл!

Да, набегался я, а когда дома открыл учебник, так и засыпать стал.

Помню только слова какие-то странные: «пуны», пуны... и ещё, как мама укрывала меня одеялом.

А потом мне снились бабушкин чёрный кот Пуня, и хохочущий Юрка с мячом.

Утром еле поднялся. А как вспомнил, что первый урок – история, совсем плохо стало.

На всякий случай, я сишло протянул:

– Мама, я, кажется, заболел.

Мама потрогала мне лоб и сказала:

– Знаю я твоё воспаление хитрости. Завтрак на столе. Поторопись, а то опоздаешь.

Я вздохнул. Не поверила. Одна радость, бабушка принесёт нам своего кота Пуню. Она уезжает отдыхать в санаторий.

Да, в прошлом году она уже оставляла нам его на хранение, как раз, когда папа был в отпуске.

Папе быстро пришлось забыть о моём воспитании, потому что кот оказался вредный и часто писал в папины туфли, а папа его потом трепал за ухо и тыкал носом в лужу. Но Пуня не сдавался, отчаянный кот, я вам скажу!

Один раз он даже чуть окно не разбил: увидел за окном голубей, которые ворковали на подоконнике, и прыгнул на них, да так и сполз, как шкура по стеклу, расставив лапы.

Ух, видели бы вы, что творилось потом! Даже рассказывать не хочу.

Да, стал я медленно собираться. Так не хотелось идти, даже плохо стало, честно. Но был конец учебного года, пришлось топтать.



Мне повезло, заскочил в класс перед самым звонком, плюхнулся за парту и давай гонять на смартфоне, – дойду до шестого уровня, а дальше никак: и жму быстро, аж подпрыгиваю на стуле, но полицейский с собакой всё равно догоняют!

Смотрю, а Элла Сергеевна уже тут как тут, – журнал просматривает, протягивая это своё: «Гэ-экс, кто нас сегодня порадует?».

Сказала, – и водит по классу взглядом, выскивает: очки у неё большие, стёкла толстые, – всё замечает! Будто у неё специальный комп в голове, андроид. Мурашки по коже.

А ещё мы должны отвечать у доски. Тесты тоже пишем, но редко.

– Как можно историю изучать по крестикам-ноликам, позор образованию! – возмущается она всегда.

В общем, спрятался я за спины Сони Лавровой и Вики Запольской, смотрю, Юрка (он сидит в соседнем ряду) тоже пригнулся.

Но он-то сумеет вывернуться. Память у него, будь здоров, не то, что у меня. Я помню, как река пахла бузиной, когда научился плавать, а вот слова из книг не могу запомнить, хоть тресни!

Переглянулись мы с Юркой, а тут ещё Вовка оглянулся и лыбу давит.

– Иди ты! – махнул я на него рукой и показал кулак.

А сам думаю: «Только не я, ну, пожалуйста, только не я!».

Хорошо отличники руки тянут, но Элла принципиальная, спрашивает всех подряд.

– Кукушкин, к доске, – произнесла она, протягивая так неприятно это «у-у».

Будто подушкой пыльной огрела.

Ну и фамилию мне папочка подарил. Как только не обзывались, когда я перевёлся в прошлом году: и «Кука», и «Кукуша», и «Кукша», и даже «Кукиш», новеньких ведь всегда донимают. Ни одному наkostenьять пришлось.

А ещё говорят, что фамилии связаны с предками, типа, кто чем занимался. Если Рыбаков, то предки рыбу ловили, а у меня что? – куковали, что ли, или яйца подбрасывали? Отпад, а не фамилия. Когда прозносят, даже в животе урчит, да.

Поднялся я, а ноги идти не хотят, ну, не хочется им идти совсем, как у моего робота-спасателя, когда батарейка кончилась.

А тут ещё Запольская, как прыснет в кулачок, хотел дёрнуть её за косу, еле сдержался.

В общем, что сказать, вышел я, в глазах всё вращается, а Элла смотрит так искоса.

– Ну, Кукушкин, поведай нам, что на сегодня было задано, какая тема?

Да, уставился я в потолок, и тут вдруг у меня в голове завертелось это «*пуня-пуня*», ну, про кота моего, то есть.

Вспомнил я, как папа трепал его милого, а я его потом гладил: меня только и любит он, когда живёт у нас. Больше никого слушать не хочет.

А тут ещё Вовка шепчет, вытянув и округлив губы: «Пу-пу-пские войны».

Спасибо ему, разобрал я и сходу брякнул:

– Пупские войны.

– Какие, какие? – взглянула на меня Элла Сергеевна, оторвавшись от журнала.

– Ну, то есть пуньские.

Исправился я.

А она смотрит, как водолаз. Будто золотую рыбку поймала, вынырнула, а она у неё в руке, сама прицепилась.

– Ну, да, пуньские, точно.

«Га, га, га!» – весь класс грохнул, даже обидно стало.

И Вовка с Юркой мои туда же!

– И что же это были за войны, между кем и кем? Что это за пупы такие сражались? Расскажите нам, уважаемый.

Когда она говорит так, значит, будет звонить родителям, она же у нас ещё и классная.

И тут я взбунтовался. Не люблю, когда насмеются. Сам обожаю смешить, чудачить и всё такое, а чтоб надо мной и без повода, нет – очень меня задевает.

– А я вообще войн не люблю, я пацифист, – ввернул я вдруг редкое слово. Оно само выскочило. Наверное, из интернета в голову попало.

Сказал и молчу.

Элла Сергеевна смотрит на меня, разглядывает, будто я чудик какой-то, а все притихли.



– Что же ты лю-юбишь? – спросила она, вновь протянув один звук, на этот раз «ю».

– Я люблю мир и ещё звезды; и сирень, когда пахнет; и дыню; и когда снег чистый и хрустит, и снежинки тают на языке; и когда рыба из рук выпрыгивает, выскальзывает в лодку, когда снимаешь с крючка; и Пуню...

– Кого, кого?! – она даже привстала и очки сняла, и лицо у неё стало такое обычное и грустное, как у старушки, что просит деньги на перекрёстке, недалеко от нашего дома. Даже жалко её бедную стало.

И тут меня понесло, я им рассказал всё про Пуню. Ну, только умолчал, как он шлодничал. И что он всегда приходил ко мне спать, и какой он умный и ловкий, как один раз спрыгнул с балкона и жив остался.

Странно, но все, кто хихикал, вдруг притихли и слушали, открыв рот.

Юрка поднял руку вверх с поднятым большим пальцем, мол, ты мой герой.

Но я ему, предателю, всё равно припомню его смешок.

Из всех только Соня Лаврова не хихикала и, кажется, и потом рада была за меня. Почему, не знаю. Может, у неё ко мне особое отношение...

Да, рассказал я всё! Пусть знают. В общем, высказался. Пусть, – думаю – ставит теперь, какую хочет отметку, и годовую тоже. И маме звонит, – всё равно.

Стою. А Элла Сергеевна молчит чего-то, засуетилась, свои бумаги на столе перебирает... Смотрит так странно. Вдруг поднялась, приобняла меня, так слегка, и поцеловала.

Я даже отстраниться не успел.

Вы бы видели всё это! Мамочка моя! Это была бомба! Наши выскочки чуть под парты не свалились от зависти.

А она говорит: «Молодец, ты нам рассказал настоящую историю. Садись – отлично!».

Попшёл я, ноги лёгкие, – моя первая отличная оценка по истории, да и вообще первая отличная оценка в этом классе, в новой школе!

А все уставились на меня, будто я инопланетянин какой-то.

Сел я, сижу, во рту сухо, щёки горят.

Юрка мне шёпотом:

– Ну ты дал, ну ты дал! Офигеть!

А как папа радовался, вы бы знали, когда летом вернулся домой из рейса!

– Вот, оно, что значит, правильное воспитание. Моя школа! – восклицал он и теребил мне вихры, и хмыкал, довольно расхаживая по кухне.

Мама улыбалась, мыла посуду и помалкивала. Она умная, моя мама.

Я тоже ничего не хотел выбалтывать: что, да как, зачем расстраивать человека. Вряд ли он понял бы меня, если бы я сказал, что это всё из-за Пуни. Да, и правда, кто в это поверит?!

КРЫЛЬЯ

В сентябре я был младший в группе, и меня выпускали на воду только с крылышками.

«Крылышки» – это перекладина, которую крепят на корму байдарки. По краям – лопасти вёсел; когда лодка начинает крениться, они не дают перевернуться.

Но я так хотел быстрее стать взрослым и однажды рискнул.

В то утро я поднялся ещё до рассвета, так волновался.

Было воскресенье, папа с мамой ещё спали.

Я быстро оделся и, не допив чай, выскочил на улицу. С реки дул ветер, и я решил пробежаться, чтобы согреться.

На гребной базе эллинги были ещё закрыты.

Побродив между стойками для лодок, я стал спускаться к бону, обогнул тополь, который рос там уже лет сто, наверное, сбежал по деревянному трапу и остановился, – на боне прямо у воды сидела незнакомая девочка, в спортивном костюме.

Я приблизился, она обернулась, и я замер.

Девочка была такая красивая, что я вздохнул, а выдохнуть не могу, – вот такая она была. Волосы светлые-светлые, как крыло голубя, а глаза – зелёная карамель.

– Привет! Ты чего тут делаешь? – спросил я и почувствовал, как гулко застучало сердце.

– А тебе-то что?



Неожиданно она поднялась, прошла мимо, даже не взглянув на меня, и стала подниматься по трапу, ни разу не оглянувшись.

Я подождал, когда все ушли вниз по течению, сел в байдарку, оттолкнулся от бона, и меня понесло прямо на середину реки, а вокруг никого: тренер чинил мотор на берегу, старшие далеко впереди. Как же я перепугался!

Вокруг всё мелькает, будто несёшься на санках с горки: и берег, и река, и красные буи впереди. Байдарку мотает, она прыгает, скачет подо мной. Хотел удержать баланс, но весло как скользнуло – чуть не вывернулся!

– Мамочка! – вырвалось у меня.

Я совсем забыл, что между ступней у меня зажата перекладина руля, а берег всё дальше... Вдруг меня развернуло течением и понесло в протоку, где между зарослями сверкала тихая заводь.

Чудом причалил я к вербе, которая росла над водой.

Так и стоял я там, дрожа и цепляясь за ветки, когда вдруг услышал плеск и шум гребков.

Я оглянулся. Это была она, та девочка, которую я видел утром. Она здорово катила на байдарке. На скорости она влетела в лагуну, оставляя после себя крутую волну.

Заметив меня, она притормозила, табаня, и поставила весло на баланс; течение медленно несло её прямо на меня.

– Чего застрял тут?

Я не ответил.

Оранжевое солнце лучилось у неё за спиной и отражалось от воды так ярко, что я зажмурился.

Она развернулась против течения и стала рядом, покачиваясь на волне.

Было так тихо, что слышно было, как с весла падают капли.

Гомон птиц смолк, но теперь по две, по одной, они вновь запевали.

Я встретился с ней взглядом, и она улыбнулась.

– Ты чего?

– Взъерошенный ты какой-то.

– Сама ты... – начал я и замолк, потому что птица с хохолком всером вспорхнула откуда-то с ветки и села на другую, рядом с девочкой.

Она медленно положила весло на деку байдарки и приложила палец к губам.

Я кивнул.

– Красивая какая.

– Да-а... – протянул я.

Птица смотрела на нас с удивлением. Глаз-бусинка подрагивал в тёплом веке. Лёгкий ветерок ерошил рыжие перья сложенного хохла и розоватые перья на брюшке; птица суетливо поводила из стороны в сторону загнутым книзу тонким клювом.

– Поймай её, ну же, давай! – громко зашептал я.

Но девочка и не думала меня слушать.

– Смотри, смотри, сейчас улетит!

Я не выдержал и дёрнулся в лодке так, что чуть не вывернулся, хорошо, – схватился за ветку.

Вдруг сильный порыв ветра прошёлся по деревьям, посыпались на воду соринки, веточки, клейкие листочки, птица вспорхнула и, часто-часто взмахивая широкими крыльями, будто большая пёстрая бабочка, улетела.

Вскоре мы услышали из прибрежной чащи громкий и глухой крик: «Уп-уп-п».

Мы сидели в байдарках, как зачарованные.

– Говорил же, хватай!

– И что потом?

– Как что? Дома иметь такое чудо, представляешь!

– Птица должна жить на свободе.

– Да ладно тебе...

– А если это мама, и у неё птенцы, что тогда? Они должны погибнуть, потому что ты захотел новую игрушку, так, что ли?

– Да ну тебя, правильная ты такая. А ты вообще кто?

– А тебе-то что? Долго ещё бултыхаться тут будешь?

– Не твоё дело.



Я отвернулся. Щёки у меня горели. Мне было обидно, что девчонка умсет то, что мне совсем не даётся.

Она догадалась, что я новичок.

– Гребни, будто ты на велике, а педали не крутишь, понимаешь?

Я молчал, исподлобья глядя на неё.

– Просто гребни и всё, попробуй!

Мы стояли рядом, раскачиваясь на мелкой зыби, которую нагонял ветер к берегу.

И она так странно на меня смотрела: растрёпанная, в зелёной футболке, её глаза сияли.

Я не заметил, как ветка вербы выскользнула у меня из руки, и теперь мы оба тихо сплавлялись по течению.

Это вышло само собой, я погрузил весло в воду, налёт – и байдарка сама покатила!

И я рассмеялся от удовольствия и восторга, и она тоже.

– Меня зовут Лёва, а тебя? – спросил я, забыв, что могу вывернуться.

– Лаура. Ну, типа Лара, – пояснила она, перехватив мой удивлённый взгляд, – так папе захотелось меня назвать. Он хотел дать мне имя, чтобы я не была как мальчишка по характеру.

– Получилось?

– Не знаю.

Она рассмеялась.

На гребную базу мы возвращались вместе. И я знал о ней уже всё: что она из Москвы, учится в спортшколе, на год меня старше, а папа у неё чемпион мира.

Она показала мне фокус, от которого у меня дух захватило, – вдруг поднялась в байдарке в полный рост, а весло подняла над головой.

На берегу её поджидал высокий дядька с бородой. Он помог ей вылезти из байдарки и поцеловал её в щёку.

На прощанье она мне помахала рукой и звонко крикнула:

– Пока!

– До завтра! – ответил я.

А потом вскинул лодку на плечо и гордо запагал, выпятив грудь колесом. Я стал даже выше ростом: такая сила и слава и восторг были во мне, вы бы видели!

Когда я поднялся к эллингу, то заметил её возле новенькой «Хонды».

Наш тренер, Василий Григорьевич, суетился, провожал их, а потом они сели в автомобиль и уехали.

На следующий день была школа, но на уроках я думал только о ней и отвечал невпопад.

После обеда я первый прибежал на гребную базу и всё ждал её.

– Чего крутишься тут? Выходи на воду, – и пока вдоль берега, понял? – бросил мимоходом тренер.

Он был недоволен, что я без спросу, сам вчера вышел на воду.

– Ты чего? Случилось что?

– А где девчонка, которая была вчера? – спросил я, глядя в сторону.

– Лара? Так они уехали. Приезжали на день только, по делам. Папа её мой друг, мы начинали вместе.

А что, понравилась?

– Не-а, я так просто.

Мотнул я головой, краснея, и вдруг сказал, выдав себя:

– Она такая...

– Да, симпатичная девчонка, и с характером.

– Она такая... – повторил я и отвернулся.

Тренер ничего не сказал.

А я спустился к бону, сел в байдарку, легко оттолкнулся и полетел над прохладной пенистой водой реки навстречу солнцу.

ВЫСОТА

Чуть ли не каждую ночь мне снился один и тот же сон, будто подхожу я к перилам балкона, берусь за них рукой, а они ломаются, и я срываюсь и падаю, и кричу... а потом вдруг – раз – и начинаю парить над землёй, лечу сначала над городом, потом над рекой, а потом над садами.

Папа сказал, что это я просто расту. Может и так, но только высоты я боялся ужасно.

Вовка и Юрка всегда подначивали меня: катались на смотровом колесе и пальцем на меня показывали, а я даже на качелях-лодочках боялся. Но однажды всё изменилось...



В тот день Вера Петровна сказала:

– Дорогие ребята, поздравляю, вы успешно окончили четвёртый класс, а теперь каникулы!

– Ур-ра-а-а!!

Неслось эхо по всей школе.

– Ура! Ура! Ура!

Неслись мы с мальчишками со школьного двора.

– Айда на речку! – крикнул Юрка.

Забыв всё на свете, мы с радостным визгом помчались по склону к прибрежным ивам, побросали там школьные рюкзаки и с разбегу прыгнули в прохладную воду.

Мы купались недалеко от баржи, которая лежала на отмели; корма её высилась над водой, а внутри шуршала темнота.

Река разлилась, и течение было стремительное; мы заплыли далеко, чтобы не затянуло под днище, но течение нас упорно сносило к барже.

Поэтому мы поиграли в пятнашки у берега, это такая игра: нужно в воде догнать другого и коснуться его рукой, но вскоре нам всё надоело, и мы выбрались на берег и растянулись на горячем песке.

– Кайф! – счастливо засмеялся Юрка, откидывая со лба мокрые волосы.

Я взглянул на него, перевернулся на живот и улыбнулся, прислушиваясь к их голосам.

Они вспоминали наши вылазки, девчонок, подначивали друг друга.

Всё куда-то плыло, плыло в зыбких дрожащих золотистых бликах; тихо шелестела листва вербы над головой...

– Сможешь нырнуть оттуда, а, Юрчик? – вдруг сквозь дрему услышал я.

Вовка стоял у воды, показывая на корму баржи.

– Ты что, вообще?! Там же течение, а на дне сваи, прыгнешь – и всё, – сказал я, приподнявшись на локте.

– Лёвка, тебя забыли спросить, – отмахнулся он.

Я вскочил, так меня это задело.

А Вовка подпрыгнул, ловко передразнив меня, и расхохотался:

– Что, боягуз, рилэкс, без сопливых обойдёмся!

– На спор – я прыгну!

Шагнул я к нему и стал рядом.

Смешно мы выглядели: оба – белые, как сметана, волосы после купания – торчком.

– Эй, а ну кончайте! – крикнул нам Юрка.

Но мы уже понеслись.

Вовка опередил меня. Он подпрыгнул, уцепился за борт, подтянулся на руках, и мы услышали его возглас:

– Ой, накалилась, как на сковородке! А вот здесь нормально, – послышалось там, где ива нависала над палубой.

Вскоре мы втроем стали взбираться на корму; подъём становился всё круче: пока мы вскарабкивались, я поцарапал себе колено о сварной шов.

Первым свесился с борта Юрка и восхищённо воскликнул:

– Ух, ты, ну и высотница!

Высота была не меньше трёх этажей, это уж точно. Когда я посмотрел вниз, у меня закружилась голова, и я пожалел, что поспорил.

Течение бурлило под днищем, с шумом разбиваясь о якорный трос, натянутый, как струна.

– Вот это да! – воскликнул Вовка, смотрите, вон наш дом.

На берегу, ниже по течению, стояла наша девятиэтажка, за ней виднелось смотровое колесо, а на дальнем берегу длинной жёлтой полоской протянулся пляж, откуда слышались крики и смех, доносилась музыка.

– Да-а, высоко, – опасливо протянул Вовка. – Ладно, забудь, я пошутил, – повернулся он ко мне.

Но я не слышал его.

Я зажмурился, открыл глаза, – и всё теперь видел ярко и чётко, как на дисплее, и даже лучше, будто в голове у меня зажглась яркая-яркая лампочка и всё вокруг осветила необычным светом...

По реке носились с рёвом моторные лодки и катера, вдалеке у гребной базы показался караван лодок, они двигались клином по направлению от нас. Блеснула на солнце лопасть весла, потом вновь...

– Спускаемся! – предложил Юрка.



Мелькнуло ещё его бледное лицо. Я шагнул вверх и взмахнул руками, стоя на краю борта, – шумел ветер в ушах; меня качнуло назад, но я уже прыгнул и полетел, рассекая телом упругий воздух.

Я летел, а где-то гасли отчаянные возгласы Юрки и Вовчика.

Мне повезло, ведь я же лёгкий, – миг голубой сменился зелёным жаром, – полыхнуло глубиной с пузырями, а потом меня развернуло и понесло течением.

Я рванулся к свету, и свет меня вытолкнул, как поплавок, и я вдруг стал на ноги, а там глубина по грудь, смех, да и только. Да, сначала понесло, а когда вынырнул, хотел кричать, что тону, а потом раз – и встал на ноги.

Смотрю, а Юрка с Вовкой гоняют по палубе, чего-то кричат, меня ищут, совсем запыхались, вот уморы!

Ну, вылез я тихонько на берег, спрятался за тополем. Пусть, думаю, теперь помянутся, нечего меня дразнить. А потом жалко их стало, ведь друзья же. В общем, позвал я их.

Ух, как они радовались, вы бы знали! Они так тискали меня, обнимали, даже папа так крепко не обнимает, когда из рейса приходит.

Вовка потом предложил мне сидеть с ним за одной партой, где все отличники сидят. Но я не захотел, зачем? Ведь мы же и так друзья. Я ему так и сказал, мол, без обид, но мне на последней парте удобней.

Да, но главное, что теперь я и на смотровом колесе катаюсь, и легко бегу по хрупкому высокому мосту через реку. Доски шатаются, кажется, вот-вот рухнешь в водоворот, но нет – теперь я лечу над мостом, и даже на крышу с мальчишками лазаю, если открыт люк, конечно.

Да, а иногда даже подхожу к самому краю, а Вовка с Юркой боятся, почему так, не знаю, ведь они же всегда такие смелые были.

А я люблю там стоять на краю и смотреть, как пыхтят буксиры в порту.

Смотрю, какая красота дивная вокруг: наш белый город, и серебристая река, и синеющий лес вдалеке, и сады, которые ещё полнятся белым и розовым цветом, и оранжевый шар солнца, который опускается в дымный фиолет за рекой, да... И я парю в небе над всей этой красотой. И мне так хорошо, что я плачу. Да, стою, глотаю сухой комок в горле, не могу проглотнуть, и реву, как дурак, честное слово.

Что со мной? Может, как говорит папа, я просто расту, но теперь быстро-быстро, не только во сне, ночью, но и днём. Я не знаю.

Да, а ведь это, наверное, так здорово быть взрослым! Ах, поскорее бы, поскорей.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

МЕЖДУ СТРОК

ЗИМНЯЯ ДАЧА

Скрипит, как Чюрленис, бревенчатый дом,
Скрипят шестерёнки рассудка,
Который уходит от гибельных догм,
Работая честно и чутко.

Любовь и озноб – вековечный коктейль,
Который я пью торопливо.
...И вырваться трудно из хищных когтей
Сомнительного креатива.

В чём цель? Непонятна, как музыка, цель.
Где логика в жизненной драме?
А в окна стучит одинокая ель
Живыми ветвями.

БЫКОВО

Пусть телефон молчит, пусть не молчит синица;
И серый воробей, и серый свистель,
Пусть дым печной, как встарь, над кровлею струится
Со всех своих печных горячих скоростей.

Пусть Instagram молчит, пусть не молчит знакомый
До слёз (о, Мандельштам!) с-к-р-и-п белых половиц.
Пусть рыжий кот мурчит, обуреваем дремой,
Пусть вечный круг луны сияет желтолиц.

Пусть говорит сосна на языке сосновом,
Пусть говорит трава на языке травы.
Мне очень хорошо. Согретый дачным кровом,
Я прячусь от цепей Берлина и Москвы.



БАБОЧКА БРЕДБЕРИ

И превращается в мурло
 Лицо – бесовестно и шустро.
 – Враньё-предательство-бабло, –
 Сказал бы нынче Заратустра.

И зреет взрыв, и маает тля,
 Необделённая клыками.
 И возмущается земля
 На фоне пламенных цунами.

На фоне каменных палат
 Растёт сорняк невероятный.
 А бабочка порхает над
 Добром и скверной.

БЕДНЫЕ РИФМЫ

не говори что жизнь нет
 ведь ты живёшь ведь ты мечтаешь
 не говори что смерти нет
 не говори чего не знаешь

возьми себе в поводыри
 себя и чуткое молчанье
 и лишнего не говори
 не омрачай поход речами

СТАЛКЕР

Из детских узких шаровар
 Он вышел – к берегу Гудзона.
 И дал вербальный шалобан
 Пространству под названием «зона».

А зона рыкнула в ответ:
 – Вертайся, братка, восвояси.
 Ты хрупок; как волчара, сед,
 А в зоне скачешь на Пегасе.

Он молча репу почесал,
 Сказал кряхтя бай-бай Гудзону.
 И снова в зону почесал,
 В родную воротился зону.

ДОСТОЯНИЕ

Знаю: нетути дара великого –
 В эмпиреях витай, не витай.
 И на фоне писателя Быкова
 Я последний ничтожный лентяй.



Ни медальки не жду и ни ордена,
 Это всё дребедень-ерунда.
 А подохну – коханая Родина
 Позабудет меня навсегда.

Ну и что! И какая мне разница,
 Что там будет (не будет?) потом.
 Я же счастлив, девчонка-красавица
 На плече засыпает моём.

У неё столько ласковой силушки
 И глаза горизонтом полны.
 И лопатки торчат, точно крылышки,
 Из нездешней прозрачной спины.

Я же счастлив, моё достояние,
 Что однажды сумел обрести, –
 Эта леди, которой желаннее
 Я не встречу уже на пути.

ГРЕТХЕН

девушка из Копенгагена
 говорит со мной
 на языке удельнинских сосен
 малаховского озера
 большого кожаного дивана
 языке языка
 ладоней и прикосновений
 на языке электрички
 весело кричащей ту-ту-у-у-у
 универмага Дикси
 девушка из Копенгагена
 говорит со мной
 хотя датского языка
 я до сих пор не знаю

ДИАЛОГ

- Есть ли мечта?
 – Я хочу стать поэтом.
 – Хочешь стать битым, разутым-раздетым?
- Нет, не хочу. Я хочу стать пиитом.
 – Хочешь стать битым, помятым, убитым?
- Нет, я хочу, чтобы слово звучало.
 – Этого мало, этого мало.



жизнь моя в походы дальние
гонит и на острова
я шепчу исповедальные
покаянные слова

смерть моя глядит в подзорную
окаянную трубу
видит как тропой неторною
я подраненный бреду

Я ИДУ

я иду по планете Земля
позади чужедальные мили
так наверно уже говорили
круг сужается точно петля

ниоткуда иду в никуда
в никуда-никуда ниоткуда
и жую сладкий пончик фастуфуда
и течёт между пальцев вода

АЙ ЛЮ-ЛЮ

это жизнь не по фэн-шуй
это битва за баблосы
голосуй не голосуй
а вокруг одни барбосы

я беспамятен и глуп
но хочу есть шоколадки
я готов смотреть в ютюб
фильм о том что всё в порядке

мне уже не стать другим
правдою считаю сказку
я люблю горячий Крым
и холодную Аляску

что поделать я люблю
не смотрю на женщин кротко
цигель цигель ай лю-лю
мне опять кричит красотка

В ОДНОМ НЕЗНАКОМОМ ГОРОДЕ

На воле как на зоне –
Не провести межю.
Я, точно вор в законе,
Семьи не завожу.



Вокруг одни бандиты,
Родная волчья сыть.
Вокруг одни пииты,
Тудыть их, растудыть.

Тот вор и тот ворюга,
Воруют что-нибудь.
И все не прочь друг друга
Немножко обмануть.

Да, здесь такие нравы
И нет иных забав.
И все, конечно, правы,
Хотя никто не прав.

ПОТОМ

Веселушка-гёрла Мельпомена
Ублажает накаченный мозг.
И – счастливый – взирает блаженно
На людей просветлённых Христос.

И не верит, что жизнь, как солому,
Подпалить может чёрная масть,
И не верит, что гибельно в кому
Может Кама великая впасть.

Будем жить, будет *кротцы*, как дети,
А потом, а потом, а потом
Попрощаемся. И на рассвете,
Далеко-далеко побредём.

МЕЖДУ СТРОК

Судьба – тик-так – известна.
Пою: чирик-чик-чик.
Я выпорхнул из века
Двадцатого – на миг.

Я верю: в ноосфере
Не оседает грязь.
Я верю, что потери
Переживу – молясь.

Смирясь, скажу: «Спасибо!»
Смеясь, скажу: Я смог!»
И уплыву, как рыба,
В пространство между строк.



СЛОВА

Слова хотели быть живой
Стихией, в лапы к пустозвонам
Попали, это не впервой,
Трава хотела быть травой,
А стала чопорным газоном.

Резона нет – забравшись в сеть,
Чихвостить жизнь и в хвост, и в гриву.
Слова хотели умереть,
Они и спинули на треть,
Но быть им живу.

ПОСЕРЕДИНЕ

На шее крест нательный.
В душе – опять – надлом.
А слева дом модельный.
Молельный – справа – дом.

Стою посередине,
Жую печаль-тоску.
Года посеребрили
Беспутную башку.

Я знаю, что со мною
Случится опосля...
А подо мной юлою
Вращается земля.

УЛЫБКА

Победа или поражение –
Поди расчухай до поры.
Одно неловкое движенье –
И всё летит в тартарары.

Жизнь горяча и скоротечна
И фальшаком омрачена.
Одно нечестное словечко –
И речь, как чопорность, черна.

И всё безрадостно и зыбко.
Но жизни не вставляй клистир.
Одна прекрасная улыбка –
И снова оживает мир.



ИЗДАТЕЛЬСТВО

Этот баран
Пишет роман.

Эта кобыла
Стихами журналы заполонила.

Эти гиены-заразы
Строчат юмористические рассказы.

И все они хотят издаваться.
И все хотят надо мной издаваться.

ФОМА: XXI ВЕК ОТ Р.Х.

Думать как все и по чье-то указке
Я разучился на старости лет.
Но понимаю: библейские сказки
Мне оставляют надежду и свет.

Я понимаю: шипящая злоба
Не победит никогда и нигде,
Если идет человек по воде,
Если встает – воскрешенный – из гроба.

ЗНАХАРЬ

жизнь стометровочка выдох-и-вдох
финиш ликующий редок
олух небесный и лузерный лох
что я скажу напоследок

вспомню кино как по совести жил
знахарь Антоний Косиба
что я скажу старый славянофил
тихое слово спасибо

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА

БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ БЕССОННИЦЫ

ИЮЛЬ

В дневном раю забыться и уснуть:
ржаное лето, ветер в ковьях,
в полёте аист, солнца колесо.
Вот девочка, несущая серсо
и мальчик с ней – прокладывает путь
в сухой траве, и с яблоком в руках
надкушенным. Забавой для двоих
заполнен полдень, душный и густой,
лиман похож на чайкино крыло,
летает обруч, кружит детский смех
под выбеленным синим полотном.

Запомни День, как длинный новый стих,
как самый незаметный первый грех.
Ты будешь к ним проситься на постой,
стучаться сердца тихим мотыльком
сквозь памяти бессильное стекло.

ПАРАЛЛЕЛЬ

А я всё хожу и хожу туда,
где чёрные реки душевных ран,
туда, где разрушены города
привычно-понятных стран.
Там руки твои и моё лицо
никак не закончат свою дуэль.
Тогда мне казалось, что мир-кольцо,
но мир – это параллель,
параллелешпед прямых углов,
где скрыта чужая суть,
шесть граней железных речей и снов,
упорно зовущих в путь.
Там белой и чистой реки вода
очертит границы стран,
восстанут гранитные города,
не будет душевных ран.
Но я не хочу, не могу туда.



ВНУТРИ

Больно нам, страшно? И я молчу,
 просто не знаю ответа на твой вопрос.
 Больно ли воздух теряющему мячу,
 страшно ли ветру, несущему запах гроз?
 Да, на рассвете слегка солоня щека –
 всякий, свободу выбравший, одинок.
 Только один заводит себе щенка,
 ну а другой – ведёт себя, как щенок.
 Солнце, как прежде, сходит за горизонт,
 ночи, как раньше, бархатны и легки.
 Плещется в душах эмоций аксинский понт,
 переливаясь в негаданные стихи.
 Грань между явью и бредом всегда тонка,
 каждый, ступив на крышу, дойдёт до края,
 но застывает в резком броске рука,
 на стену памяти натываясь.
 Пряные травы прожитых вместе лет,
 заполняют душевные пустыри.
 Это не мука – выбор живёт внутри,
 даже когда отвыкаешь лететь на свет.

ЛАЗАРЕТ

Сны не сбываются – просто приносят дрожь,
 берег иной укрывая слоистой пеной.
 Дай только время, когда-нибудь утечешь
 кровью дурной из прокушенной смертью вены.

Доктор дежурный назначит двойной укол,
 чтобы отшибло желание выть и память,
 и пожурит за то, что заблёван пол
 лишними сгустками сердца – её стихами.
 Только сиделка – вера, в глухой ночи,
 тихо поправит колкое одеяло
 и посидит поблизости, помолчит,
 чтобы бедняге немного спокойней стало.

...как перестанет сниться словесный тир,
 злорада, бессилье, грубости и запреты –
 выпишут снова в зовущий, безумный мир
 новую душу из вечного лазарета.

ИСХОД

Что останется после них,
 покидающих личный рай?
 Тропка, узкая для двоих,
 переключка летящих стай,



диких крокусов робкий стук
в тёплом чреве родной земли,
не рождённый струною звук...
ношу нежную донесли
до краёв необъятных стран,
так бросайте, чего жалеть?
За границами тайн и ран
воскрешение или смерть –
всё одно, для терявших свет,
находивших себя во тьме,
тихой жалобой бересклет
возникает в тревожном сне,
а за этой живой грядой –
позабывтые всё места.
Переполненных пустотой
ждёт наружная пустота,
растекается по столу
жёлтый воск именно свечи,
долг бег души по стеклу
бесполезных уже причин.

ЛАБИРИНТ

Я однажды вернусь,
открою неспешно дверь
и ответит прошлое сквозняком.
Мой почти приручённый
свободой зверь,
ты остался близок и незнаком,
я – далёкою быть смогла
и привычной, без трудных схем.
Отражением в зеркалах,
полушёпотом серых стен,
недоверием старых ран
мы чужим упрощаем роль,
за границами жизней/стран
потайную пряча боль,
перемалывая в муку
недосказанное вчера,
где под нежностью
новых шкур
иероглифы чертит раб,
не желающий выходить
ни по капле, ни по любви...
Нескончаемый лабиринт,
где не чужим шагов своих.

ПТИЧИЙ БОГ

Но ведь где-то живёт
дряхлающий птичий бог,
под шуршанье листвы
играет на старой флейте.



Смысл песни простой – не жалейте,
если крыльев не выдано, сто дорог
ещё можно пройти на своих ногах,
ещё столько невыбранных перекрёстков.
Птицы тоже страдают и знают страх,
нелегко им впервые взлетать, подростки
с неуверенно-малым размахом крыл,
и куда лететь, в неведомое, чужое?

Птичий бог на стареющей липе жил
и на флейте играл, и меня учил,
да забыла язык я – большое горе.
А теперь, под вечер бреду в лесу,
чую сумрака шепот в его глубинах
и за пазухой флейту тайком несусь –
вдруг, опять узнаю его седины,
и улыбку на вызубренном лице,
и глаза с чернотою под поволокой.

Птичий бог нерождённый дремал в яйце,
время вило тугой непролазным кокон,
горько пахло дымком костра,
ночь ткала себе покрывало.
Пела флейта за гранью добра и зла,
а моя, молчащая, подпевала.

ВЕНЕЦИЯ МИНОРЕ

Il mio caro, кругом вода,
мрачно пропахшая серым тленом.
Эта Венеция – словно демон,
путь совершающий в никуда.
Кутаясь в складки его плаща,
я разгоняю свою печаль
тем, что пишу тебе письма,
веря непрочной бумаге.
Только текущие мысли,
в мире не сохнувшей влаги,
стойко мечты хранят.
Пьяцца Сан-Марко полна голубей,
небо над нею всегда голубей,
чем над другими частями
острова, пьющего с нами
терпкую грапу разлуки.
Твёрдой рукой процарапан
на жизненной карте,
город, опутанный стынущим мартом
и обречённый на тихие муки –
танец на сваях плясать,
разлетаясь тысячью мелких осколков.



Ловко взмахнёт треуголкой
призрачный дож,
начиная пустой карнавал
масок без лиц.
Знаю, что это не сердце болит –
просто так действуют сырость и дождь,
и вызывают проклятую дрожь,
где-то на грани ресниц...
ты придёшь?

УТРО

Когда листаю белые страницы
бессонницы, пришедшей на рассвете,
я думаю, что так давно не снился
мне вышитый польностью горький ветер,
несущий перезрелые надежды,
которые давно пора посеять.
Но в этой тишине любой насмешник
от потайной предвзятости немеет,
не смея вдохом мир переиначить,
лишить его бутонного молчанья.
А где-то ангел строчками заплачет,
по опоздавшим к мессе мирозданья
и чистый звук, на незнакомой ноте,
почти бесплотный, тающий в пространстве,
как птица в первом дальнем перелёте,
расскажет всё о мире постоянства,
где каждый взгляд уже имеет пару
и слово не оставить без ответа.
И серой занавески тонкий парус,
наполнится опять прозрачным светом.

МАЛЬЧИКОВЫЙ БЛЮЗ

Имеем ли право не всё сказать?
Зачавшим слова нет пути назад,
как только выращивать семя
печалей да сожалений
о прошлого призрачных замках,
где каждая новая ранка
пока вызывает улыбку.
И в этом качании зыбком
имбирного тёплого света
нет песен ещё недопетых,
не знает свинцового ветра
последнее мирное лето.



Осень пинает дни –
мусор, труха, гнильца.
Мальчик, вставай, они
ловят тебя на живца.
Наобещали свет,
радугу и покой...
где этот мир без бед?
Мальчик, ты не такой,
можешь – гори в стихах,
хочешь – сжирай себя.
Тонкою жилкой страх
бьётся под кожей дня
и, под прицелом линз,
плавится ночь-металл.
Мальчик, остановись.
Ты
же
не
воевал.

А нам этот мир надоест прощать,
и самонадеянная праща
сравнивает зачатки крыльев,
до мяса и гулкой крови.
Сквозь тернии острой боли
прикладываем усилия
остаться самими собою,
но это ли в нашей воле?

ЭЛЬДАР АХАДОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

НЕ СПРАШИВАЙ

Когда в страну неистовых чудес,
Туда, где всё неведомо и странно,
Над голубой пустыней океана
Под сводом аметистовых небес,
Нагую грусть оставив позади
И вихри слов, и снежную тревогу,
Мы устремимся в долгую дорогу
С томленьем ожидания в груди,
Не спрашивай о том, что быть должно,
Ни ты, ни я не ведаем об этом,
Но мы летим, летим с тобой за светом
Оттуда, где теперь уже темно,
Где всё бывшее потеряло вес,
Куда вернёмся поздно или рано,
Летя во тьму над бездной океана
Под звёздной одинокостью небес...

НА ГОРЕ КОРКОВАДО

На высокой горе Корковадо,
Где кругом заповедник Тежука,
С губ монах напускная бравада
В небесах растворилась без звука.
Там плывут облака и туманы,
Быстрой радугой дождик смеётся.
Повинуясь ветрам с океана
Там во мгле появляется солнце.
И, невольный свидетель и зритель,
Не сводя восхищённого взгляда
Видел я, как Христос – Искупитель
К нам взывает с горы Корковадо.



КАНОЭ

Прижавшись к морю, движется каноэ,
 Стремясь то в бездну, то за облака...
 Куда гребут так смело эти двое:
 Обоим им не ведомо пока.
 Над каждым солнце собственное светит,
 У каждого в руках своё весло.
 Лишь не смокая шепчет встречный ветер
 О том, что два – счастливое число.
 Стараются то вразной, то дружно –
 По мере и возможностей, и сил...
 Наверное, им очень-очень нужно,
 Чтоб кто-то их действительно любил.

ПАРАГВАЙ

Мы шагаем в Сьюдаддель Эсте –
 Дети, я и моя жена,
 И с моста наблюдаем вместе
 Как мутна река Парана.
 А над ней облака-туманы,
 Как реке, им покоя нет.
 И глазастенькие кайманы
 Улыбаются нам вослед.
 И течёт вода, как живая,
 Как скользит по стеклу стекло,
 Вот и башня сторожевая...
 В Парагвае всегда тепло.
 Наконец-то мы входим в город,
 В мотоциклов гремящий рай.
 Контрабандный товар не дорог:
 Made in China, сплошной Китай.
 Вместо слов непонятных – пальцы,
 Торг уместен, как – да и – нет...
 И глазастые парагвайцы
 Улыбаются нам вослед.
 Вот парнишка простой и скромный
 Что-то курит возле меня,
 А его револьвер огромный
 Выпирает из-под ремня.
 А товарное изобилье
 Всюду – словно четыре Д.
 И таможенник из бомбилы
 Пьёт горячий крутой мате...
 И опять всё на том же месте
 Всемогущая Парана...
 Мы идем из Сьюдаддель Эсте:
 Дети, я и моя жена.



ИГУАСУ

Над пропастью колышется туман,
Кипит, шипит и пенится стихия.
Земля разверзлась: словно океан
В неё роняет волны штормовые.
И сумраку в тропическом лесу,
И солнцу, что встаёт в рассветной рани,
Привычно слышать рёв Игуасу
На языке индейцев гуарани...
Вот у реки поёт, уныл и бос,
Один из них, живущих здесь доселе.
А рядом процветает город Фос,
Куда вчера колибри улетели.
Там хорошо: в приманках липкий мёд,
Искусные над ними орхидеи...
А он, босой, реке своей поёт.
Его – река. И он – её индеец.

АКОНКАГУА

Там, куда не достанет радуга,
Над великим простором Анд
Возвышается Аконкагуа,
Как сверкающий бриллиант.
Словно в сказке о древнем Гондоре,
Но покруче былых чудес:
Ни на Горлуме, ни на кондоре
Не добраться до тех небес.
Лишь царит тишина морозная
Среди снега и голых скал
Над цветущей вдали Мендосою,
Там, где мальбек и карнавал.
Ах, как хочется хоть ненадолго
Но подняться до тех высот,
Где сияющий Аконкагуа
В облаках над землёй плывёт!

ОЛЬМЕК

В полнолуниях библиотек,
Где стада заповедные книг,
Окаймлённый сияньем ольмек
Со страниц соскользнул и возник.
Демииург, чудодей и ведун –
Он блуждал совершенно один
То в краях нарисованных дюн,
То в лесах средь бумажных равнин...
Но теперь, поглядев на луну,
На спокойствие дремлющих стад,
Он внезапно нырнул в тишину,
В безъязыкий её водопад



И исчез, словно тысяча снов
 Растворённых в её глубине,
 Там, где лунная радуга слов
 Этой ночью привиделась мне...

ЭВИТА

Я был в стране, где все её любили
 И до и после скорбных похорон,
 Где до сих пор несут к её могиле
 Цветы живые с тысячи сторон.
 Была печаль прощания едина,
 Как шум неумолкающий дождя.
 «Не плачь», – она сказала, – «Аргентина!
 Не плачь по мне», – шепнула уходя...
 Что те слова и чувства ныне значат –
 В иных краях, в другие времена?..
 Пока в стране о каждом не заплачут,
 Она ещё не каждому – страна.

РАССВЕТ НАД РИО

За улицей Фернана Магеллана
 Висит сырой предутренний туман:
 Купается в песках Копакабана,
 Ломают волны Южный океан.
 И кажется: вот-вот и каравеллы
 У крепости на рейде встанут в ряд,
 Но спят неугомонные фавелы,
 И птицы спят. И парусники спят.
 Уходит адмиральская армада
 В незримую страну рассветных грёз...
 Белея над горою Корковадо,
 Простёрши руки, высится Христос.

В АРГЕНТИНЕ Я БЫЛ...

В Аргентине я был, в Аргентине
 Той весною, похожей на осень
 После зимнего жаркого лета...
 Там по дивным прудам Розедаля
 Дефилируют белые птицы,
 Как неспешные пары влюбленных
 В парке имени Трес-де-Фебреро.
 В парке имени Трес-де-Фебреро
 В исполинских омбу заблудились
 Голоса, словно корни тутие,
 Словно Анд обожжённые склоны,
 Словно мите из устья бомбилы,
 Словно осень в цветах джакаранды...
 Там чаньяр и железный кебрачо,



Женский мост над глубоким каналом,
 Обелск, Каменита и фикус
 Незабвенный, как танго-милонга...
 Я гляжу сквозь морозные окна
 В белоснежные зимние дали,
 И в душе моей струйкой метели
 Вьются шорохи воспоминаний:
 «В Аргентине я был, в Аргентине...»

АСУНСЬОН

В суровых чащах Парагвая,
 Где оголтелая жара,
 Мне снились крики попугая
 И грозный клёкот топора.
 Средь криков, клёкота и брани
 На непонятном языке
 Ко мне индеец-гуарани
 Во сне явился налетке.
 За канарейкой канарец,
 За стрекозою стрекозёл,
 А ты за кем, дружок-индеец,
 В чащобу душную пришёл?
 Молниеносней ягуара
 Возник он, как из-под земли.
 И вскоре с воплем «Санитара!»
 Меня в носилках унесли.
 Исчезли дебри Парагвая,
 Беда рассыпалась, как сон,
 И только голос попугая
 Поёт про дивный Асунсьон.

ПУСАДА ФОНТЕ БЕЛЛА

Открытая веранда.
 Закаты а капелла...
 О, вилла Иоанда –
 Пусада Фонте Белла!
 Как в воздухе идеи
 И ноты на пиюпитре,
 Клубятся орхидеи,
 Кольшутся колббри.
 Подобное жеоде
 Внимает небо чуду,
 И тысячи мелодий
 Мерцают отовсюду.
 О, вилла Иоанда –
 Пусада Фонте Белла!
 Открытая веранда.
 Восходы а капелла...

АННА МАРКИНА

ПРИБЛУДНЫЙ СНЕГ

Проведено цветение непрочное
по улице, по городу, сквозь май,
сквозь хмурый, осовелый политех.
А молоко сбегает по плите,
как бледная аптекарская дочка –
поди поймай.

И ветерок капитановые груди
прощупывает с мягкостью врача
и запахи разносит по предместьям,
как будто бойфренд брошенный (из мести)
подарки отбирает у подруги –
так, сгоряча.

Ешь кашу и растёшь себе покамест,
как некое подобие гриба,
не найден, не открыт, не покорён.
Протянут в небо – ржавая труба,
куда ведёт она, где подтекает
не разберёшь.

А что ты грустишь? Разве стелют сегодня жёстко,
и разве люди слишком темны на вид?
Отбросив коньки, от падения сбережёшься,
оставив надежду, спрячешься от любви.

Споткнёмся лучше заранее там, где ровно,
войдём не с парадного, а, как всегда, с торца.
Разбитое зеркало, спрятанное в уборной,
не выдержит больше ни одного лица.

Ты просто плавь по выпавшей простокваше.
Я буду больной, ты – сетью глухих аптек.
А что ты грустишь? Подумаешь, очень страшно
и мается у подъезда приبلудный снег.



заброшены синицы на карниз.
зима. и стерегут снега,
как будто на земле лежит плита
из мрамора,
венчающая жизнь.
каракули деревьев вдоль холста.
одна из танцовщиц дега,
как мхом поросшая
от пяток и до рта,
ведёт своё обидчивое тело
на выгул.
бездомных голубей накрошено
под ноги,
сереет день – как на спине кита.
куда, синичка, держишь путь,
куда?
уходит цвет. цвет, погоди \постой,
останься в волосах
и в драповом пальто,
в калошах,
в локте, что теперь не выгнуть,
а помнишь, сотканы из цвета
минуты были на часах,
в кафе читали (что?) аполлинера?
но колокол звонил уже. по ком?
и мелко хорохорились поэты,
как клевер,
уязвленный ветерком.
всё было всем,
без толку и без меры.
и беговые щурились на старте.
любовники меняли имена.
стекло в пуантах.
проигрывали много на бегах.
и солнечные зайчики, что осы,
и яблочные речи
под вечер
разбавлялись кальвадосом.

и вот зима, конец всему,
снега.

ВРАГИ

Вот тени легли на паспорт
и холод прошёл с косой,
меня прибрало государство,
и объявило псом,



бойцовой большой собакой,
кричало: враги, враги,
напрашиваются на драку,
не лыком мы шиты тоже,
беги, верный пес, беги,
врагов нужно уничтожить.

а я пожимаю плечиком:
я был себе человечком,
я есть себе человек,
хожу покупаю кетчуп,
живу без затей... покато,
ношу своё тело как-то,
мощь у окна в трамвае,
о многом переживаю.

Нужны мне тепло и кальций,
похлёбка моя горчит,
а мне говорят: оскалься,
а мне говорят: рычи!

забуди про свои трамваи,
масштабы беды почув.
И иногда побивают
для очищенья чувств.
Стоят надо мной советчики.
А я им: я человек,
я всё-таки человек...
Лежу на одной из коек,
но мне уже думать плохо.
Ведь если ли я человек,
то почему беспокоить
меня начинают блохи?

Вот солнце со взглядом лампы.
И жизнь, и зима строга.
Я просто встаю на лапы
и в поле ищу врага.

Электрички из города к лучшему миру бежали,
станционные лужи побег их во сне отражали.
В продавцах чебуреков пенилась хрипотца.
И ржавели деревья над мокрыми гаражами.
И везли электрички ржавеющие сердца.

мимо скверов и скверных дорог, дорогих дискотек,
скоротечных салютов. И люто брели в темноте
из вагона в вагон без билетов студенты, бугаи,
те, кто что-то украл, и брели продающие те,
что носки и раскраски ржавеющим предлагали.



Ветер жил в головах и карманах, как летом в траве жил.
 Забирался в газеты, под шарфы, но (в общем) был вежлив.
 Пассажиры шептали. Однако, хотелось реветь,
 что селёдки, как новости, в городе были не свежи,
 и что осень на цвет горьковата, как сердце и медь.

И везли пассажиры бутылки, еду, папиросы,
 и везли не прямые догадки и злые вопросы.
 И задумчиво морщился сонный, седой небосвод,
 пробегая в окне. Но вопросы вдруг кончились просто
 у старушки, решившей от нечего делать кроссворд.

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ

Узел в памяти был, как железнодорожный...
 Остывала земля, пересыхал, что ручей, вокзал,
 окружённый таксистами, жёлтой кленовой дрожью.
 Оброненный в жизнь котёнок под креслами замерзал.
 Город L, известный тем, что в него отправляли в ссылку
 литераторов и др. убогих. Болоньевое пальто,
 под которое мама прячет шерстного и обнимает сильно,
 мы не так много можем, мама, но пригреем самого серого из котов.

На другом узле – солнце давит на землянику
 между шпалами узкоколейки, обрезанной в тупике.
 Там сторожка, в которую ходят разбитые проводницы,
 а потом вылетают, как лимонницы, налегке.
 Колоски под горячей насыпью качаются и смеются,
 собираю ягоды, наклоняюсь к красным запёкшимся головам,
 прихожу домой, высыпаю добычу в блюдца,
 за окном государство трещит по швам.

А потом был снег. Нет, не так. Снега ещё в помине...
 Снова рыжее, да. В корзинах грибы несут.
 Наклоняется лес, подобно огню в камине.
 Мы kota, прожившего (три-пять-девять), закапываем в лесу.
 А потом понеслось: земля-лопаты, земля-лопаты,
 у земли и железа горький и кисловатый вкус.
 Узлы в памяти проседают – ни бросить, ни раскопать их,
 всем досталось, тебе и мне, от горечи по куску.

Но смотри – вот вокзал. И тела жирафы – тугие краны.
 Вот зима. С белых начнём страниц.
 И мы едем-едем на полках в чужие страны
 посмотреть на башни, на горы, на высохших проводниц.
 Вот сторожки. Кино. Пружинят виолончели.
 Поцелуй, как море, волнами поцелуй.
 Вот Юпитер. Вот Венера от Боттичелли.
 Вот пропели на венчании «аллилуйя»...



После узел-зима. Перелески – как вмерзшие в лёд составы.
Бросить землю в могилу. Просто выпустить из горсти.
Минус 35. Холод вязывается в суставы.
На оградку денег к осени наскрести.
Паутина на окнах в прошлое. Рельсы-шпалы.
Рельсы-рельсы. Поедемте в город L.
Проводницы поезда взяли да и проспали.
Машинист дорогу выучить не сумел.

ИРИНА ДЕЖЕВА

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)¹

повесть

В ГПД² меня устроила АВ, жена двоюродного брата Гур'вы мамы моей подруги с университета Ольеньки, в день рождения Папика, – так некоторые смелые в сем гранд кулуаре называли главврача. Остальные – папой. АВ повела меня в подвал – лоцию предполагаемого архива, т.е. на моё будущее рабочее место, полуразрушенное, сырое, не предназначенное для моих почек. Но я архивариус... Бывалые подземные ходы, вечная жизнь наоборот, кое-где обустроенная под отдел кадров и хозчасть (святые места, печень и совесть КУ³), а там, где я должна была информировать мир об историях его сумасшедших, – палый, как от взрыва, котлован. Мой обозначенный на карте века кабинет-призрак пах извёсткой, плесенью и откуда-то ладаном. Это единственное, что меня успокаивает всегда. Мы остановились у руин, пришлось заглянуть в будущее, главнейшая по науке барышня предложила *поки* посидеть наверху в регистратуре, встречать и ориентировать всех приходящих, изучать архив, помогать, так сказать, разбираться во всем этом MMSE и направлять, куда следует (она всегда поможет, если что необъяснимое встретится вдруг на моём пути), курят – там, собака на привязи, а когда закончат работы, перебраться сюда. Я согласилась. Восстановился долгий ремонт и улыбки в сторону уходящих в тушь катакомб бывшего роддома... Одиночество, поиск бумажных пациентов и вид из окна на старый в винограде, вишне и яблоне двор с беседкой для курильщиков и старой привязанной собакой исчезли в никуда, т.е. обратно...

– Тётка не напугала? – из пыли возникла низенькая круглая женщина, она как-будто летела рядом, что-то всё время теребя в карманах своего халата. – Я Валентина, здарсьте, Вы к нам надолго, свой халат есть?

Я ничего не поняла из её слов, улыбнулась и вдалеке поздоровалась, но мне понравилось, как легко и стройно после 50-ти ожиревшая Валя одним па объяснила мне всю структуру айсберга. Т.е. все люди вообще на айсах, и у каждого пик свой. Позже непознанные стуски судеб, карм и случаев лично приобрели свою же от кутюр молдаванскую форму. Например, злая собака Тётка, которая за людей считала только врачей и тех, кто без перекуров обеспечивал её 4-х разовым питанием и ночью отцепить да дать побегать, т.е. наших сторожей. Однажды её благодетели на цепь забыли посадить, а я из архива возвращалась, хорошо, дверь была закрыта... Мне нравилась одна моя планетарная черта – всё начинать вовремя и сначала, в подходящем разуму и душе месте. В год перед отъездом этим всем оказался горпсихдиспансер. Как дерево в псалме, посаженное при потоках вод, приносит плод свой во время своё.

Я зашла к папику Олегу Николаевичу и поздравила его отныне своим появлением с его днём рождения. Здесь ничему не удивляются, и *он* согласился.

Я усердно должна была прислушиваться ко всем голосам и заполнять карточки, иначе влетала медсестра – Стрекоза (как в хорошем настроении называла её моя напарница, и наставница, и мать родная) и стрекотала в моё окошко:

– Ну я же просила Вас заполнять карты больных на двух языках и писать понятно, указывать пол, вот здесь квадратик в углу, видите?

Я кивала. Потом она подлетала и стрекотала в следующее окошко, о нарасно...:

– Я же просила Вас, Наталья Сергеевна, уже не раз, вы же знаете, как Нелли Сергеевна нервничает, когда плохо заполнено.

Моя искренняя из другого оконца, будто вся как богиня-медрегистратор, тонко чувствующая инородное, обычно не поднимала своих выразительно пегих и глубоко красивых глаз на подобное, всем телом, плохо нарощенными ресницами и модной стрижкой показывая, что она очень занята. Только я могла видеть, чем, к миру мы были явлены одним торсом, но так – мы, понимая и правила, и ход событий, любили друг друга. Сочувствовали. Это, при желании, могут все. И брали, когда лежало, вечный



сквозняк, выходящие в нимбе полуглавные сёстры, не закрывающие за собою двери, и вечно ругающиеся дежурные уборщицы, о святыни наши, закрывающие их, то суточный, а то и недельный прикорм изрядно жертвующих беспопытной медициной. Кофе, шампанское, пирожное картошка.

– А с каких это пор Нелли Серг(х)евна стала понимать на двух языках? – соизволяла отряхнуть от крошек и кутикулу халат, о, моя смелая. – Мы ж не по-французски тут к вам в кабинет посылаем. Идите, Вера, идите, не мешайте работать. Сами ж отвлекаете, а сами потом хотите, щоб мы вам тут карточки правильно заполняли. Г(х)рамотные, разберёмся.

Мне выбранная очередной раз Наташа была похожа на недоленную амазонку, но всегда чувствовалось, – это из-за того, что она переживает за своих мужчин. Когда от 16 до 60-ти отца, мужа и сына ни с хрена каждый день хотят забрать на дебилную войну, и не так ответишь, но это молча... и не в нашем заведении. За дебила ещё и отхватить можно, т.е. ответить по пунктам языка и его предназначения придётся...

– Ну я прошу вас, девочки, – всё стрекотала улетающая медсестра самой интеллигентной врача -6- района сей богадельни Нелли Сергеевны – стара, сильна, строга, в прекраснейших серебряных кольцах – перстнях, как мне заметили, по секрету, ручной работы, – ааа – обожаю – какой-то пациент наш, бывший ювелир – ааа... уже не приходит... Госпожа Серебрякова, единственная, уходя, вспоминала внука. Остальные сравнивали времена с временами и увлекались жизнью растений.

Так, с ноты по человеку – портрет. Меня явно и вовремя привлекали человеческие знакомства. Случайный пленер на безвоздушной гондоле. Какое разнообразие, как дивен Ты, Господи, в деталях и деталях своих.

Первым впечатлением, конечно же, было яблоко.

– Благословляю Вас! – зашедший всегда снимал шляпу у входа, кланялся всему уборштатперсоналу, нюхал пальму, (– О, явился не застудился, – так его всегда встречала доменная с метлой Надя), все здоровались и целый день, меняясь, протирали следы.

– Через оргстекло?

– Я психический, но я всё соображаю! Хотите, я Вас покормлю?

Когда НС была на перекуре, я свободно могла вникнуть в каждого, не соблюдая дистанций.

– Нет, спасибо, я не голодная.

– Я серьёзно, – он стал выкладывать из котомки всего понемногу и протягивать мне через окно.

– Я верю Вам, но я не голодная.

Мы увидели возвращающуюся шеренгу покуривших, всех внимание на середину, пчёлки по соткам, и мой Раскошка стал сгребать собранное обратно.

Как бы я пожевала твои орехи и изюм, но я ещё не знаю, как с вами разговаривать, с толстыми линзами и уходящими в бездну глазами, с шапкой набекрень, в камзоле, или наоборот, в шапке по форме и дырявом камзоле. А, главное, эта улыбочка... Это не рефлекс: спросил-дождался-ушёл. Это блаженность: ходит-бродит, своё вспоминает. Да и жалоба его космическая – в утрате чувства радости. Я на работе – значит, пристаёт.

– О! Привет, Федя! Шо с молоденькой девочкой хотел зазнакомиться? Так мы тут все замужние, тебе по коридору налево, сам знаешь куда, карта твоя с недели лежит где положено, иди с Бохом.

– Наталья Сергеевна, дорогая вы моя, скушайте яблочко за моё здоровье! – Фёдор тоже всегда спешил к врачу.

После перекура мой незаменимый гид бывала благостна, немного развалившись.

– От дал Бог, та ще й кинув. На, ешь яблочко идиотское, а то и не выпьешь с тобой, светнешься, как тростинка. Шо ты жрёшь вообще кроме кофе? На одних бутербродиках рая не построишь.

Меня породно и профессионально поражали народные мотивы в своём непосредственном соку. Такое трепетворящее восприятие событий, клепало и сок внутри. Странно, как только я начинала где-то работать либо не по плану якобы с кем-то перемежаться, рядом со мною, т.е. в отношениях вынужденного излияния, всегда оказывались такие дивы, с раздолбанным здоровьем либо душой, но с позиции крепкие, знающие мат, жёсткие, верные, живые. Ты немного знала о моём муже, о маме, о семье, о мечте, я же полностью была посвящена в основные узлы твоего крепкого быта. Тягость к противоположному. Несмелый диагноз постоянно радостно входящей в реальность. Любопытство? Страсть? ВСД?

Карты посетителей изданы на украинском языке, заполняются они по-русски, картотека (вся) на русском, общение также, электронная база матереев благодаря бывшей 12 лет танцовщице соответственно. Компьютерная леди Татьяна была так суха и стройна, что, казалось, она из репрессированных и будет до конца дней своих страдать и нечего кушать. И ох как все обсуждали новейшее время, вернее, провал



в нём! Татьяна снимала очки и спрашивала по-учительски – а Вы видели их портреты? Одно лицо, всё время, вернее, рожи... (Всех передёргивало вместе с изящной Таней). – А жопы? Все – на полмира. Так как я перейду на другой компьютерный сленг, если я ему не обучена? Они, видите ли, с картин шагнули в постеры...

Мне иногда хотелось прикоснуться к её плечу, чтобы остановить, успокоить, не дать прыгнуть до потолка, напоить молоком, пригласить на танец, подарить бусы. Я, наверное, могла бы что-то ради неё разбить. Её цукатами я иногда угощалась. Карта номер ноль...

Потуги навязать «постановленное вчуже» порой необходимо покрывать немым сиротством, неустанно делать своё, указывая на со- и несовершенство. Этого в диспансере хоть развяжись. Фотореакции содружественные. Но главное – субординация, соблюдение тревожных условий под маской собственного Бытия.

Папа – настоящий старейшина. Все негласно верят, что он знает всё, потому жизнь рабочая вертится вопреки тайнам его присутствия и безднам его настроения, т.е. всякие его эманации под ярким контролем и повиновением свиты. Бывают царские срывы – опаздывают, недоглядели парковку, голгофу под окном, шерсть развели, хари тупые, чуть мамину вазу не разбили. Тогда уж все на ковёр, и грех покруче бездомных, продрозвёрстки и ледяного архива...

Мне повезло – не успев ахнуть, я сразу попала на корпоратив, 8 марта, 30 женщин и 5 мужчин. Это идеально сблизжает, отсекая формальности, выстраиваемые как форпост месяцами. После самогона Демьяновны, секретарши бывшего главного и сестры-хозяйки нынче, забавным мне показался Зурьянович, самый старый психиатр -4– района, в котором я и выросла. На него в такой день, весна, напал пациент, обозвав молодым козлом, его, целуя в лоб и чокаясь, успокаивали все женщины по очереди, и он добродушно подпрыгивал:

– Я не молодой человек, я полковник!

Зурьяныч, действительно, выходил из кабинета, как князь. Непрístupный добролюб и честивый служака. Всем дал, все читали. Теперь я понимала, почему Люба из первой парадной после посещения весь двор знал куда возвращалась такой привычной и спокойной. Какой я и знала её в детстве. Один лишь раз она бегала, грозясь убить, по двору с ножом за соседкой. Когда я спросила маму, чем ей не угодила тётя Соня, мама ответила: А это и неважно. Так я начала разбираться в параллельных снах, а как в жизни – было скрыто в ваших личных картах, господа присяжные, притянутые чем сюда?... Теперь я могла прочесть и Любин анамнез. Но что понятного в этих цифрах, диагнозах и почерках? Во святое время выдачи бесплатных лекарств она приходила к Зурьяновичу, как на свиданье, плывя мимо меня в соломенной шляпе, откидывая поцелуй и взмах.

– Привет! – (в моём детстве я не думала, что Люба умеет улыбаться). – Я тудaaa...

После этого посещения она попросила мою маму принести из школьной библиотеки Шекспира.

Ей было без очереди, и за углом мы слышали лишь крики из мутного жерла раскаленных мучеников... Смирить их могли только наши сестрицы чистых коридоров и святые рецепты.

Благородный метод у Зурьяныча, и всё завязано на циклах, подумала я. Я видела однажды, как он курил после работы, по сути, мой врач и всех пошатнувшихся в -4– районе. Уставший мегалит, которого ласкала одна Тётка, она любила старика, наверное, за тишину и разговор с Богом. Рядом умирали молодые врачи на рабочем месте от алкоголя, разрыва нервов и ещё чего-то неразученного в его кругах, а он сидел и курил и плакал в небо.

Весёлая компания! – успокоилась я...

Самогон Демьяновны, действительно, был вкуснее всех напитков женского дня, он лился всегда везде кому когда варуг надобно. И пирожки. Нина Демьяновна слыла древнейшей статуей коллектива, у неё, кроме счастья и любви, было всё – 20 внуков и правнуков, все дворовые животные, огород в деревне, куда она как солдат ездил на выходных, и который кормил их всех, католическое вероисповедание и недюжинное здоровье. Точно, из семьи польских переселенцев.

Я всем улыбалась, со всеми пила, каждый спросил как мне здесь – нравится? – помню, что все врачи выглядели самодостаточно и своеобразно, наверное, я всем отвечала -да -, стояла в сторонке, не помню, но как обычно после сильных перемещений и обильных знакомств я немного туплю и смущаюсь. Положение везде и всегда и по всем артефактам спасала Валентина, код нашей компании грамотного резерва. Она снова возникла из пыли с двумя пластиковыми стаканчиками в одной руке и тарелкой бутербродов в другой, мы вышли, она тоже спросила – Ну как тебе? – Я ответила – Вкусно. И (вот женщина!) она как после совершенно секретного поручения закивала на меня остальным, хитро улыбаясь, типа – ну, што я вам говорила? – нормальная девка. Так, после праздника прослыть мне суждено было «скромницей», но



своей. Выстраданная славянская заслуга. Почему серьга в одном ухе? – Вторая заросла... Почему в косынке? – Нравится. Замужем? – Да... Дети есть? – Нет... Вот теперь можно покупать пломбир в стаканчике Евгении Львовне, дерзновенной особе наших ужасно грязных проходов, и утренние бублики Надежде Николаевне, о, одной из ослепительно необъезженных, О, фигур, следящей за больничной атмосферой без всякого здоровья, а это знак, суть и немного прана, потом, тебе в копилку, мечт и достижений.

Запоминать много имён, отчеств и фамилий в один момент (с понедельника на работу к -8– хохо утра) было трудно, я записывала и обращалась по бумажке, но в психиатрии важен факт. И следующую после Валентины, Тётки, Зурьяновича, Веры и Демьяновны я усекала навсегда преподобную вдову неподдающихся спокойствию размеров Надежду. Она мыла очередной раз очередное место, зашла мама с мальчиком (детский отдел был в золоте, врач Оксана Кривда в неприкасаемости и той правде, какая кому нужна), потому перед посещением сих непрошибаемых случайным ветром гатимых перемен дам всё должно быть в норме чистоплотной, и по форме выстроенных и направленных. Т.е. мне порой даже ничего не приходилось говорить. Зачастую сверху все были проинструктированы десантом по коридору. И тут мальчик остановился и потрогал листик пальмы диспансерской (вы знаете отношение некоторых людей к этому виду пальм?), так вот, когда это увидела НН, она всей тучей на весь наш недостроенный первый этаж с цоколем и без матподдержки прогремела: *Мальчик! У нас такое не делают!!!* Я спряталась под окно, мама быстро заволокла дитя в нужный кабинет, представляю, как был подготовлен ребёнок ко встрече с неизвестным, но заранее пугающим. Уборщицы, я теперь точно знаю, в нужный для родины момент способны подсказывать диагнозы. Я лежала и давилась ржой и слезами, и тут в окне послышался этот гул дыхания, этот подъём и подол миссий человеческих и их недосказанных эмоций. Я подняла голову и должна была оценить масштаб порыва сбережений за счёт *кого!* и закивала по привычке.

– Ух, за всем разом не уследишь... Давай их карту, занесу по дороге.

– Спасибо, Николаевна! Если Вам не трудно.

– Было б трудно, не подошла б. На, конфетку пососи, а то свалишься к концу дня.

У неё были совершенно больные ноги, как они носили её, мне и в мистике не понять, а вскоре я узнала, что её очень любил муж и упал с крана в цеху случайно, в молодости, то ли на него кран упал, уже никто не помнил. Я слушала эту историю с момента начала того злого дня до того, как ей сообщили, – несколько раз, от разных сестер-хозяек, как миф, никто и не смел ничего привирать. После этого обычно пили. Я во всех странных людях всегда нуждалась, а они благодаря Оленьке, голубке моей, чуду сердца и бальзаму памяти, собрались рядом и уселись на свежий бутон...

Утро начиналось с брызги и кофе. Нея, сидевшая сзади у входа в нашу картотеку и выдающая учебные, военные, заграничные и прочие справки, перед работой неизбежно проходила базар и покупала свежую брынзу. Нея всем давала попробовать. В слепящем золоте и дорогих платях, она ходила на работу ради отдушины, потому всегда была мягка и учтивая. Я знала, что она любит свою деревню, родичей, мужа, дочь в Лондоне, вообще, примерная во всех смыслах особа. Потому ей и доверили кассу. Потому она и гордилась. И секретничала только с секретаршей Лизой, юной одесской девочкой, тоже в дорогой одежде и примерной семье. Лизонька, если не хотела работать, то продолжала рассказ из своей жизни с того места, на котором остановилась в прошлый раз, Таня и Нея, как свет в подвале, подключались автоматически, и нам приходилось закрывать дверь, чтобы каждому приходящему создать иллюзию ясности и покоя, а всем кто к секретарю отвечали – оставьте, передадим.

«Медична карта №... Поступает впервые, в 4 года упал в котлован будущего балкона, с диагнозом “Сногворения”. ЧМТ никогда не лечили... Обмороки отрицает. Топшит... Согласен на госпитализацию...»

«Медична карта №... Продала своё хозяйство в обмен на выпивку... Самостоятельно прекратить запой не может...»

«Медична карта №... Атакуемы другой цивилизацией... Она негативистична...»

«Медична карта №... Озноб и сдвиг равновесия... Психический статус: критичны, просят помощи...»

Похмелье, как ярко выраженная деменция, иногда совпадает с чьим-то неожиданным событием. Например, вызов на дом. Чаще всего, дети приглашают врачей родителям, надеясь с помощью Люшера, Шмишека и Эйдемиллера решить, наконец, вопрос старости и имеющегося капитала.

Захотелось в архив, найти вердикт небезызвестному с рождения родственнику, посмотреть, чем лечили, зайти в любой кабинет, поговорить о синдромах, вникнуть в бесчисленные расстройства – было бы безопасно и даже приятно, все гуру в многообразных компроме зависимости. Но нешла... Неужто окончательный диагноз – Без озноб? Сознание ясное_язык на средней линии_не наблюдалось_не изменен_не нарушены_пословицы не только повторяет, но и сочиняет... Одна из моих обязанностей – читать



все заключения и выбрасывать похожее в мусор, не оскорбляя архив устойчивыми. Нас интересуют только больные. Они на учёте. Будьте внимательней. Я чту алфавит.

Один, к примеру, приходит под вечер, на костылях, и требует папу, чтобы опровергнуть свой парадокс и доказать, как его неверно лечат. Ему указывают на часы, и он успевает лишь высказать причину своего прихода... Другой не приходит без мамы. На избранных я вообще не смотрю, они вкатываются всегда молча, и все знают куда... Ещё я слушаю всех по телефону, и меня сразу предупредили о постоянном списке звонящих в определённое время, так что трубку можно не поднимать без совести сумняше. Но я с охотой снимала плесень угроз и внимала душевному блюду их, украденных неужели неизвестной науке силой, успокаивала, сострадала, чем могла, т.е. нутром. А чем *вы* больны, бедные мои соучастники? Вы знаете или нет – как лечиться?

Особо особенно мне импонировала госпожа Суворова. Она звонила после каждого приёма лекарств (подобные не выходят уже из дома, живя на бесплатном рационе диспансера), и этот монолог всегда завораживал. Текст был нервным, но стройным. Она без перерыва на сон слышит голос Бога и звонит уже много лет, требуя вызвать папика на дом, но на привычные вибрации столько же много лет отвечают либо не отвечают одни регистраторы.

– О! 2 часа, сиди, щас будет твоя подружка звонить, – так называла Суворову моя чудная сопутница с именем моих младшей сестры и бывшей начальницы.

– Алло! ГПД слушает!

– Во-первых, я хочу сделать вызов главврача на дом, во-вторых, хочу узнать, по какой причине со мной никто не хочет разговаривать, а, в-третьих, поймите, я в изоляции...

– Почему?

– Кругом бандиты. Вы видите, что вокруг происходит? Я во внутренней изоляции, а не во внешней.

– Я постараюсь передать Вашу просьбу.

– Спасибо, спасибо...

– Только Богу...

О безысходности, о тупой борьбе, об очевидном, не имеющим претензии быть исправленным, я, действительно, не могу вам всем ничем помочь... «Лечу и баю» – как в той скоморошке...

Некоторые боятся своих сомнений и расписывают о как! своих близких, лишь бы попасть на приём и услышать, как грубо они дезориентированы во времени, месте и способностях собственной личности, и скорее, пожалуйста, выдать таблетку. Поражение. Мы как постовые в тумане на 2 бойницы – по взгляду и пяти словам – распределяем шары в ячейки, распутывайте, мадам Мариева и юнкер Поздняков. Перегнав пациентов и полив цветы.

После больно жестоко сложившихся в дурной истории событий приходящий и так редко врач Поздняков всегда шутил. В первый раз на постановленное по радио приветствие «Слава Украине» ответил хохочущей НС «Христос Воскресе», а потом всяк спрашивал, промелькивая мимо наших фасадов:

– Русскоязычных ещё пускают?

– Ха! Та у нас ночью Тётка всю бандеру распу(гх)ала.

– Это как, простите? – молодой врач всегда говорил и спрашивал по существу, бегло перебирая скопившиеся карты своих получётных.

– Та ночью вломились, им на ту сторону к беркуту надо было, с дубинами. Так туда ж только через нас пройти по двору можно, а Михалыч Тётку уже выпустил. Говорит им – идите, пожалуйста, только там собачка понимает за людей только женщин в белых халатах, а так я вам не советую, вернее, не проявляйте халатности, не завидую... Так они побегали по коридорам и развернули.

– Наверно, на приём хотели записаться, а мы тут с собаками.

– Может, им ещё бесплатных уколов выдать без очереди?

– Ха-ха, Наталья Сергеевна, Вы всегда поднимаете мне настроение. А Тётка какова? А? Сепаратистка, ха-ха.

Он так быстро приходил и уходил, как будто где-то, слишком далеко, его ждали великие дела и новые открытия, и жена с ребёночком. По всему, из латентных декабристов.

– Хороший мужик! – так моя неизбежная, которую в силу советских графиков я теперь больше видела, чем папу (мама тоже была в 5-конечной системе с пн по пт), знакомила меня с коллективом. Она по-мастеровому подносила характеры, и очень скоро я устаканилась нужным звеном в нужной батарее всем страждущим погреться самой нужной коммунальной установки. Находила, что надо, ходила, куда надо, водила, к кому надо, чистила алфавит и подрезала ошибки. Снова подкатила завязь моей пожизненной



деятельности – направлять и исправлять, будь то научная библиотека, дом или церковная лавка...

Один постоялец меня почти притягивал. Чернявый, с умными и болеющими глазами, каждый раз желающий заполнить карту для посещения. Его отсылают за неимением причин осмотра, а он возвращается и опять просит бланк и тщательно выводит свою фамилию, чтобы подойти и обратить всех внимание на правильность написания.

– Я русский! – первое знакомство ошеломило меня и вздёрнуло от бумаг.

– Хорошо!

Он не ожидал такого быстрого согласия, растерялся, ушёл, дописал, вернулся.

– Я русский, понимаете? Моя фамилия Елизаров.

– Понимаю, я тоже русская. Салтыкова, очень приятно!

Он улыбнулся, и обычного театра не случилось, где он тычет пальчиком в свою фамилию и всем громко объясняет, как она пишется, и что это фамилия, а не кличка, и вообще он не собака, а человек.

– А то приинизвище. Понимаете? Приинизвище – это что такое? Моя Фамилия?

– Бывает по-разному, особенности перевода. Успокойтесь. Думаю, нам это не должно помешать.

Он красиво и пристально смотрел, будто жизнь потерял, и любовь его давно погибла, и когда приходил, я хотела, чтобы он смотрел только на меня.

Вся красота мира – это природные извлечения. Годы живёшь и образа не запомнишь, а тут взгляд один (2, 3, 4, 5) и врезался навсегда. Елизаров.

Постепенно вникаешь в аномалии, начинаешь разбираться и видеть разницу. Лицо симметрично, многожалобен, абстрагирует, прилипчив, фиксирован, истощаем... Окно – лишь маленький рубеж – по какую сторону, размыто до сих пор. В местах сомнений острее и надежней чувствуешь своё. Познать природу можно, конечно, только с изнанки. От лишнего грех не отречься.

В жизни за стеклом тоже есть своя каста долбокубиков – она гораздо сильнее, у них есть некая врождённая способность лгать и писать доносы. Как красная армия, оказалось, всех сильнее. Они не жалуют Хронос и подробно объясняют мне по телефону, как это унизительно приходиться в психушку и брать справку, что они здоровы, чтобы пойти работать, учиться, сесть за руль, пересекать границу и оформлять детей в детский сад. Я порой срываюсь, хотя, если бы они были нашими пациентами, я была бы благодатна и тиха. Опыт – тонкий мост преобразования.

– А чек в магазине не стыдно получать?

– ...

Бросаю трубку.

– Больные.

– Правильно, невролог(х)ия, нече линию занимать, у нас там Ре(гх)ина на последней таблетке, поговорить не с кем. Пойдёт, не дай Бог, на улицу, эта-то может, шалава ещё та, в прошлом. Первая всегда на бесплатные. В туалете закинется и давай к мужикам приставать. ОО, я ж (гх)оворила.

– Да, моя хорошая, привет, привет, дорохая. Шо ты там?

– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Да я знаю, Рехиночка, ну ты давай там, выпей таблеточку, ляж поспи.

– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Шо за рецепты слышно? Та будут, будут скоро, я наберу тебя, не переживай. Давай, родная, пока...

Регина всегда обрывала разговор после необходимой ей информации, потому попрощаться с ней никак не удавалось. После сна всё повторялось сначала. Все спешили. Разорвать связь.

В образце карточки примером была фамилия нашей семьи, которую папа взял из-за принципа у своего отчима, ну да, Салтыковы за развод бошки отрывали. Отчество тоже совпадало. Потому, обучаясь способу откликаться, я как будто всё время обращалась к папиной сестре, и, кроме желания поискать его в архиве, откуда-то из пыли, как Валя, возникал тот страшный кран – крошечного прииска соединения в общих рострах.

А один как в цирке заявлен 2 раза в месяц, в костюме, очочках, с палочкой, оставляет свои визитки без указания рода деятельности, но с именем Педро, шёпотом просит познакомиться его с кем-то такой же.

– Я ушёл от жены. Понимаете? Она занимается чёрной фантастикой. Мне нужна такая, которая бы всё знала о моей болезни. Ну чтоб понимала меня, понимаете? Тогда и я стану лучше. – Он всегда был готов расплакаться, но НС не любила слабых мужиков, потому совет был пока один:

– Та приходи на бесплатные, тут весь цвет общества собирается, постоишь в очереди, познакомишься... Иди, Павлик, у нас дети наконец-то завтракают, а ты со своей маг(х)истратурой. Педрович, ети его за колено.



Провал ради пробуждения.

Наталя всегда хвалила мою маму, которая готовила мне на завтрак перчёные гренки в яйце с сыром. С запахом моего кофе, который никто не крал из-за состава зёрен, это сияло ошеломительно.

– Видишь, как мама тебя любит!

Хотя у меня никогда не было по этому поводу сомнений, но женщинам почему-то нравится, когда им напоминают.

Мадам Мариева, пра-пра-мать -1– района тоже переживала о моей худобе. У неё был марсианский грим на веках и щеках и вздутая лаком укладка, ежедневно. Если бы она смеялась, то, наверное, можно было бы увидеть и золотой зуб. Но от какой-то безвыходности, а не на блестящей голове ставлений.

– Не падаешь ещё в обморок от наших проходимцев? – так мудро она называла пациентов городского диспансера.

– Я и без них могу.

– Видно! – лукаво моргала Мариева. – Ну ничего, это мы поправим.

Я изумлялась чем и её заповедной уверенностью, воронкой и облаком пережитого и свернувшего клубок минувшего. После работы она всегда разговаривала с пальмой, в моментах недоумения испрашивая моё согласие. ВД всегда была права, и я привычно кивала. Т.е. поправила она меня, в результате, собой. Монументальная женщина, источник. Я даже заподозрила, что у неё интеллигентная мама.

Валентина Дмитриевна с порога вычисляла болезненных, иногда свежо удивляясь их уловкам.

– Нет, ну вы представляете? Сидит, слюни пускает, здоровый детина, головка у него бо-бо. Тьфу!

Все обычно в паузах смеялись, потом каждая уборщица по очереди говорила свою готовую фразу (типа, а шо им наркоманам ещё надо, зашёл к Олесе (наша дэва – дающая только то, что прописано), укол получил, и кайфует себе дальше). Лишь потом остывающая продолжала будто на перинах мадам.

– Я ему говорю – вон пошёл, работать иди, мать на пенсии кормить его должна, а ему сны не те снятся. Поработаешь, так и спать будешь! Полечила б я его... Леуконостоком. Ух, погнала. Аж Лёлю напугала.

Сестра Лёля всегда молча и в наушниках любила профессию. Каким-то гуськом она меня смущала – такие, если надо, останутся стоять на месте, если не успеют найти насыпь.

– А шо це, Дмитровна, шось не слышали? – все персоны, конечно же, торчали, потому все поведенные врачом новинки внедрялись беспрекословно.

– Фермент редиски!

Долгий грудной раскат больших женщин. Мир. Пальма. Ведро. Лёлина музыка. Беседка...

Вердикты киевскому району стража Мариева выносила сурово, порой самолично выставая из кабинета. Наталя по её походке знала, куда она направляется. Мне нравилась подпрыгивающая, с фиолетовыми вками, в сопровождении маленькой помощницы Лёли, которая носила чемоданчик и никогда не снимала наушников. Так порою хотелось знать, кого она слушает, но это как ответ на запрос из болота заранее, просторечивые слова, наскоро закрытая карточка (а этого выбрасывай, не наш клиент), я так и не решилась подойти, попросить наушник, попав лоб в лоб в собственные страхи, амбулаторно – брезгливость и амбиции...

– О! Знакомиться пошла.

– С кем?

– С новеньким. К постоянным так не бег(х)ут. Хе, нарумянилась. Она на районе своих же всех по именам отчествам знает, все истории, от память.

– Вызов?

– Да, соседка позвонила, говорит, сын буянит, взял бабку в заложницы и уже час рассказывает ей шо-то.

– Даа...

– Та. Нам бы дожить до её локонов, не то шо сказки помнить.

Позже я подшила эпикриз №850 и навсегда распрошлась с молчаливой Лёлей:

«С раннего детства был повышенно раздражителен, вспыльчив и в то же время замкнутый, необщительный. Чтобы снять внутреннее напряжение и тоску, часто принимал спиртные напитки. В армии первые месяцы служил в Германии, там плохо относился к службе, пытался совершить побег. В связи с чем был переведен в СА. Где также показал себя с отрицательной стороны. Уклонялся от трудовых процессов. Пытался привлечь к себе внимание личного состава. Рассказывал им занимательное, в связи с чем был направлен на исследование в местный психдиспансер. Комиссован из армии с диагнозом: Психопатия возбуждимого круга с неустойчивой компенсацией». Всё. F10... (Как передать мусор словами?)

Есть те, кого считают больными. Здесь бы я выступила посредником, но я вне короны, могу лишь



анализировать и созерцать. Большой среди больных. Пахнет порохом. Хроническое бесполезное расстройство адаптации. Окстались ли вы, здоровые? У всех и у каждого – вот выстроилась параллель и наш бесконечный покров. Беседы в третьем лице об одиночестве, огрубении, и все когда-нибудь будут счастливы. Стены покажут TV, нквдэшники через экран протянут чернила, отец – Илья Царёв, сын – Илья Ильич Королевский. Меня впечатляла деятельность. При виде папы, послушниц, да, наверное, не грешивших, зампослушницы-куропаточки-мягкость баб априори, Вали, уборщиц и заходящих по очереди горожан я вынуждена была поставить мозг на колени и ещё раз задуматься о правилах Бытия. Срочно!

– Вы пользуетесь стилистом? – врач выходного дня выделяла меня, как творческую единицу, она сразу это вычислила по вызубренным когда-то билетам.

– Нет.

– А так всё сочетается, и свитерок, и платочек. Вы художница?

– Нет. Я пишу.

– Так я и думала. Моя дочь тоже пишет. Вы не знаете, где можно этому поучиться?

– Нигде.

– Так я и думала. Эх!..

Врач выходного дня была, по-моему, чрезмерно пассивна с дочерью, задавая ей нужные и пустые вопросы. Та обычно не отвечала. В таком возрасте, действительно, в голове лишь звуки. Вообще, основные профессии должны быть безличны, иначе сомневающийся остаётся без шнурков... Меня почему-то веселило, как она долго мучилась, ехать или не ехать на вызов, копошилась, обзванивала домашних, суббота, все дома, пару часов полежать, прописать, принять трёх калек-постояльцев, не любящих толпу и заглядывающих на укол по субботам, и скоренько так через базарчик, домой, в семью, а тут паника у человека, поджигает уже всё, что вокруг, **срочно** нужен доктор! И как бы всколыхнуть весь залёжанный жар, уткнуться в грудь и вспомнить верное днесь лекарство! Всегда выходная Вера Ксенофонтовна мерещилась мне партизанкой.

На дежурствах спасал телевизор, п.к. если что-то смотришь, то занят, а если читаешь, то можно отвлечь. Получается, за год я не прочла ни одной художественной странички, отдаваясь в самую небыль происходящего рядом. С антенной Васильича ловились только «Тайные знаки», я всей собой погружалась в последствия разрушенных могил и найденных кладов. Фантомы стучали в дверь с мольбой погасить внезапные колебания. Врач выходного дня с дочерью и Демьяновной ложились отдыхать в коридоре, свободная Тётка рада была даже птичке, я, как рассвет, училась любить людей. Демьяновна отчего-то была католичкой, перед электричкой в деревню за урожаем ровно за 45 минут вскакивала и всегда достойно вспоминала: А как плакала Мария, когда умер Христос!.. У неё не осталось детей («смерть взяла»), это поколение в плохих районах вымерло тотально, как перед замерзшим в торче периодом, но внуков было больше, чем у всех в городе не только эмигрантов, но и цыган. Демьяновна была заслуженной бабшкой, но не помогал ей никто, даже правнуки, поэтому она, действительно, была отчаянной, Той, кто не чувствует боли. Лишь усталость, от которой вскоре умирают. Так она и поступила.

Факты были похожи на новости, новости на преданья, карты-листы-заключения на учёт...

«С 14 лет занимался боксом. Был неоднократно нокаутирован. По этому поводу к врачам никогда не обращался».

И ты ломаешься, пониженный, вне шкалы, впадаешь в буйство, и трём нашим славным мужикам тебя не удержать, и скорая в крещении полицейская едет 2 часа, и кирдык тебе после Олесино укола, и успокойся, забудь... да... уколы ты и сам себе поставить можешь... не пе-ре-живай... мо-ло-дец... успокой-ся... за-поминай... трактуй... беги...

Да, а с потекшими по Стиксу беженцами рабдень стал почти заполнен. Всё, чем мы могли им помочь, – добрым словом и без очереди постановкой на учёт. Убитые приёмы, подтверждение брошенных в спешке побега диагнозов, слепая разорвавшаяся пустота. Вы в сердце кашкана, размещайтесь поудобнее, все свои...

Ложь по ту сторону, как чертовщина, пресекалась мгновенно. Наташин взгляд так якорил, что все обращались в моё окошко. Она по-девичьи разглядывала меня, поражаясь способности внедрять истины автоматически, без раздрайва, но была довольна. Однажды заявив, что поняла мой образ, вручила бутылку шампанского на чьё-то помоложение и была очень удивлена, что я пробила потолок. Я сильна такими встречами, могущими доказать силу объектива в доступном мире, правдой часов лишь растекаясь, чаще в улыбке. Так я и понимала, что кто-то чем-то болен и все друг другу повышают статус.

– О, хорошая ученица, освободила тётю от вопросов. – Наталья была порой непредсказуема. Я внедрялась уже сутью по секундам и ничего не пропускала, конечно, кроме графика – это знобит меня повсеместно. Иногда бухала, и мама, работа ласково отправляли меня дальше...



Мы такие разные заказывали сладкое, пилаоли и духи и под палисадом этого странноватого мира уже почти одинаково думали – кто мы рожаем отдаём, оплачиваем их нашу кровь и с переводом не понимая подписываем: готов подохнуть за чьё дерьмо повстанцев, психов, чужих, – либо в ведро, без секретов, вылечили?! Войны без женского – туди, тцеты. И дом свой сохранить – как? детей? животных? растения? Бес мужика – ахтунг! Как так – не ведаёт никто, должны просто жить. НС поддерживала по-настоящему сырых, чтילה царствие небесное, несла столпом память – в семью, и это было трогательно. Но по судьбе мне приходилось встречаться с теми, кто перегибает палку, быть медиатором их запутанных воплощений, говорить: Тише! Я Вас слышу, познаю, запомню. Она могла послать по телефону швею, требующую модель самого лучшего врача на дом, пока я не выяснила, что помощь нужна её племяннице и обошьёт она нас всех, и заплатит, ух, пряники! Вахханалия вокруг стопорила мозг, выпрыскивала нервы. Страх обжигал совесть и оставшийся смысл. Виды памяти становились непродуктивными.

А цикл с охранником Сашей так и вообще тянулся весь мой днерожденский ГПД-этап. Ох, люди! Штамп на вас и цепную собаку! Секретарша Лиза как-то по утру решила, что у неё украли деньги из кошелька, поспешила обвинить бедную танцовщицу Таню, отравляющую себя и так, в жизни и за компьютером, а не на подиуме; Неля готова была поклясться на Библии (если бы таковая имелась в нашем архиве), что лизино золото к её непричастно, но я подтвердила, что у нас только отошедшие от правды записи, и все стали немного зверьками, а Ната и того от огромного и готового каждую минуту-таки разорваться сердца обвинила охранника Сашу, пожалуй, самого скромного из всей нашей медицинской артели мужеского полу. Типа ночью пробрался, набрался и взял. Саша обиделся. Стоит иногда без явного повода подскочить и оправдать. Закрыть и открыть породу, погоду, ближнее. Я смотрю в глаза, чтобы всё понять, и внутренний залп не подводит, это верный наш человеческий фрахт, и знаешь наверняка, о чудо, это не ты, и не ты, и не ты, а кто же? Уборщицы шептали, Лизка ошиблась, куропатка-зам и ведать не ведала, что у нас инцидент, Таня под шумок выписала рецепт, все смирились. Для последнего брудершафта, прощальной скорости, уеду и я, остынь, не ты, Александр, мы ошиблись, и этого хватит. Как же у неё, вполне мыслимой подруги, получалось гнать неуютных, хоть сколько чем недовольных в суете, я другая, к счастью, наверное, слушаю всех.

В свободные минуты я старательно и беспрекословно подгоняла алфавит к литературной норме, и когда поросшему былью это казалось самоуправством, природная нежность и понимание причин смазывали всё, даже зависть. Лишь старлица Тоня, как моя третья бабушка, витала особняком, пахла им, и зажигала ладан в моём морозном хранилище, складе заторможенных умов и храме плавно сползающих душилок, заколотых духов. Да, она клала грязное на общий стол, трогала своими не в меру сухими пальцами другое, ну не положено у НАС быть такою, (какою? – я спросила у Наташи, интелли(х)енция – ответила она), но мы так улыбались друг другу сквозь это низкое совдеповское стекло, так шёпотом и запахом желали друг другу только света и так смиренно учились узреть давнее, нечто случившееся когда-то, без нашего ведома, участия и согласия, из-за угла, из-за неучливой почести почтить, всем, пытающимся спасти, кого? Мы жили на грани. И слабее кто – уволенная или сильнее в чём – назначенная? Простите, исчезающие случайно, по крови, возрасту, болезни... Она ж точно была для меня сошедшая с Кайласа за словарём. Русский примерник – ху из зачем? Да, Демьяновна тихо померла на даче, Тоню уволили как выгнали, у молодого врача остановилось сердце на приёме, отныне не пахло ладаном. Все опять присели на межсезонные таблетки по методике «4-й лишний». Люди. Люди.

И вот, наконец, папик угостил нас виски. Он как Шаляпин был великодуш во всем властении и выглядел медведем, помешанным с богатырём. Огромный человек! Нам сантехник Емельяныч придумал лампочки провести для лучшего зрения, спасибо семейнину и хрупкой души бродяге, и надо было обезвредить пропитанную слухами поверхность, так пока валентиновны бегали за самогоном, папик триумфально, по-трофейному и необъяснимо по-мужски поставил в наш проём хрустальную рюмку, полную вискаря. Наверное, Емельяныч принёс, за упокой его бывшей секретарши.

– О! Так тут и на опохмел хватит, не то што слюни вытирать, добивай, дитё, тётя сегодня не может, – Натали спешила на маникюр, и я 10 минут пребывала в трансе, оздоровительном по природе, п.к. работа заключалась в том, чтобы оказать помощь. И невольно приходилось открывать душу. Это расслабляет; но не по силам, как известно, в таких конторах не дают. Мы, якобы здоровые, иногда этим пользуемся, а ведь есть ли безнадежнее диагнозы, чем страх и гордыня? Как-то я осталась ночевать в Доме моей боевой коллеги и выбрала из предложенного для ночлега спальню сына, где висела прабабкина икона, в остальных были голографические картинки и сухие букеты. Он жил отдельно, с нехорошей девочкой. Так ей тоже пришлось раскрыть душу. Мы нежно относились друг к другу, как боящиеся дружить



Василь Николаич любил главную патогенно, без лишнего шарканья и глупых предисловий типа «как ты ночь провёл кося моя родная». Чем она его потчевала под ключ, никому было неизвестно, но так важно выходил из кабинета лишь Зурьяныч, на перекур.

Иногда он брал кота с собой и сообщал важные новости, а заведующие потом выведывали у Васи подробный план соотношений и нам пересказывали. Так, информационный поток был под нужным напряжением и хоть с каким-то минимальным для каждого доходом, который в переделке резко завонял и стал уменьшаться. Кому не нравилось, уезжали в Америку и Россию. Первой упорхнула Стрекоза. Она помолодела даже, и Наталья впервые подарила ей на прощанье улыбку, дай Бог! Вера успела лишь распереживаться, что не успевает проставиться, но мы обещали всё как положено, езжайте аккуратно, а мы посидим тут вечерком, потолкуем... Да, всем скорченным умам этой немаленькой неместраны хотелось спрятаться, а порою сбежать...

Виза Инессы сверкала на её идеальном лице и модельных ножках. Она, предвкушая выход по чужеземному трапу, послала всем безвоздушный поцелуй и исчезла. Удачи желать было бесполезно – она её там уже ждала. Валя крикнула что-то из фольклора на тему: земля-воздух, и никто даже не подумал выпить. Так врачи передают своих больных друг другу, и ходят они, классически, бесспорно, по мукам, а так – по рукам... случается, с молотком... Становилось полярно. Одни бригады СМП терпели удары смиренно, не понимая войны от зачатья.

Следующей была я, подарок и просветленье, можно нарисовать губы. Наша детский психолог распространяла типа восточные полотенца и типа французскую косметику. Она всё время опаздывала, говоря, что из церкви и какой праздник. Из уважения, мы всегда слушали всё, что она готовилась нам поведать. Елена Леопольдовна единственная из патриархов нашего подлума умела не повторяться. Я повелась и заказала помаду. Она принесла другой цвет. Наташа возмутилась. Психолог настаивала, чтоб я ей срочно показала, как мне будет хорошо в новом труа. Я, кивнув много раз, просила отсрочки, но тут уже Неля не выдержала:

– Да накрась хубки, деточка, а то ж работать невозможно, справки разлетаются.

Дни стали неожиданно повернуты ко мне всеми персонажами. А когда я одевала косынку, меня пытались даже обнять. Я снова закурила по утрам. Так, надеюсь, мой образ запечатлился вернее!

Вообще, подобные установки навевают мысли об обоюдном крахе, посетившем вновь эту Вселенную. И то, что старица Тоня в совершенстве владеет несколькими языками, в данной возне становилось неважно. После того как она перевела надпись на футболке пациента, сплюнула и за собою же убрала, НС называла её то «о, жеманные манеры», то «о, синхронный перевод». Так по какую сторону мы, предлагающие себя в особенный день рецепта без пометки за 2-3 рубля? Видавшие на киностудии Караченцова и Вавилова, живущие в аварийных молдавских холупах с таким перечнем болезней, что проще, лучше и дешевле быть умалишенным, чем с переменным сердцем и с дикой болью переставляемыми ногами. А некоторые на бандитов работали и были богаты, а нынче что поменялось? Отдавайте что накопили? Время распада пришло? Тёмная власть и кармическое банкротство некоторых краёв недогособлобломков накрыли красной цунами и мой гниющий в папках нэпа на канатиках архив. Учёные без наград, купленная и краденая пропасть, и крахом стаж. Жившие мясом превратились в мясо, жившие полем превратились в поле. Разные инвалиды без разных инъекций.

Теперь я регистратор, меня повысили и несмотря на отчаяние доплатили. До победы, порядок в архиве. Теперь всё время быть начеку – кто, куда, зачем? При всегда неожиданном выходе замстаршей, например, надо было незаметно изогнуться и выключить свет в общем коридоре и дуйку. У неё (мне казалось, внебрачной экономки) от природы были подёрнуты кончик носа и чашечки колен, поэтому на её излюбленный вопрос: И шо? Света мало? Дурачков не видно? – все дружно начинали работать, по привычке либо призванию. Важная непонятно отчего Света фыркала и бросалась на двери, как саранча на горох. Но по уставу у её мужа было 3 семьи, она, кроме приказов, ничего не повторяла, потому никто по статистике ей не прекословил. Только электрик Васильич немного жалел, но мы быстро заедали и женственно переключались. Я умела с любым человеком поговорить, обо всём, из-за моей молчаливости получалось всегда долго. Взгляд Светланы, как счётчик, оборачивал минуты в наличку. Так поступки обволакивают Явь и учат расставаться...

А по жизни подрабатывалось рутинной, и ко мне как к древнему магниту и заведённой в бесконечность прямой тянулись и тянутся все желающие очнуться и стать на своё место. Бумаг, как и людей, казалось, не осилить, но душой поделиться, мыльным советом либо под мороженое мелким житейским признанием...

– А я фсё вижу! Фсё профферяю! – так бодрила нас вторая по старости медсестра -4– района и через правое поворачивалась оглохшей спинкой.



– Шо? заколка новая? Девочка вы наша, шо вы вертитесь, как на первом балу. Ногти покажите.

– Пожалста. – У Али Степанны всегда были свежий маникюр, красные губы и новая заколка. Приближенные сбегались и могли повертеть медсестру, осыпая всплески бесценным устным баловством. Так она переводила дыхание перед сменой и оживала как в юности жена генерала. По легенде, ей всё муж подарил когда-то. Она представлялась мне пыльной Суок, и как только раскрывалась вековая тайна комода и Наташа кричала: «О, антиквариатом запахло», у меня мешались смех со слезами, я автоматически протягивала руку в другое пространство, и мы молча желали друг другу продолжения. Аромат моего района из того же времени, что и генеральские подарки, сопутствовал нам, не меняясь. На её крепкой аристократической шее висел не стыдясь 20-летний внук, по её же словам, не желающий делать **ничего**. Все, от пяти Люд до куропатки, АВ и папика предлагали его к нам, на осмотр и косметическую профилактику, но Степановна почему-то не соглашалась, по памяти любя и прикрывая единственное оставшееся от родословной чадо. Так матриархат порождает и губит комплименты, стопорит резню.

Хорошо работается, когда все почитают друг друга любя.

Понимая.

Памятүя, прощая, по последней...

Одна Катя чего стоит. Катя, Катя, Катерина... Заведуя в универсальной должности в 90-е у непоследних одесских бандитов, она как-будто всё время недоумевала, что она делает здесь, убирая убранный и вынося беспонтовое. За какие грехи её окружают эти с непонятными болячками люди. Зная подробности некоторых сделок с большими деньгами и оружием, в которых её даже брали заложницей, я удивлялась, чему удивляется она. Слава Богу, Катя успела выстроить шикарный дом, где живут её дочь и внучка, спряталась от лихого в уборщицы, и затряслась, как шиповник в нашем бешеном ура-урагане и грубом урбанистическом сне. Её долги росли мухомором, и, по слухам Гали-сундука информбюро из отдела кадров, именно Катеринин зять оказался привилегированной тушкой и стонет на бездарной бойне. Так дико всё, когда внедряешься. И просто, когда удерживаешь Своё. И безумно лишь – терять. Потому здесь, по коридору вниз, с утробным душком и малой грудью буду стоять? сидеть? лежать? – в Архиве...

Я долго пыталась отвлечься в паузах и читать скопившееся. Оказалось, как с детьми, некогда или ничего непонятно. Одна лишь подростковый врач Клава, которую особенно жаловала моя НС и дарила ей на основные праздники соломенные салфетки, как воображаемой сестре, попросила почитать то, что я читаю. Это был Ануфриев и Пепперштейн, я и сама не дочитала, и Клавдии зажала. Сначала было стыдно, а потом всё равно...

ПРОШУ РАЗРЕШИТЬ МНЕ ОСМОТР

ПРОШУ ПОМОЧЬ МОЕЙ МАМЕ

ПРОШУ ВЫПИСАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ТАБЛЕТКУ

Хочу гель для лица, хочу справку для велосипеда, да, я эфиоп, белый, нервный, взял пива, жалоб нет.

Провожали меня напарница Наташа и охранник Саша. Мы выпили то, что было у нас, потом то, что у Саши, плакали, обнимались, просили друг у друга прощения и ругали властителей. Продолжили у Наташи, выпили то, что было у её мужа, я пела в караоке «Чистые пруды» и вырубилась под прабабушкиной иконой. Утром Сергеевна хрипло сообщила:

– Я с тобой уже попрощалась, остальным можешь не выставляться.

Я уезжала с пыльной Молдаванки в своё простуженное будущее, приведя в порядок очередной архив. Я оставляла его на санитарное хранение крысе Варваре, которую не без сражения научила ставить взятое на положенное. Она безлико сопротивлялась, считая много полок дрянью, боялась алфавита и не умела пить, но я подарила ей цветную закладку из французского каталога детского психолога и пирожное картошка, в нерабочее время по телефону доказав, что ошибка – это война, а алфавит – диагноз. Смирные – великий бонус в распознавании границ, таковые лишь много звездят, когда всем налито, и скучно оправдываются, когда унизительно, тупо и уже не смешно, и мы щадим друг друга благодаря вниманию, опыту и всем святым.

Я увозила истории ран и суицидов, мраморных врачей и поднебесных синдромов, заикающихся внуков и в далёком ветхом потерявших разум соотечественников, конструктора Давида Ивановича Попы и его супруги Силии Редькиной, орхидей нашей, с последнего эшелона отовсюду гниющих событий. Очевидное омрачалось и стыло понятным.

Я доподлинно узнала, что демонстративные (т.е. пизоидные) черты не лечатся, и все мы одинаковы, и как грамотно поступают инопланетяне (со слов Суворовой, просто взламывают голову и посылают туда чудовищные энергетические лучи), а страшный актёр Вавилов был простым и добрым человеком,



и возил из России блоки сигарет – девочкам в бар киностудии подработать, а Караченцову по ночам всегда был готов горячий супчик, он так любил. Это перед выходными всегда рассказывала уборщица Евгения Львовна. Вспоминая молодость в окружении артистов, она, живучая молдаванская сталь, могла даже расплакаться. У неё не то что были больными ноги, глаза, все органы и особенно зубы, она в принципе ходила в разные стороны. Как беда без галстука, надежды и всего остального. Я не могла и не должна была её видеть. Львовна мерещилась подпольной дочерью заводчанина. Кроме воспоминаний, всем по очереди заражающегося кота и 40-летней дочки Гали в одной комнате с планшетом, ей нечему было радоваться, она болела, нервничала и лечилась. Всё вокруг тлеет... Стажёрка Анжела больше не хотела и не заводила любовников.

Я, наконец, услышала мелодию, назойливо звучащую в моей голове, жму стоп-кадр и спешу поздравить своим отныне отсутствием в лучший день из жизни диспансера – День рождения Её, Папика!

– Там лучше? – глупо спросил начальник.

– Мне – да.

– Счастливого пути!

– Спасибо! Мини-шкала положительная. Контакт доступен. Ориентирована всесторонне правильно. Фон настроения ровный. Память, внимание в пределах нормы. Интеллект соответствует полученному образованию и жизненному опыту.

– Ну тогда без рецепта.

Я трепетно оставляю этот уклад, и плевать хотела на коммунальную разработку. А нет и **ничего**, да и некрасиво тцетой бросать. Издалека несётся: «До свиданья, Павлик!» то ли «Хватит тётя торг(х)овать, мелочь закончилась», и ляпнет хаос, и да не променяется свеча на медпродоставы.

Мне снова и снова, всё выше и глубже, всё ближе и проще являются убогие, их истина, доблесть и неуязвимость. Нелепая красота.

Прощай, Зурьяныч! Я буду здорова сколько смогу помочь родине и силе её госпитализированных, недопонятых, заколотых, – по дурочке...

Один лишь раз меня скомпрометировала Вика, старшая дочка Лены кумы моей младшей сестры Наташи, пришедшая с детьми оформлять инвалидность сломавшему ногу мужу и рассмеявшаяся на весь коридор: – А шо в таком павильоне делают люди искусства???

Всё. Конец.

– Да в порядке они всегда, – успокоила меня мама, – компенсацию оформляют.

– Я ж всегда говорил... – всегда вступал всегда правый папа.

– Закройся! – всегда вдохновляла на подвиги своим путём лучшая в мире правоведка, защитница, специалистка.

¹ MMSE – Мини-шкала исследования психического здоровья.

² ГПА – городской психиатрический диспансер.

³ КУ – коммунальная установа.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

ТРОПАМИ ХО ШИ МИНА

Что от меня останется – брешь в пространстве,
стылый сквозняк да негромкий протяжный свист.
Ближе к утру вдоль перрона маленькой станции
ветром протянет случайный тетрадный лист –

можно скачать с потрохами и брать руками,
острых краёв коснуться – и полоснёт,
снизидшь порог – и капля отточит камень,
дробным отточьем коснётся первооснов,

пусть нелогично, тропами Хо Ши Мина,
дикорастущий зов побеждает долг,
месяца честная звонкая половина
властно и весело выправит твой глагол.

Катерок пожарный на закате
так придирчив к тлеющим огням.
Солнце в реку падает – не хватит
вашим шлангам метров, сил ремням,

уберите рукава брезента –
Дон несёт к небесному огню,
слишком сильно смещены акценты
в радости троянскому коню.

Прилетает ангел-истребитель –
страшен, да не воду пить с лица,
наступили мартовские иды –
и с тех пор не видно им конца.

Взрослые в офисах смотрят в компьютеры,
прячут тела от жары.
Дети перловиц едят перламутровых
и открывают миры.



Ветер песком засыпает лопатки им,
ряска цветёт на воде
грязной, захватанной – но между схватками
жизнь проникает везде.

Жизнь победит – ясноглазо и радостно,
сбросит налёт блатняка
чистый язык, многоцветный, как радуга,
сдержанный, будто река.

Лето им кожу прогреет до косточек,
вызреют, смогут, взлетят,
выправят курс и отбросят всё косное,
нас, неразумных, простят.

Лес рубят – щепкой улетаю,
полёт – прекраснейшее время,
короткое – но сколько смыслов –
когда подхватит щепку ветер,
когда очнётся в ней Скиталец,
эгрегор срубленных деревьев,
туман подсвечен коромыслом –
расслабься и лови просветы

сквозь вавилоны революций.
Что вы хотите от блондинки?
Везёт нас под Червону руту
шофёр с георгиевской лентой,
поскольку неисповедимы
пути миграции оленей,
и ассирийцы в медных шлемах
склонятся низко над суглинком

чуть выше верхнечетвертичных
делювиальных отложений,
и, не учтя мой опыт личный,
меня назначат первой жертвой.

Я забыла, как звать моё слово,
среди сотни волшебных имён
затерялось, уже не готова –
дикой птицей... Вот разве что сон –
всё по Гоголю – ведьму покажет,
я узнаю себя по строке
и составлю натальные карты,
и по ним полечу налегке,



дифирамб – то есть дважды рождённый –
ветру, воле, траве и волне –
станет радугой, дикой жердёлой,
Афродита поможет влюблённым,
а глаголы вернуться ко мне.

Всегда остаётся хоть что-то для будущей сказки –
завязка сюжета, намёк на желание героя,
пучок перспектив, не сулящих понятной развязки,
возможность опять уклониться от общего строя,

всегда есть цепочка, хоть ниточка, краешек скотча –
потянешь и выйдешь внезапно в осеннюю рошу,
и слово наивное падает в жирную почву,
и видишь, насколько всё было сложнее, и проще,

и ярче. И дерево жизни ползёт и ветвится
зменстыми мыслями, формами гнева и света,
и корни его обнимают нежнее планету,
и крону его навещают неместные птицы,

герои с большими сердцами и маленьким мозгом
страдают, рыдают, сдают и сливают, что можно,
а хищные вороны свет заслонили крылами
и лижет подножия башен ползучее пламя...

Я снова приеду – знакомиться, а не прощаться,
глядеть, ликовать, открывать и записывать в строку –
платаны, бакланы, жасмины, и ямбы, и тропы,
пока не накроет туман пеленой без пощады
и не засияет, рекой притворяясь, дорога.

Мы любили цифры в сыре,
пятилистники сирени,
дорогого не просили –
человек не этим ценен.
Загорали в междуречье,
в королевстве дикой ивы,
постигали русской речи
общие императивы.

Человек – он ценен детством,
выдержан в дубовой таре,
но – куда от мира деться?
Одинаковыми стали,
как-то переопылились,
но – не зная интернета
в перекрестьях полилиний
зарождаются планеты.



Звёздный дождь в моей теплице
 светлым конусом струится,
 в чумовой оранжерее,
 где на ветках рифмы зреют.
 Все желания исполнить –
 семицветиков не хватит.
 Речка детства сладко помнит
 всё, что кстати и некстати...

Не ожидала... Сквозь туман стекла
 плывёт люминесцент в пастельной гамме,
 пятно прохожего, размытый свод ствола –
 и вторят с двух сторон колокола
 восторгу и круженью под ногами.
 О где ты, Клод Моне? Соедини
 восторг и боль в нетленные сюжеты –
 для нас, незрячих. Красоту верни
 в ослепший мир врачующим скольженьем.

Наверно, скоро Троица. Чабрец,
 шалфей и мяту бабушки выносят –
 нам, маловерам... От травы добрей
 мой город. Руки с сеточкой венозной.
 Офелия состарилась... Напор
 безумных глаз погасит укоризну
 и упрекнёт – ну что ж ты до сих пор
 не научилась доверяться жизни?

Офелия, подруга, помяни,
 сомни полутона петунии втуне
 в своих молитвах. Долговязы дни,
 шестую ночь сплошное полнолуние .
 Моя черешня, грустный спаниель,
 давай плести венки твои в сонеты.
 Мир до утра не спал, не пил, не ел –
 я ж не одна такая в интернете.

Воды – не твердь, не голь,
 не рябь, не топь, не выть –
 скольжение глаза вдоль,
 спасенье от травы,
 лекарство синевы,
 летальный сон глубин,
 и колыбель плотвы,
 и кладбище лавин,
 забытый код судьбы,
 среда метаморфоз
 от хордовых рыбин
 до радужных стрекоз.



Разуйся – и иди,
покорный лишь тому,
кто в зеркало глядит,
сплетая свет и тьму.
Кто в зеркало глядит?
И видит ли насквозь
и зазеркалье рыб,
и заресничье звёзд?
Несёт своё тепло
сквозь вечный холод лет,
и поглощает плоть,
но отражает свет,
на равные углы
деля прозрачный шар.
В тени урюмых глыб,
не медля, не спеша,
тот лодочник плывёт,
бесстрастный, как дно,
сквозь абсолютный лёд
по вечной жизни вод.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

ГЛАЗ ЦИКЛОНА, КАК ГЛАЗ ЦИКЛОПА

VERA RERUM VOCABULA¹

0.

Тоскует душа... и калёным вопросом
в гортани закинена фраза одна...

Как голым – на льдину, как ночью – по тросу,
как в реку – с обрыва, не ведая дна –
так я, ни единого слова не автор,
язык исчерпавший едва ли на треть,
пытаюсь наведаться в ближнее «завтра»
и в зеркале строф на него посмотреть.
Пишу в ожидании неких знамений,
живу, наблюдая стихов кутерьму,
и вот, тем не менее и к удивлению,
им удаётся, как никому,
представить ответ на проевший плещи –
а многим – так стойивший всех волос –
на сакраментальный «*Камю грядеши?*»,
на вредный для практики жизни вопрос...

1.

Представлять – приблизительно... Медленно к ней приближаясь,
опасаясь спугнуть...

Так охотится львица, отсутствием перемежаясь
на пути к обречённому гну.

Притворяться спокойным и будничным. Жить, как обычно,
оставаясь всегда начеку,

изучая размер и повадки вербальной добычи.

Так змея на суку

над тропею висит, зеленеет побегом лианы.

Примеряясь запрет обмануть,

ты исследуешь стилей и лексики дальние планы,
снаряжаешься в путь

за слоновою костью словес и заслуженной славой.

В глубине горделивой души

ты на формулы жизни затеял большую облаву,

но ещё не спешипшь:



так овраги рождаются, ветвятся кораллы и мангры
и смарагды растут.
Ты нацелился выследить суть, облаченную в мантры,
но случайно задремлешь – и тут...

2.

...Тут время застыло, и тёмный вертеп
теней... а свет – как будто и не был...
иссохшая почва уводит к черте,
где блюдо земли прикасается к небу.
А там – ни луны, ни звёздной лужи.
То ли небо обтянуто чёрным сатином –
но только уже не увидеть ни зги,
(неведомой зги...) ни носков ботинок.
И страшно – вперёд, и поздно – назад,
и больше не выпейтатать «святой Боже»,
и смертной повязкой – мрак на глазах,
и травы – старой зменной кожей,
и ухнет темень, и лает шакал...
И дух замирает во мгле непролазной
за всё, что по глупости всуе болтал,
за каждую мысль, урождённую грязной,
за бранное слово, злосчастие лжи,
за уничижение глаголов модальных
и приумножение картонных медалей...
Проснуться!.. раскаяться!.. попросту – жить
и всё называть *именами своими*,
правдиво и правильно!
Разве вотще –
искать Настоящее Имя вещей?
Ведь каждой дано при рождении Имя!
Любой – сопоставлен таинственный код,
любая покорна творящему слову,
и верная фраза – насытит легко
хоть перлами истин, хоть кашей перловой!
Узнать бы...
Но если тому суждено –
тогда – в промежутке шакальего брёха,
сквозь коготь и пепел, во мрака прореху
спасением жизни приходит оно.
И страх выжигает, и гонит уродцев,
и собственной кровью питает закат,
и остро царапает плоть языка,
и всё не сорвётся...

3.

...В то утро –
сорвётся с кромки прибрежной скалы,
легко и безгласно расстелется в воздухе скользком
пернатое слово, кого – ни поймать, ни использовать –
и взмоет в струе восходящей.
И станут малы



сначала вопросы эстетики... этики... эти
 благие и звучные смыслы... Исчезнут потом
 отдельные камни и тропы. Воздушный поток,
 слегка изгибаясь, параболу трассы наметит.

Утихнут фонемы и шум прибоа глухой,
 наземные жизни опять обратятся в букашек;
 на зеркале чёрных заливов – скорлупки фисташек
 ещё измельчают, замрут просяной шелухой.
 Темнее и ближе к фиалке станет лазурь,
 размеры вершин и ущелий пойдут на попятный;
 растают, шагреневой кожей сожмутся внизу
 пространства забот и болот, ледниковые пятна,
 сотрутся и краски полей – и дорог кракелюры...

Подавно теперь не вымолвить, не написать
 волшебное слово, белое, с розовым клювом,
 изгибами крыльев взявшее ровный пассат.
 Смотри, как оно восходит в холодный покой,
 земле оставляя тугу, маяту человечью –
 широкой спиралью над временем, речками, речью,
 над нашей по ясному смыслу тёмной тоской!

¹ Истинное имя вещей (лат.)

ЛЕТНИЙ ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР. ЦИКЛОН.

Отроги туч громоздятся с размахом,
 достойным картины Рериха.
 Уже с утра небосвод распахан
 движеньем тяжкого лемеха.
 Составом, рвущимся под уклон,
 бригадой в панике брошенным,
 идёт циклон и гудит циклон,
 неистовый и непрошенный.

Мильоны тонн воды волоча,
 довлея над континентом,
 с землёй сшивает свои обруча
 змеящимся позументом.
 Дойдя до нас через всю Европу,
 он сделался лишь сильнее,
 и глаз циклона, как глаз циклопа,
 урюмым огнём синее.

Теперь из каждой облачной кручи,
 белёсой, свинцовой, сивой,
 он ливни выдавливает могучей
 слепой центробежной силой.
 И этой силой и пьян, и весел,
 он так рычит поминутно,
 что воды рек за пределы русел
 стремятся потоком мутным.



Спешит, охальник, шумит, вражина,
творит по пути распутицу,
влеком косматой тугой пружинной,
как мельничный жёрнов, крутится.
И в третий день, растеряв понемногу
хозяйство своё лоскутное,
уходит рассерженным осьминогом,
чернильным пятном окутанный.

Ещё грозит из последних сил...
Да был ли он или не был?
Скользит, кренясь на своей оси
к покатою краю неба.
А там, в степях, далеко позади, –
исчезнет. Куда и денется...
И выпьют степи его дожди,
как пьёт из рожка младенец.

И млечный пар пойдёт от земли,
и скоро просохнут, верно,
и астраханские ковыли,
и огороды Оверна,
и солнце в росах зажжёт пожар,
и воздух станет высоким,
и коршун повиснет, слегка дрожа
в его восходящем токе.

ГОНЕЦ

«И дальше века длится день...»

Б. Пастернак

Из средних – средний, этот век
клинки оржавленные скалит...
В Козельске, Муроме, Москве
ещё и слыхом не слыхали
об азиатской саранче –
а между тем пылают брёвна,
и косят лезвия мечей
одних своих, единокровных.
Не остановят их труда
ни купола, ни панагия –
за то и послана Орда.
Им несть числа. Они – другие.
Они грядут издалека,
пока пожары не остыли,
от мест, где русская река
уже становится Итилью.

...Когда немеряная степь
цветёт полотнами тюльпанов,
об этом можно только спеть,
самозабвенно и гортанно...



Там, из конца в другой конец –
ещё росистый путь не высох –
спешит-торопится гонец
к шатрам великого Чингиса.
Стреле не встретится помех,
впивают ноздри запах пряный,
ковыль, бунчук да волчий мех
у степняка на сальных прядях
восточный ветер мнёт и треплет.
В прозрачной неба нагоде –
крестообразной птицы трепет...
И больше нечего хотеть.

А зной растёт. И длится день.
То море в мареве бланжится,
а то порой ладони тень
скользнёт в раскосые глазницы,
и капля пламени ползёт
по направлению к закату.
Тысячелетний чернозём
и волны трав солоноватых.

ПАМЯТКА

Делириум тременс¹ имеет в активе то,
что вдруг исчезает грань... Зоопарк Денницы
с набором рогов и копыт, пятаков, хвостов
сожительствует с душой, а не просто мнится.

По слухам, приятного мало. Дверной глазок
в преддверие пекла обычно задёрнут штормкой,
но если туда заглянул хотя бы разок –
так это не глюки, и дверку лучше не торкать.

Но время имеет свойство идти назад.
Хотя бы и близко не пахло зелёным змием –
бездонное «было» вернёт пережитый ад,
и память поднимет чугунные веки Вию.

Мальчонке всего-то исполнилось пять или шесть.
Обычный ребёнок, детство без лишних стрессов,
и вряд ли он был законной добычей бесов,
но речь не об этом... Кошмара чёрная шерсть
его не спросила. Мозги одолевший жар
две ночи подряд служил одному и тому же:
меж этим и тем куда-то делась межа,
оставив ему непосильный посмертный ужас.

...Он был содержимым безумно жуткой тюрьмы,
и тьма была её единственной сутью.
Он был амёбой, кляксой, гримасой тьмы,
в себе заключавшей зыбкое бремя ртути.



Он был существом, пробитым тупой иглой,
беззвучным воплем, агонией и насадой,
и только животный страх сохранял его –
на долю мига – от будущего распада,
не смерти второй, а вовсе не-бытия.
И зная уже, что края ему не будет,
себя на исходе, дрожало жалкое «я»,
ничем не скреплённое в той кромешной посуде...
Баланс на оси, где малейшей опоры нет,
и судорожный пароксизм эфемерной кожи
угрюмой смолой пропитывал чёрный свет,
и муки секунды с вечностью были схожи.

Он лет через сорок припомнил тот эпизод
и думал печально про опыт, вставший из праха,
узнать не умея, какой уродливый код,
какие грехи эгоизма легли на плаху.

...И был через множество дней предутренний сон.
Там море шумело, на жёлтом песке играя,
и, стоя поодаль, счастливо завидовал он
весёлому братству людей, обещанных раю.

¹ Белая горячка

ЕЛЕНА КОРО

КОНТРАБАНДИСТЫ ВРЕМЕНИ фа-формат

20 ЛИК МАЯ – Я

Лицом, распахнутым в лето,
расхристанной маем речью,
глоссами, тропами, течь ей
хоралами междометий
из междуречья, из млечья,
дабы облечь в обличье
возгласом майского дня:
Я
Застонут сизифовы птицы,
распавшись не клином высоких,
зовущих курлыканием,
криком осеннего ястреба,
лики, как льдинки, бросая в ладони,
талой водой на страницы
книги, в которой лица
распахнуты в льдистое лето
аки в летейские воды...

Хоротопы Евпатории

Родившись в Лефортово возле Введенского некрополя, я, видимо, настолько впечатлилась, что жизнь моя так и пошла – некрополями глубокой древности.

Хоротоп как всякое древнее сакральное пространство включает в себя некрополь.

Вот Евпатория. Если рассматривать её хоротопы, то они разделены на несколько частей. Но древнейший, конечно, некрополь Керкинитиды на улице Дувана недалеко от городской площади города. Двучастность: некрополь греческого полиса и центр города, построенный в конце XIX – начале XX века. Его главные ценности: Театр и Библиотека, построенная на личные средства городского головы Дувана в начале XX века. И современная жизнь города сосредоточена именно на городской площади перед зданиями Театра и Библиотеки. А напротив греческого некрополя – краеведческий музей с артефактами, которым от двух с половиной тысяч лет и до современных событий 2014 года. Так сложилось исторически, случайно или нет, но стоит хоротоп культуры современного города на некрополе культуры греческой.

Стоит отметить, что после разрушения гуннами Керкинитиды в 3-м веке, она много веков пустовала, постепенно разрушаясь.

И вот кочевники-татары великой орды, кочуя в кибитках по великой степи западной Тавриды, стали постепенно обосновываться вокруг руин Керкинитиды, и их, пребывающих на стоянках в степи очень недолго и там, где им по душе придётся, почему-то притянул хоротоп очень древнего греческого полиса.

И как мы видим, свой город Гезлев воздвигли они постепенно недалеко от Керкинитиды. Так возник восточный хоротоп Евпатории, имя ему Малый Иерусалим в мире современном.

И видимо, существуют какие-то временные циклы, потому что русский город Евпатория, культурный его центр, вновь вернулся к греческим некрополям. И как мы знаем, именно греческая культура, античная мифология и была почвой для наших Великих делателей культуры русской: Пушкина, Мицкевича, иже с ними.

Так в Евпатории Восток и Запад с его изначальной греческой культурой, философией, искусством и сосуществуют досель.

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ОРИЕНТАЛИЗМ

Факультативен город, не иначе,
здесь текст мечети обозначен
репрезентацией верблюда
горбами минаретов, губы
так мягко под рапсодии Аллаху
целуют Понт, что помнит полис греков,
от греков здесь остался лишь некрополь
репрезентацией кремаций, не успехом,
но палимпсестом к скифам, готам, хоротопом,
столетий перекрёстком, русским правом
репрезентации мечети
православной церковью.
Век двадцать первый нас лишил репрезентаций,
облёкши правом представлять туристам
мечеть, кенасы, церковь, текие,
ушли с позиций власти ориенталисты,
связав восток и запад равных перекрёстком,
так хоротопно представляя бытие.

Невыносима легкость тех пустот,
контрабандисты времени, брат, вот:
штрихи исчезнувших стрижей высот
в бокале жаждущих глотка имён,
ты, пьющий вакуум, ты – бог, я – сон.
Но время, совершив свой оборот:
ты – сон, мой брат-контрабандист,
я – бог...

Мой город Пруст, качающий Улисса
Не в колыбели эллинских дремот,
В ковчежке из пустот здесь Хронос
Уроборосом в теменосе вьётся,
Свивая кладбище, где в письменах, как в ликах,
Как в книге города, что пуст, по-прустовски,
где Хронос Уроборосом ест себя и город,
колыбель Улисса, чтоб отроком на письменах
свивать...



Под небом голубым есть город золотой...

Идеальный город эйдетический, в нём звери невиданной красоты неподвижны. Вдруг они оживают, начинают двигаться и боги начинают танцевать.

Движение и жизнь рождаются вместе со временем в хоре. Форма хоры – полное отсутствие у самой хоры формы тех идей, что рождаются в хоре первообразами.

Афины – полис хорический. Он был рождён землей, местом, где он возник. Когда Гефест решил овладеть девственной Афиной, она избавилась от него в последний момент. Куском ткани вытерла семя Гефеста с ноги, и бросила ткань на землю. В этом месте из земли родился получеловек-полузмея. От него и пошла Афины. И все афиняне возникли в этом месте вместе с полисом. Поэтому и не помнили ничего афиняне о Прото-Афинах, о которых в Тимее Платона рассказывал устами Крития Солон. Поэтому и сохранилась в памяти эллинов история об одном потоке, как и у древних иудеев, хотя Солону в египетском городе Саисе, где поклонялись богине Нейт, там был и храм Афины. Были там и Солон, и Платон, и Геродот. Египетские жрецы в городе Саисе проводили свои съезды, и сохранили свои взгляды до времён Рима. И рассказал египетский жрец в Саисе Солону историю о Прото-Афинах, говорил ему и о свойстве эллинов не хранить тексты и всё забывать со временем. И о том говорил, что греки знают только один поток, а история сохранила множество потоков – и много другое, о чём речь ещё пойдёт.

Греция ли переполнена дифирамбами, одами, лирикой
 пляшущих под бряцание лиры в Ионии, Дорике, Аттике,
 плачущих элегически гексаметром, столь эпическим,
 что странно порой, что у эллинов эпос насквозь пронизан
 метрикой плачущих лириков.
 Странной гомеровою песней звучат острова элегически
 о том, что мечта несбыточна, и возвращенье на родину
 возможно, но для элегии путь слишком долог, трагический
 исход не для эпиков, все же...
 ...не для пиратской лирической...

ЗА ТЕНЬЮ СИНЕГО КОТА

Коту Тихону

Следуй за тенью синего-синего,
 его взгляд различает во тьме
 нравы островитян.
 Видишь, синяя туча пролилась дождём,
 в городе ибисов только имя шепчет
 абрисом полумесяца о пути того,
 кто начинается с Аль.
 Думаешь, это Он?
 Это иной, чье имя Ба города
 Александрия.
 Жрецы города отбыли в город Саис
 на конференцию древних жрецов Египта.
 Но ты следуй за тенью синего кота
 курсом на греческие острова,
 зачем тебе тени жрецов,
 лучше следуй в город,
 который вспомнил Критий



в диалоге с Сократом,
 старую сказку об Атлантиде,
 рассказанную жрецами Саиса,
 жрецами богини Нейт в храме Афины,
 одному из семи мудрецов Греции,
 имя ему Солон.
 Но ты следуй за тенью синего кота,
 попавшего в хору твоих сновидений,
 это он мелькнул тенью над Пра-Афинами
 и отбыл на острова.
 Только на острове синего кота
 ты встретишь Тихона.
 Он стал котом смотрителя маяка,
 и сидит на закате у океана
 и жёлтым глазом завра заката,
 углубленным в хору, зарит сновидениями,
 и машет тебе синей лапкой
 в сумерках среди скал острова синего завра.

Слово о цикадном Протее

Вначале был сон об имени нежном Суок. Облачный человек, Вадим Львович Рабинович, «цикадный Протей», пришёл ко мне во сне и, улыбнувшись, позвал меня:

– Суок!

И цитры «цо»
 как поцелуй цикады-девочки...

– Суок!

Стреножен стрелокрыл-кузнечик
 и зацелован...

– Суок!

Кузнечик легкокрыл стрекал.
 И стрекот стрекозу застре... пленил.
 Застыв, стрекозыми зеркалами выстре...
 и иронично созерца...
 сражен...

Метаморфозы цикадного Протея:

И быть тебе жрицей и жницей
 высоких чужих голосов,
 слетающих птицами стикса...

– Суок!

Вся жизнь...
 и цикута цикады:
 Стикс...
 Протей текуч, неуловим метаморфозами альтер-эго...

*«Не забудь сестрички милой
 Пля нежное – Суок!» (ГГ)*



В протеевом царстве общаться
как обращаться то
с тенью, то тенью
цикута цитатой
как посвящённому
Протеем в Сократы
Аукнется.

За окном горлица воркует в ветвях кипариса,
Где-то между домами древний греческий тракт,
Развалины усадьбы Эвкланда,
Вот мой хоротоп на оставшуюся часть жизни,
В Севастополе возле бухты Омега.

Храни как подстрочник
ятей ритмический почерк:
дѢвочка-рѢчь, нарѢчие
БѢлой рѢки нѢги нѢжнѢе...

Философский дискурс завершается самоуничтожением: уничтожением буквыцы, что как вещь в себе,
Ѣ в речи, дѢвочка-рѢчь, хранило нарѢчие рѢк, нарѢченных Ѣ – в рѢчи...

Кто переведёт теперь речь наречием рек, была Ѣ, ушла и не стало нарѢченных нарѢчий...

Стихия ДООС

СТИХИЯ ДООС

Фронт – птица Коро

Не привидением Маврикия,
не сновидением Коро,
не двойниками солитария,
печальной птицею Доло.

Сквозит он неуклюжей грацией
и валит прямо из трюмо
из зазеркалья эмиграцией
счастливой птицею Коро.

Стихия ДООС – сакральная поэтическая стихия, если взглянуть из внутреннего существа, – по существу. Моё внутреннее поэтическое существо эта стихия притягивает очень сильно по степени родства. То, что на выходе мозаично, фрактально и создаёт ощущение видения из разных источников, по сути, дифтонг, и внутреннее поэтическое существо – «я» – дифтонг [йа] – где йод и алеф – буквы творения миров, но это буквы разных планов творения, а их союз и создаёт, и олицетворяет, но не кентавров речи,



а дуальную высшую природу Я. Так у каждой буквы своя стихия творения. Дифтонгов не так много, и их союзы – это дуальная стихия творения. ДООС, на мой внутренний субъективный взгляд, это стихия Дифтонга, или Дифтонга в квадрате, или квадратура дифтонга. В контексте имени бога Яхве: йод-хе-вау-хе, изначален Йод, затем не Алеф, но план творения Хе, в котором рождается творец Вау с присущей только ему творческой стихией творения миров. Стрекозы – это Вау – им предназначено творить миры, и в тоже время они множество множеств, ибо Вау – не только зеркальное отражение Йод и Хе – энергия Дифтонга, а в зазеркалье Завры – в запределье зазеркалья остается Йод. И то, что в зазеркальном плане Хе Йод-Завр, здесь Вау-Стрекоза. И в этом расшифровка имени Яхве для ДООС.

ВОСКОВЫЕ ЯГОДЫ ТИСА

Вся такая внезапная
как неожиданный камнепад
из-под копыта скрытного
муфлона

Вдруг неожиданно проступаешь
сквозь штриховку ночи

Так бывает когда долго смотришь
на абстракцию
и отключив сознание
дышишь только сердцем

Ты ли это
ерошишь сейчас мои волосы
или просто
персонификация самой ночи?

И исчезаешь
также внезапно
как появилась

Душа моя, прошу, купи мне груш,
дешёвеньких, копеечных, зелёных...

От пузырьков шампанских неуклюж
сквозь первый день идёт непокорённый
борец за право снега на январь,
за право звёзд цепляться за карнизы.

А горы дыбят город, как и встарь,
с себя снимают вечные эскизы
и в рамку помещают. Так иди ж
путём, предтечею твоим открытым,
ловя мгновенья, словно капли с крыш
творца; не замечая странной свиты,



которая не знает суеты,
но и покоя тоже не имеет
и копит виртуальные листы.

Они со временем от холода желтеют,
сказать верней, от гнёта мысле-дней,
от мирных окон, темноте несущих
не озаренье, но просветы, чтоб на дне
неоседаемо блуждали души,
чтоб находили верный переход
сквозь перекрёстки и не спотыкались
о скользкие бордюры тех забот,
которые похожи на скрижали.

Сквозь первый день, сквозь первый вечер, луж
не замечая ледяную плёнку...
Душа моя, прошу, купи мне груш,
дешёвеньких, копеечных, зелёных...

Восковые ягоды тиса –
остывающий, тихий огонь,
чуть посыпанный пеплом. Реприза
продолжается. Выдана бронь
на неделю – от зимней вербовки,
от участия в манёврах дождей
и туманов. Твоя перековка
продолжается, на воде
вывода прописные уставы,
обязательства и права,
но понять где «лево», где «право»
невозможно по тем словам.
Не постичь их превратность, причуду
и какой из слоёв надеть,
чтоб спастись от судьбы-простуды
и с листвою жёлтой сгореть.

В этом пламени постараться
уловить перекрестье дат,
что свершились с тобой семнадцать
и четыре года назад:
шок от радости, шок от горя
перекручены навсегда,
как две медные нитки, которые –
сердцевиной твоим проводам.
Восковые ягоды тиса –
белым пеплом покрытый огонь –
угольком на книжной странице
прожигает мою ладонь.



Перу, упавшему на землю,
не оказаться среди туч.
Отдав ему своё везенье,
увидишь камень Бел-горюч.

Трамвайное глотая зелье
и выдыхая эстрагон,
быть может, обретёшь веселье
и бережёшь свой шаткий трон.

И остаётся только верность
хранить – иллюзиям своим
и ждать под статуей примерной,
чей профиль непоколебим,

когда же смеет этот жернов
свою покорную муку,
чтобы отдать, как подношение,
как контрибуцию врагу.

Ты видел множество крушений
и ко всему давно готов –
к паденью или к возвышенью
на холм меж статуй и крестов,

и стаю птиц своей приема,
храни упругость и размах –
перу, упавшему на землю,
не очутиться в небесах.

Мне некуда больше спешить –
живу от длинноты к длинноте,
слегка потирая ушиб,
полученный на повороте.

Душевная плавность длиннот
и ёмкость божественных пауз,
возьмите меня в оборот
и ждите, когда я раскаюсь,
распутая Шуберта шифр
в автобусных стёкол скольженьи
по улицам темным – дрожит
на них глубина отраженья.

Улиток ночные следы
блестят на остывшем бетоне.
Скажи же мне, правду скажи –
какие лады-нелады
ползут по раскрытой ладони,



ведь незачем больше спешить
и гнать лошадей в неизвестность,
и втискивать в жёсткий ранжир
ручную, уютную вечность.

Горящий циферблат ворот вокзальных –
ночное солнце – путеводная звезда –
своими стрелками тьмы уголков касаясь,
стремится опоздавшим передать
плоть времени и кровь опознавания –
вино и хлеб – и чуть тревожный пульс
рождения, воскресенья, расставанья,
ещё не перекрашенных под культ.

А до рассвета – бесконечно долго.
Восток опять Средневековьем начинён,
с охотою на ведьм, с кострами кривотолков
и междометий, и заплатами знамён
крестовых авантюристов помазанников божьих...

Над площадью горящий циферблат –
призывом гербовым
к дороге сверхвозможной
к движению куда-то, наугад.

Над Пештом – солнце. В Бude – тучи,
и – ополчение арматур.
Инструкциями их обучен
бульдозер рвётся в новый штурм
того, что ранее носило
именование Москвы;
и маков красное усилье
их не спасает головы.

...и Небо хочется обнять мне,
прильнуть к Нему, ласкать Его,
стать латкой на лоскутном платье,
стать незаметным тайным швом...

Пролешины крутых усадеб –
на дикой зелени холмов.
Им тропку тучам указать бы,
но в лексиконе мало слов.
Как часовые у калиток –
кусты с глазами Гюль-бабы,
со сладким запахом молитвы
и верой в ножницы судьбы.



Я вижу Тебя
Ты – это желтоватое тающее облачко листьев
на самой верхушке зимней кроны
окружённое силками веток
через которые трудно протиснуться
даже взгляду

Твоя благодать –
сегодняшние солнечные пелёнки
и ярко синее одеяльце
кутающие
этот мир:
эти отдавшие последнюю рубашку деревья
эти оседланные черепичными народцами холмы удачи
эти дома вечно подставляющие вторую щеку ветрам
эти чугунные бесконечные ограды
появившиеся намного раньше тех кого скрывают
и эту вечно блуждающую фигурку
которая вроде бы принадлежит мне
единственное что принадлежит мне сегодня
и одновременно не принадлежит
ареновано на неопределенное время

Я готов вернуть её Тебе в любой момент

Я жду этого момента
когда ты снова как сегодня
выжмешь словно прачка
всю вчерашнюю дождевую сырость
из моего сердца
которое неизменно защежит от этого
и оно рассыплется
на красные резкие искры ягод
по колючим чёрным декоративным кустам
твоего парка

и уже навсегда

ЕЛЕНА ШЕЛКОВА

СТАРЫЕ БОРОДАВКИ

рассказ

Марковна была сильной женщиной, к тому же бывшей актрисой театральной массовки. Ни один чёрный волос на её надгубной родинке не дрогнул. Да, Марковна была настоящей одесситкой, она умела вынести всё, если это было назло кому-то. Она не произнесла ни слова, чтобы не дай бог не обрадовать зятя своей растерянностью. Она лихорадочно начала оттирать упавшее на пол яйцо тряпкой – старой майкой Андреича. В общем-то, не такой уж и старой, майку можно было зашить и ещё носить и носить, Андреич бы так и сделал, так как был бережлив в последней стадии. Именно поэтому она пустила её на тряпку. Зять видел её мстительный манёвр, но героически не обращал на это внимания, решив, что купит новую майку вместо пирожных к обеду, которые Марковна любила больше всего на свете.

А началось всё три минуты назад, во время традиционного ежедневного скандала дома, ранним утром, пока Андреич варил утреннее яйцо всмятку (всегда одно, и всегда первым, ибо ни один уважающий себя вдовец не станет варить второе яйцо, чтобы облегчить жизнь теще). И тут случилось непоправимое. Марковна, привычно понося любимого зятя, опрометчиво назвала его старой бородавкой. Бородавкой. Старой. За тридцать пять лет ссор в первый раз было произнесено прилагательное «старый» не по отношению к свежим продуктам. «Зятюшка, поздравляю, ты снова купил старых цыплят!» Это звучало привычно, не резало слух, но он, он – старый?.. Вениамин Андреич и так мог простить немного, а тут ещё удар был нанесён ниже подтяжек, настигнув его в самый уязвимый момент, с готовым яйцом на ложке, вынимаемым из кастрюли, которое, естественно, тут же упало в знак протеста.

– Вот-вот, старая бородавка и есть. И руки у тебя дрожат, – прибавила теща.

И Вениамин Андреич смертельно обиделся, потому что теща сказала правду.

Руки у него действительно дрожали, и печень митинговала, и зрение падало. Старость была налицо – на лице, спине, ногах и... Да. Надо было мстить. И месть давно была придумана, пора было доставать козыря.

– Ну, ладно, – собрав в кулак всю еврейскую обиду, положенную ему богом, произнёс Андреич, – я покажу вам старую бородавку! Я женюсь!

Марковна была сильной женщиной, к тому же бывшей актрисой театральной массовки. Ни один чёрный волос на её надгубной родинке не дрогнул...

Когда Андреич вышел из дома, весна была уже в самом разгаре – бельё высыхало за полдня, а это был верный признак приближения пляжного сезона, которого ждали не только счастливые обладатели жилья под сдачу, но и птицы. Где ещё они найдут жирные пакеты с выброшенной самсой, недоеденными беляшами, просыпанными семечками?.. Турист, стремясь потратить накопленные на отпуск деньги демонстративно, хоть раз за отпуск не доест чебурек, чтобы доказать себе свою значительность и широту. И голуби знают это. Они тоже ждут своего часа... Андреичу было невыносимо жарко в твидовом костюме, галстук сдавливал шею, пыль со шляпы то и дело сыпалась на грудь, и он останавливался, слегка подавался вперёд и чихал, распутивая пока ещё кротких, не раскормленных туристами голубей. Но жертва была оправдана – Марковна должна понять, что Кофман шутить не будет, даже если у него стали дрожать руки. В подтверждение своих утренних слов пришлось надеть старый выходной костюм. Надо было дать понять – он идёт не на базар за какими-то бёдрышками на пожарить, он идёт к невесте, которой, конечно, не существовало в природе. Своей жене он был верен даже после её ухода, хотя давно



и активно уверял Марковну в обратном, приводя в спорах железный аргумент: как можно быть верным памяти женщины, если мать у неё была – Марковна?

Как ни поразительно, но аргумент действовал всегда. Тёща долго верила в развратные дела зятя, часто сочиняла о его любовных похождениях во дворе соседкам, чем, в конце концов, подняла жениховский рейтинг престарелого зятя до такой степени, что однажды под дверью их квартиры были обнаружены жареные пирожки и анонимная любовная записка. Андрейч после этого долго ходил с загадочным и довольным видом. А Марковна, поняв, какая стратегическая ошибка совершена её собственным языком, резко сменила тему сплетен во дворе. Но было поздно. Аргумент новой женитьбы зятя, хоть и никогда до сегодняшнего дня не произносимый вслух, крепко поселился в их военизированной квартире. Конфликт быть может так и остался бы в стадии бесконечного обмена бранчливыми нотами протеста на дипломатическом уровне, но страшная фраза «старая бородавка» было выпущено из орудий. Красная кнопка нажата. Сегодня, без объявления войны...

И вот теперь, душной весной, в твидовом костюме, в десять часов утра Андрейчу решительно некуда было пойти, так как он ушёл на свидание к невесте. Вернуться домой раньше трёх было нельзя – любовная встреча никак не может длиться меньше, покупка бёдрышек на обед даже при самой удачной скандальной торговле займёт не более получаса, а что потом?..

Вернулся Андрейч злой и уставший, как будто и вправду был у невесты.

Пять часов блужданий по узким переулкам (широких улиц он старался избегать, чтобы вдруг не встретить тещу), поиск свободных лавочек (неужели в этом городе никто не работает?!), отказ от покупки пирожных к обеду назло теще, которые он и сам уважал, всё это действовало удручающе. Андрейчу хотелось одного – есть.

Но есть ему сегодня не пришлось.

За пять часов отсутствия зятя Марковна набралась моральных и физических сил для новой битвы. Она была свежа, бодра, почти молода, её вставная челюсть была отполирована и готова вписаться в горло сопернице, посмевшей осквернить святое имя её покойной дочери. Она рвалась в бой и притоптывала тапком, как застоявшаяся беговая лошадь. Учув от зятя сильный запах духов «Пани Валевская» (да-да, Андрейч был великим стратегом, он знал магазины, где можно подушиться бесплатно пробниками) Марковна выгнулась и стала на полголовы выше зятя.

– Ааааа! Ромео пришёл! Старая сволочь! Двадцати лет не прошло, как нет Ирочки, а он уже свой облезлый хвост распетушил! Давай-давай! Женись! И пусть она оттяпает половину твоей комнаты при разводе, который будет на следующий же день после свадьбы! А может, ты копыта свои кривые раньше откинешь, и ей достанется вся комната! Говорила я Ирочке, не выходи замуж за человека, который не способен...

В этот гамлетовский монолог была вложена вся изнывающая, старая, еле держащаяся в дряхлом телешке душа Марковны. Это был финальный текст пьесы, выстраданный, вымученный годами проживания под одной крышей с презренным зятем. Это было гениальное выступление неудовлетворённой актрисы, не получившей за всю жизнь ни одной самостоятельной роли. Это был пир ненависти и любви, любви безжалостной, сметающей на своем пути тех, кто родил её, это был монолог самоубийцы, жаждущего жить, но демонстративно вьющего верёвку! Марковна шипела как сковородка, подпрыгивала, как подпрыгивают шкварки, от неё летели слюни так, что вопреки всем законам физики, одной только силой презрения они таки долетали до твидового костюма зятя.

... Каждое оскорбление, каждая скандальная буква ложились волшебным лекарством на душу утомлённого Кофмана. На радостях ему даже расхотелось есть. Он ожидал чего-то подобного, но взрыв был даже сильнее, чем он надеялся. Да, не зря пять часов прошли в мучениях, теперь он получал награды. Если так пойдёт и дальше, пожалуй, она разойдётся до того, что плюнет мне на лысину, холодно, расчётливо, по-военному рассуждал Андрейч. Тогда можно будет взять её весенние сапоги и запустить в стену, задев её плечо, вреда это не принесёт, но если повезёт, сломается хоть один каблук. Но ей придётся целый день ругаться в сапожной мастерской, а что же буду в это время делать я? Нет, сапоги не пойдут. А если кинуть старый вазон от кактуса?..

– Мамаша, перестаньте орать, вы распугаете наши кактусы, они перестанут цвести. Я женюсь ровно через месяц, мы сегодня подали заявление в ЗАГС. Я ложусь спать. Да, пирожных я не купил, мне нужна новая майка.

Гамлетовский монолог тещи оборвался. Она смотрела на зятя как смертельно раненный бык на пикадора – единственное, что было в этом бычьем взгляде, это желание убить, убить своего мучителя. Но сил на это не оставалось.

Пожалуй, фраза про не купленные пирожные была лишней, подумал Кофман. В чём-то даже жестокой, и вообще, пирожные можно было бы и купить, чтобы не сжигать все мосты сразу... Но, несмотря на эти мысли, закрывшись в своей комнате, Андреич ликовал. Его жизнь обрела смысл. Теперь каждый день будет занят под завязку, некогда будет предаваться старческой скуке, некогда будет думать, чем занять очередной день. Теперь стоит ожидать не каких-то жиденьких утренних скандалчиков по поводу очередности готовки завтрака, но полноценных, животворящих скандальеров (Андреич так и подумал – скандальерров). Единственное, что смущало его, это опрометчивая фраза о ЗАГСе через месяц – он чувствовал, что поторопился, что сократил себе удовольствие, ведь рано или поздно Марковна раскроет его блеф. Впрочем, загадывать наперёд не приходится. Там что-то придумается... И с этими мыслями Андреич погрузился в глубокий дневной сон. Ему снилась его свадьба с Ирочкой, которая почему-то проходила в Египте, гости с удручающим однообразием дарили только твидовые пиджаки, а из огромного свадебного торта то и дело выныривала тёща, и он всё пытался всунуть её обратно...

Андреич проснулся смущённым и отдохнувшим. Открыв глаза, первые секунды он не мог вспомнить, что такого приятного произошло, а вспомнив, сон сразу слетел с него, он посмотрел на часы, решил, что бёдрышки уже готовы, и можно выходить скандалить к обеду. Но запах бёдрышек не заходил в комнату, и Андреич, в силу своего многолетнего опыта в скандалах, тут же понял, что тёща могла их сварить в честь объявленной войны, зная, как он ненавидит варёную куриную кожу.

Предчувствие скандала лучше самого скандала – сказал бы какой-нибудь философ-всезнайка, но стратегический мозг Андреича не был запрограммирован выдавать подобные сентенции. Он только чувствовал это, и в поисках формулировки шёл на балкон, чтобы подышать воздухом, подготовиться, пополнить запас душевных сил перед новым забегом.

Короткий весенний день окончился, и наступило сумеречье. Одесский двор опустел и готовился отдыхать. Коты зевали. Люди возвращались домой. Каждому в такое время суток становилось невыносимо грустно оттого, что жизнь прошла совсем не так, как мечталось назло друзьям, что детские мечты так и не сбылись, и что так и не удалось поработать мороженщиком и космонавтом. Куда только девается это захватывающее утреннее чувство, этот утренний воздух, способный поднять и отправить на приключения любого, даже очень тихого в душе старика? Нет яркого солнца, нет счастья, есть только покой и воля пойти и поесть.

Но ни кастрюли, ни сковородки на кухне не было, а бёдрышки в окровавленном кульке лежали на столе нетронутыми. Нехорошее предчувствие пробежало по Андреичу. Он вдруг с ужасом подумал, что женщины всё же бывают очень сильны духом, и если им надо, они готовы даже умереть, чтобы не дать порадоваться человеку. Эти неприятные мысли о силе женского пола пронеслись в голове Кофмана мгновенно, секунды за три, пока он открывал скрипучую дверь в комнату тёщи.

Да, она не дышала.

Прима отыграла свой бенефис. Она не могла противостоять зятю и разыграла свой единственный козырь – внезапный инфаркт, обширный, как её талия.

Андреич так растерялся, что сел на стул и стал просто смотреть на неё, думая только об одном – похоронные хлопоты, поминки – даже если очень растягивать, это максимум три дня хлопот. Ну, ещё девять и сорок, а что потом?.. Что потом?.. С кем ругаться? Кого проклинать? И тут Андреич неожиданно для себя прошептал:

– Старая карга, в такой день, в такой день, когда я сделал предложение своей невесте...

ЕФИМ ГАММЕР

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАССКАЗЫ

СОЛОМОНОВЫ ПРУДЫ

На Соломоновых прудах в полночь появилась блестящая по всем внешним признакам пара – мужчина и женщина. Но кто из них мужчина, кто женщина – не понять. Волосы вразлёт, брюки навывпуск, душа в разворот Земного шара. А вокруг – голоса. Живые и, должно быть, сладкие. Живые потому что небо занавесили коршуны и обогатили его звуковое содержание клеточкой. А сладкие... По той простой причине, что на разумной видимости под ними роились пчелы, прибывшие к травам-муравам за мёдом.

Коршуны налетели на пчёл, поклевали их до сытости, верные животным потребностям своего организма, и удалились в неведомое пространство, зоопарком не забронированное. И тем самым снова перевели наше внимание на высвобожденных из забвения мужчину и женщину, блестящую по всем внешним признакам пару, появившуюся в полночь на Соломоновых прудах.

– Ты меня любишь? – спросил мужчина.

– Да, – ответила женщина.

– Тогда пойдём со мной.

И они пошли. Не по траве, не по асфальтированной дорожке. По воде.

Фантастика? Какая вода, когда Соломоновы пруды уже тысячу лет как высохли?

Согласен, пруды высохли, но вода была. Живая вода, которая натекает в древние бассейны всего раз в столетие, чтобы вернуть к жизни влюблённых былых времён, разлученных, как Ромео и Джульетта, по воле неподвластных им обстоятельств.

– Ты меня любишь? – повторил мужчина.

– Да, – повторила женщина.

Не будем им мешать. Пусть идут по живой воде и думают, что они ещё живы, и всё ещё впереди.

ХВОСТ

Наблюдая год за годом за тем, как ящерица отращивает свой хвост, доктор биологии Иерусалимского университета Яков Борисович Вельский любил приговаривать:

– А вот нам, евреям, слабо. Сколько поколений подряд у нас это самое отрезают, а нарастить новый кончик не получается.

– Не ящерицы, – хихикнула лаборантка Олечка.

– Малышка, не срами родную науку биологию. Мы крокодилы.

– Гены?

– Генные, крошка! Так точнее будет, – учёный муж усмехнулся, сознавая, что Израиль, помимо других свобод, даёт новым репатриантам законное право титульной нации: подтрунивать над своим еврейством, не боясь конкуренции со стороны природных антисемитов. – У нас в генах крокодильность: пасть большая да зубастая, мозгов много. Под водой не дышим, но живём. Над водой дышим, но не высываемся. Только пуговка носа торчит, как приманка, для глупых тварей, годных на обед. И что делает? Правильно, привлекает! – Яков Борисович отстранился от стекла, за которым ящерица отращивала хвост, и внезапно спросил у девушки: – А ты знаешь, крошка, как выглядит закон обманного времени?

Олечка тут же вытаскала из накладного кармана белого халатика маленькое зеркальце, тырк взглядом разок, тырк другой. Думала что-то с лицом, но обошлось – ничего.

Убедившись, что розыгрыша нет в наличии, вопросительно посмотрела на седовласого наставника.

– Мы про обманное время не проходили.

– Вот и лягушки не проходили, пока не оказались в пасти змеи.

– Как это?

– А так, Олечка, что, допустим, гремучая змея свернулась на травке сладным бубликом и держит над собой соблазнительно подрагивающий хвост-погремушку. А он, хвост-погремушка, представляется в полумгле лягушке лакомым кусочком чего-то вкусенького, чем и закусить писклявых комариков в самый раз. От столь приятных мыслей в голове нашей лупоглазой красавицы колобродит в ажютаже победительное время. Тут она и кидается в прыжок к сытной и здоровой пище. Однако – фигушки! В одно разящее мгновение победительное время оборачивается... Каким? Правильно, обманным! И по пути к лакомому кусочку мяса внезапно вырисовывается неаппетитная змеиная морда с оскаленными зубами. Щёлк – и поминай, как звали.

– А как звали? – машинально поинтересовалась Олечка. Ещё минуту назад её никак не волновала судьба вовсе незнакомой лягушки, родичами которой скармливали ящерицу, ту самую, что на её глазах регулярно отращивала хвост, аккуратно отрубаемый Яковом Борисовичем.

– Лягушку, допустим, звали Кваква. Но ведь нельзя сбрасывать со счетов, малышка, что она, допустим, могла быть царевной-лягушкой и, следовательно, сказочной невестой для Иванушки-дурачка.

– Что же теперь будет с Иванушкой-дурачком? – загоревала Олечка, услышав заветное слово «невеста».

– Женится на другой.

– На ком?

– Олечка! А ты согласилась бы выйти за него?

– Я? – растерялась девушка. – А... а где Иванушка-дурачок? У вас, Яков Борисович, есть адрес?

– Там, где и был прежде, Олечка! В сказке.

– Чего же разыгрываете?

– Я не разыгрываю, Олечка! Выходи за меня.

– А Иванушка-дурачок?

– Что Иванушка-дурачок?

– Он же...

– Стал царевичем? Это?

– Не то, доктор.

– А что?

– Закон обманного времени. Вот что!

Не понял.

Олечка снова вынула карманное зеркальце.

– А вы взгляните. И увидите ваш закон в действии.

Яков Борисович взглянул на себя, взглянул на Олечку и повернулся к стеклу, за которым ящерица, невзирая на собственный возраст, год за годом отращивала отрубленный во имя науки хвост.

ВСЯКИЙ-РАЗНЫЙ

Ищите смерть за мельницей, у речки. Каждый Всякий-Разный, кто хочет выжить, получит по зубам. Спешите видеть! До смерти четыре шага. А сколько до мельницы – ещё не сосчитано.

Всякий-Разный не хотел по зубам. Смерти не искал тоже. Но «спешите видеть!» убедило. И он поволокся на мельницу, зная – смерть за ней, у речки. Думал: пересидит смерть на мельнице, заодно и зубы сбережет. Для потомства.

Зубы у Всякого-Разного были замечательные. Золотые. Лишиться их – это как с жизнью расстаться. А из двух зол выбирают... Что? Жизнь, разумеется. В итоге Всякий-Разный выбрал жизнь, хотя при посторонних сделал вид, что пошёл за смертью.

Шёл он, шёл, считал шаги – сколько до мельницы? Не сосчитаны ведь! А он – ах, какой умный! – считает. Внесёт, между прочим, вклад в науку мать-матеку. Шёл он, шёл, каждую тысячу шагов отмечал вырванным вручную золотым зубом, дабы не ошибиться.

Не ошибся! Тридцать три тысячи шагов вышло – точь-в-точь! – если приплюсовать зуб мудрости.

С голым ртом Всякому-Разному стало на душе чуток легче. Он как бы с жизнью уже распростился, ибо всю сознательную часть оной, до паломничества на мельницу, собирал деньги на драгоценные зубы. Теперь, без золотого запаса во рту, ему и сам чёрт был не страшен.



Всякий-Разный как бы с жизнью уже распростился, но с умом – нет! – ни в коем разе. Потому всё и предусмотрел, размещая в чистом поле зубы. Станет назад возвращаться, соберёт своё золото. И в горстях принесёт домой: полюбуйтесь, соседи, что нашёл, когда искал смерть. Ну, и что? А то! Заберут соседей завидки, бросятся по его следу. Но найдут не клад, а... острую косу в костлявых пальчиках. За мельницей, у речки.

Мельница была пуста, пахла мукой и сваренным в мундире солнцем. Жернова крутились сами по себе, заглушали журчание воды.

Всякий-Разный поискал глазами, куда сесть? И не усёк, что козь он ищет что-то глазами тут, в такой близи от речки, то, прежде всего, найдёт смерть.

Впрямь так и вышло. Всякий-Разный нашёл глазами смерть. И имей для разговора зубы, спросил бы: «Почему ты здесь, когда тебе положено быть по другому адресу – за мельницей, у речки?».

Смерть, умея говорить по-человечьи, ответила бы: «Мои рекламодатели специально для тебя постарались. Скажи тебе, ищи смерть на мельнице, так ты обязательно полезешь в речку. Я, если по-честному, всегда там, где нужно. И время угадываю без ошибки, и место».

Всякий-Разный, отыскав глазами смерть, понял: от неё не уйти. И с душевной тоской подумал о потраченной даром, всего лишь на зубы жизни.

Смерть уловила его бедные по внутреннему содержанию мысли и отпустила на волю. «Иди, нагуляй жирок, прибавь жизненного опыта, поразмышлай о смысле, истине, своём предназначении, а то тебя всего на один зуб», – будто сказала вслух, хотя говорить не умела.

Осознал Всякий-Разный, что даровано ему спасение, и бух-бух широким, как обух топора, лбом о каменный пол – мозги от усердия перемешал. А, перемешав мозги, спутал на обратной ходке пути-дороги к своим золотым припасам. Тырк – туда, тырк – сюда. Где зубы? Нет зубов! Только чистое поле – от мельницы до его избы.

Что делать?

Вернуться домой, и от своих ворот вновь пройти по знакомому пути?

Как скумекал, так и поступил.

Вернулся восвояси и отправился в изначальный поиск.

Ищет-ищет, год ищет, наконец, нашёл. Зуб нашёл, золотой, один-разъединственный на всем белом свете.

Один? Почему один? Их, кабы не спутать с ресницами, должно быть по науке, по матерь-матеке, ровно тридцать три штуки. Сколько же это получится в переводе на шаги? Стал загибать пальцы, морщить лоб, и сосчитал – не ошибся. Сосчитал-обрадовался и давай носом землю ковырять, выскивая в чистом поле свой клад.

Ковырял-ковырял. Изю дня в день. Изю года в год. Тридцать три тысячи шагов ковырял, зубы отыскивал и по одиночке вставлял на кусачее место. Вот ведь рот полнится-полнится. И скоро, стоит лишь вновь добраться до мельницы, во всю красу заблестает.

Наконец срок пришёл – рот заблестал, как царский червонец! Только вот незадача, когда Всякий-Разный все зубы вставил по назначению и жизнь захотел прожить – не поле перейти – смерть тут как тут.

И где?

Точно по указанному адресу: за мельницей, у речки.

Здрасьте вам, заходите в гости!

ИРИНА РЕМИЗОВА

ЗА ЦЕРКОВЬЮ АРХИСТРАТИГА

МАТУШКА-БУЗИНА

Не по колодам пней
считаны дни-рубли...
Нет никого сильней
сбросившей снег земли:
лебедь из рукава,
из табакерки чёрт –
выскочила листва
в тысячу разных морд.

Душки лесной ушко
с грубым продольным швом
слышит: забыть легко
мёртвому о живом –
если земля, то нет
ни пустоты, ни мги:
ходит по травам свет,
так, что слышны шаги...

Вывернувшись – гнедым
из воровской узды –
пьют забродивший дым
кашновы сады,
редкий пчелиный гуд
вьётся по миндалю...
Божьих коровок жгут
и листокоса-тлю.

Ветренный барабан
бьёт-не даёт забыть:
смётан и мой кафтан
на травяную нить.
Просто игла в руке
матушки-бузины
встала в одном стежке
до навсегда весны.



ПРО УГЛИ

отступает зной,
прячется в кусты.
шиты тишиной
туфли темноты.

лает наугад
время на цепи:
ангелы не спят –
вот и ты не спи,

ножницами правь
реку полотна,
надставляя явь
лоскутами сна.

на твою ли выть –
негасимый свет?
не тебе ли быть
там, где ночи нет?

не к тебе ль вот-вот,
загасив угли,
темнота взойдёт
из сухой земли?

КАБЛУКИ

за церковью Архистратига –
скамейка – крутые бока,
на ней – непочатая книга
про нас, нерождённых пока.

узорные тёмные речи –
укромные, словно ковчег –
откроются разве при встрече,
которой не будет вовек.

откуда-то сверху челеста
смеётся – что сыплет угли:
«тебе не достанется места
на палубе нашей земли:

гляди, как напевно и кротко,
покуда дороги свежи,
гуляет зима-тихоходка
в змеиных ботиночках лжи –

они сложены по-французски,
затейливы швы и узлы,
и можно привыкнуть, что узки –
да вот каблуки тяжель».



ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Небесный мешок распорот –
вот-вот перешьют в шинели...

...А где-то построят город
из многоэтажных елей:
с песочницами, с грибами,
с мощением улиц хвоей,
янтарными погребями
и сторожевой секвойей.

Народ подберётся мелкий,
собьётся в картель тесовый:
одни подадутся в белки
другие поступят в совы –
и в сумерках, и при свете
все будут согреты-сыты,
и станут паучьи сети
единственной их защитой...

Мне это приснилось как-то
под стук подоконный слабый:
знама отбивала такты
сырой комковатой лапой,
в домах заселяли ели
игрушками и шарами,
метельные спицы пели
над снежными свитерами.

Неважной была портниха –
всё в иглах до поворота...

А с петель – покуда тихо –
снимает весна ворота.

РУСАЛЬНОЕ

столкнуло время двух
и разведёт навек –
я мимолетный дух,
ты вечный человек.

пока некошен луг,
цвети, трава-тирлич...
нет имени мне, друг, –
как хочешь, так и кличь.

меня сплели из душ
деревьев и зверей...
такая в мире глушь –
грозу бы поскорей:



не ту, что по весне, –
во всю земную грудь.
...тебе на суд, а мне
туда заказан путь.

по вывескам светил,
по картам волосей
найдёшь, кого любил –
животных и людей.

а я останусь тут –
тянуться ввысь, пока
однажды не сорвут
для нового венка.

ОРЕХ

Бывало, посадишь поближе к теплу, чтоб рос
высоким и сладким; под солнечный самый бок –
идёт себе к небу вразвалочку, как матрос,
и лист его кожист, и корень его глубок.

Лелеешь и холишь, нашёптываешь слова,
заводишь кукушку, считающую до ста, –
и не замечаешь: вокруг не растёт трава
и нет по соседству ни деревца, ни куста...

Внутри его море, и чувствуешь, как в груди
всё больше простора – какое гнездо ни вей:
обрюзглые тучи в кошёлках несут дожди,
и сорные бабочки выются среди ветвей,
и весело так, будто в кровь подмешали свет,
и ласточки смотрят из-под голубых застрех...

...Приходит, садится за стол, говорит: привет!
и ты раскрываешь ладони: смотри, орех!
Две лёгкие лодки – неточёные борта,
сорвали по осени – будто бы век спустя:
внутри лишь иссохшая горькая чернота,
да полустлевшее бабочкино дитя.

РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЕ

1.

Иногда рабочих рук не хватает и там.

Тушу времени: шкуру, ошмётки жил,
кости, мясо, внутренности – по сортам,
как положено, служащий разложил.
Кто-то давится, кто-то визжит: «Еда!»,
кто-то впрок, не жуя, набивает рот...
Что ты будешь обглаживать в день, когда
Он табличку на клетке твоей прочтёт?



2.

В человеческой клетке твоей, как везде, бедлам:
сквозь решётку заброшенный мусор, объедки – хлам,
переросший тебя самого. Ты на всех рычишь,
кто к нему приближается, злая от страхамышь –
это жизнь твоя, пепла и ветоши полведра.

Он глядит в глаза, и ты узнаёшь – пора.

3.

Надевают опшейник, и щёлкает карабин.
Длинный сон поводка ненавязчив и невесом –
птичььи лапки по крыше и стук дождевых дробин
уговаривают – поработай немного псом.
Приучайся к свободе, разучивай по складам
немудрёные правила: место, барьер, ко мне,
потому что пугающее: «Аз воздам!» –
это просто ладонь на усталой твоей спине.
Скоро нитку отвязжут, и гелиевый прибор
понесёт тебя, Шарик воздушный, куда-то вспять
человеческому: любить – окружать собой...

Любить – вместо себя стать.

4.

Холоден и горяч,
не человек – трава,
лёгкий небесный мяч –
переступи-слова.

Под колокольный гуд
стражники – да не те –
бережно подведут
за руки к темноте,
и разомкнется свод,
грянет над головой –
под ноги упадёт
панцирь скудельный твой.
Вот ты дитя, потом –
просто детёныщ, вот
белым бежишь мостом,
тыкаешься в живот,
падаешь и встаёшь –
ты и уже не ты –
выбравшись из мерёж,
сброшенных с высоты.

5.

Он берёт тебя за руку,
которой как будто нет,
поворачивает ладонью вверх,
дует на ранку –
и зажигает свет.

ВАЛЕНТИН НЕРВИН

НА КРАЮ МОИХ НЕБЕС

Птица низкая, небыстрая –
до неё рукой подать,
а на расстоянии выстрела
даже пули не видеть.
Грани воздуха алмазного
поневоле отсекали
то ли гром от неба ясного,
то ли небо от земли.
Только птица неубитая
всё летит наперерез
отражению, забытому
на краю моих небес.

Когда, повторяя речные изгибы,
певучие звёзды летят с высоты,
на сушу выходят летучие рыбы,
забытые сны
и живые цветы.
Увы, никакой эпохальный философ,
ни в общем зачёте, ни сам по себе,
ещё не решил окаянных вопросов
о жизни и смерти,
любви и судьбе.
Я знаю, уходят и люди, и реки,
державы и сны рассыпаются в прах,
но было от века и будет вовеки:
Земля – на китах,
а любовь – на цветах!

ПРЕЛЮДИЯ

Четвёртый ряд, пятнадцатое место –
и память вышивает по кайме
недолгую прелюдию оркестра
и женщину, поющую во тьме.



Не говорю о таинствах и тайнах,
но жили в измерениях иных,
сошедшие с небес обетованных,
солистки филармоний областных.
А я – студент, влюблённый, как попало,
бегущий на концерты всякий раз,
не зная, с кем жила, кому трепала
нервишки и прически напоказ.
И целый год, шалея от восторга,
стипендию пуская на распыл,
конфеты я таскал из военторга
той женщине, которую любил.

Четвёртый ряд, пятнадцатое место –
почти двенадцать месяцев подряд...
Но, как-то раз, по недосмотру, вместо
четвёртого, я сел на третий ряд.
И жизнь моя вошла в иное русло,
по мере ускоряющихся дней.
Но женщина дарила мне искусство –
и я снимаю шляпу перед ней.

Батарей, не веря весне.
понемногу тепла добавляли.
Я фрамугу открыл на окне –
сквозняки
по квартире
гуляли.
Очертания прошлого дня
исчезали по мере заката;
разве, милая, ты виновата,
что весна разлюбила меня?
А тебя
унесло
сквозняком,
но пропахли твоими духами
три звезды над моими стихами,
и над выморочным коньяком.

...выпила недорогого вина,
как-то неловко потом пошутила
и на меня посмотрела она
так,
что дыхание перехватило.
Долго ли коротко, жизнь прожита –
я не ищу для себя оправданья.
Но вспоминается женщина та
и –
перехватывает дыханье...



В МИНУТУ ОДИНОЧЕСТВА

В минуту одиночества, когда
ни соловья тебе, ни Алконоста,
погашены, похоже, навсегда
все фонари у Каменного моста.
Исчерпан кратковременный лимит,
отпущенный для маленького счастья;
один ВоГРЭС по-прежнему дымит,
как при любви и при советской власти.
У прошлого надёжная броня:
я понимаю, что, на самом деле,
дым иногда бывает без огня,
а соловьи давненько улетели.
И вот стоит, поплёвывая вниз,
перебирая годы и невзгоды,
почти мифологический Нарцисс,
глядящийся в отравленные воды.

Хочется праздника! –
и по старинке,
после недолгих застольных трудов,
я с антресоли достану пластинки
семидесятых прикольных годов.
Помнишь, когда-то под музыку эту,
по-человечески навеселе,
солнечный зайчик плясал по паркету
так, что дрожало вино в хрустале.

Море судьбы не всегда по колено –
годы и беды пошли на-гора,
но повторяются песни Дассена
и Ободзинский поет, как вчера.
Что-то забудется, но, поневоле,
музыку памяти я сохранил.
Хочется праздника! –
и с антресоли
я достаю благородный винил.

Отчего, скажи на милость,
на какой такой предмет
этой ночью мне приснилась
песня юношеских лет:
там красивая такая
отражается в трюмо
и поёт, не умолкая,
Сальваторе Адамо.



Только время, априори,
 человеку не судья –
 Сальваторе, Сальваторе,
 спета песенка твоя.
 Что упало, то пропало;
 мы не выкрутимся, но
 даже то, чего не стало,
 в зеркалах отражено.

Последние сполохи бабьего лета:
 уже никогда не забудутся эти
 глаза изумрудно-зелёного цвета
 и запах осенней листвы на рассвете.
 Высокие звёзды бродили ночами
 по самому краю поры листопада
 и пересекали косыми лучами
 пустые аллеи Нескучного сада.
 Планета вращается и, ненароком,
 на все невозможные стороны света
 летят, отражённые стеклами окон,
 последние сполохи бабьего лета.

Вот и осень по жизни пришла,
 листья заживо падают в спешке;
 у кого не попросишь тепла –
 ни золы тебе, ни головешки.
 Что романсы, когда наяву,
 сообразно развитию темы,
 остаётся посыпать главу
 лепестками больной хризантемы.
 Выше неба и ниже земли,
 о весне поминая некстати,
 полетели мои журавли,
 догоняя тепло на закате.

Сочинилось ни много, ни мало –
 только то, что легло по судьбе;
 накопление потенциала
 происходит само по себе.
 Что ещё у меня на повестке
 до схождения под образа? –
 византийские строгие фрески
 не глядят человеку в глаза.
 Привилегий от жизни не жду,
 против лома не знаю приёма,
 но квартирку в районе Содома
 я могу обменять на звезду!



ЗВЕЗДА

К утру холодает.
И чудится, вроде,
костёр догорел, а звезде невдомёк,
что недолговечная ночь на исходе –
кукушка молчит и горчит кофеёк.
Любимая,
нам уходить в одиночку,
но я тривиально доволен судьбой:
есть пара минут на хорошую строчку –
на память,
которая будет с тобой.
Сейчас я достану заветную фляжку –
налей до краёв и звезду не туши:
возможно, судьба предоставит поблажку
на время любви,
на пространство души.

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

ЗИМА НАШЕЙ ЛЮБВИ

Из цикла стихотворений

А та зима особенной была.
Снег вышивал узоры белой гладью.
Земля была нетронута бела,
как мною ненадёванное платье,

подаренное девочке чужой,
оставшее висеть в шкафу нелепо.
Зима кружила шалью кружевной,
как будто в небо вырвалась из sklepa.

То было много лет назад тому.
Мы шли и шли сквозь снежные завалы.
«А пирожки горячие кому?» –
звучало на углу и согревало.

И снова снег, бесшумный и большой.
Доверчивый, не ведающий злого...
А вот кому тепло души чужой?
Недорого, за ласковое слово.

Во всём такая магия и нега,
что кажется, я в сказке или сне.
Как дерево, укутанное снегом,
стою и тихо помню о весне.

Хранит души невидимая ваза
всё то, что недоступно-высоко
и неподвластно ни дурному глазу,
ни жалу ядовитых языков.

О только б не рассеять капли света,
не расплескать в житейской мельтешне
и уберечь, как за щекой монету,
как птенчика, согретого в кашне.



Вспорхнул под видом птицы тихий ангел,
слетели кружева с берёз и лип,
и мир, который виделся с изнанки,
явил мне свой иконописный лик.

Как хлопьям снега радуюсь стихам.
Я их тебе охапками носила.
И мир в ответ задумчиво стихал,
поверив в их бесхитростную силу.

Был каждый день – как новая глава.
Мне нравилось в шагах теряться гулких
и близко к сердцу принимать слова,
что бродят беспризорно в переулках.

Их мёрзлый бред отогреть теплом
единственно нашедшегося слова,
и дальше жить, мешая явь со сном,
во имя драгоценного улова.

Лето оземь ударилось яблоком,
и оно сразу вдребезги – хрясь!
Обернулось нахохленным зяблком,
лица листьев затоптаны в грязь.

То, что с облака сыпалось золотом,
пропадает теперь ни за грош.
Веет холодом, холодом, холодом,
пробирает нездешняя дрожь.

Я живу, не теряя отчаянья,
мои пальцы с твоими слиты.
В мире хаоса, мглы, одичания
мне не выжить без их теплоты.

В неизбежное верить не хочется –
заклинаю: пожалуйста, будь!
Всё плохое когда-нибудь кончится,
уступая хорошему путь.

Если ж край, то тогда – не ругай меня –
я сожгу своей жизни шагренёв,
чтоб согреться у этого пламени,
чтобы ужин тебе разогреть.

И когда дед Мороз из-за облачка
спросит – как тебе? – в злую пургу, –
не замёрзла? – отвечу: нисколечко!
И при этом ничуть не солгу.



Обошла весь город – себя искала,
свою радость прежнюю, юность, дом.
Я их трогала, гладила и ласкала,
а они меня признавали с трудом.

Многолюден город, душа пустыня.
Всё тонULO в каком-то нездешнем сне...
Я скользила в лужах, под ветром стыла
и искала свой прошлогодний снег.

Увязала в улицах и уликах,
и следы находила твои везде...
Годовщину нашей скамейки в Липках
я отметила молча, на ней посидев.

И проведала ту батарею в подъезде,
у которой грелась в морозный день, –
мы тогда ещё даже не были вместе,
но ходила всюду с тобой как тень.

Я нажала – и сразу открылась дверца,
и в душе запели свирель и фаягот...
Ибо надо чем-то отапливать сердце,
чтоб оно не замёрзло в холодный год.

Этой песни колыбельной
я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
лепет сладких снов,

гул за стенкою ремонтный,
тиканье в тиши, –
всё сливается в дремотной
музыке души.

Я прижму тебя как сына,
стану напевать.
Пусть плывет как бригантина
старая кровать.

Пусть текут года как реки,
ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
мальчик мой седой.



Мой бедный мальчик сам не свой,
с лицом невидящего Кая,
меня не слышит, вой не вой,
меж нами стужа вековая.

Но жизни трепетную треть
как свечку, заслоня от ветра,
бреду к тебе, чтоб отогреть,
припав заплаканною Гердой.

И мне из вечной мерзлоты
сквозь сон, беспамятство и детство
проступят прежние черты,
прошепчут губы: наконец-то.

Благодарю тебя, мой друг,
за всё, что было так прекрасно,
за то, что в мире зим и выюг
любила я не понапрасну,

за три десятка лет с тобой
неостужаемого пыла,
за жизнь и слёзы, свет и боль,
за то, что было так, как было.

Разучилась жить за эту ночь.
За окном деревья поседели.
Как мне эту горечь превозмочь?
Есть ты или нет на самом деле?

Слёз уж нет. Всё уже ближний круг.
Жизнь всё поворачивает мудро.
Светлая любовь стоит вокруг,
как в снегу проснувшееся утро.

Ветхий, слабенький, белый, как лунь,
как луна, от земли отдалённый...
Но врывается юный июнь,
огонёк зажигая зелёный.

Я тебя вывожу из беды
по нетвёрдым ступенчатым сходням,
твоя палочка, твой поводырь,
выручалочка из преисподней.



Вывожу из больничной зимы
прямо в сине-зелёное лето.
Это всё-таки всё ещё мы,
зарифмованы, словно куплеты.

Видим то, что не видят глаза,
то, что в нас никогда не стареет.
И всё так же, как вечность назад,
твоя нежность плечо моё греет.

Февраль! Чернил уже не надо,
когда есть вилы для воды.
Писать сонеты иль сонаты,
в сердцах растапливая льды.

Бумаге жизнь передоверив,
смотреть как гаснут фонари,
в чужие не стучаться двери,
познав, что выход – изнутри.

Когда ж сойдёт на нет удача,
побив все карты до одной,
и вековая недостага
преобразится в вечный ноль,

когда все маски и личины
оскала покажут бытия –
и в минусовых величинах
надежда выживет моя.

Но даже там, где нет надежды –
моя любовь тебя спасёт.
Где утепенье безутешно –
она одна осилит всё.

Я руку тебе кладу на висок –
хранителей всех посланница.
Уходит жизнь как вода в песок,
а это со мной останется.

Тебя из объятий не выпустит стих,
и эта ладонь на темени.
Не всё уносит с собою Стикс,
не всё поддаётся времени.

Настанет утро – а нас в нём нет.
Весна из окошка дразнится...
Мы сквозь друг друга глядим на свет,
тот – этот – какая разница.



Душе так трудно выживать зимою
среди неживой больничной белизны,
под раннею сгущающейся тьмою,
за сотни вёрст от песен и весны.

О Боже, на кого ты нас покинул?!
Земля – холодный диккенсовский дом.
Небес сугробы – мягкая могила,
в которой жёстко будет спать потом.

Но кто-то, верно, есть за облаками,
кто говорит: «живи, люби, дыши».
Весна нахлынет под лежащий камень,
и этот камень сдвинется с души.

Ворвётся ветер и развеет скверну,
больное обдувая и лечя,
и жизнь очнётся мёртвою царевной
от поцелуя жаркого луча.

Мы вырвемся с тобой из душных комнат,
туда, где птицы, травы, дерева,
где каждый пень нас каждой клеткой помнит
и тихо шепчет юные слова.

Я вижу как с тобою вдаль идём мы
тропою первых незабвенных встреч,
к груди прижавши мир новорождённый,
который надо как-то уберечь.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СНЕГ

Сухая плоская ворона
(смерть под колёсами, жара)
покоилась в траве газона
внутри московского двора.
Но равновесие не вечно:
и пёс голодный налетел –
и ну покойницу калечить,
таскать, трепать, – а всё ж не ел.
И жертва, словно из фанеры,
со свойством жёсткой лёгкости
моталась в воздухе двумерной
системой перьев на кости.
А местный азиатский дворник,
на мир смотрящий в лунный серп,
как будто чуял в той вороне
державного пространства герб –
и пса не гнал метлой поганой
и птицу в мусор не волок.
И глухо бился в этой драме
времен встревоженных поток.

Сидит музыкант и читает стихи,
Задумчиво в книге страницы листает,
Он вслед за поэтом слова повторяет,
От первой до самой последней строки.
Зачем же ему не своё ремесло,
Зачем же ему это таинство слова –
В гармонию буквы войти не готовы:
В них горечь, страданье, несчастье и зло.
В них жажда поэта не роли играть,
А жить полной жизнью тревог и открытий,
И то, что любил и что ангелов видел,
Однажды словами суметь передать.



Кому он писал – неужели себе? –
Так щедро не могут даваться таланты.
Наверно, ещё и тому музыканту,
На чьей обречён отразиться судьбе.
О музыка слова, щемящий мотив,
В них боль ощущений, двойная работа –
Качаются-кружат незримые ноты,
Готовые кануть в небесный архив.
Лови, не теряй то, что истина дарит –
Строка за строкою, ещё и ещё.
Звучит инструмент, музыкант сочиняет,
И ангел стоит у него за плечом.

Прощаясь с осенью, на свет
Легко смотреть в природе голой,
Когда почти любой предмет
В себе накапливает холод.
Впадая в спячку, летний дом
Пошевеливается, дверью хлопнув,
И, погремев пустым ведром,
Сомкнёт зашторенные окна –
И в этой внутренней тиши
В остывшей строгой полутеми
Почти не слышно, как спешит
Всепроникающее время,
Где можно тихо, без сует,
Раскрыть нетронутые книги –
А в них заведомый ответ,
Что совершенства не достигнуть.
День будет короток, как миг,
И солнце будет заходящим,
Когда скользнёт по шторе блик
Напоминанием о счастье.

Вы когда-нибудь знали, как тают стихи,
Чуть заметно коснувшись сознания?
Так чужой силуэт, так течение реки
Отражаются воспоминаньем.
Тает время, и лето исходит на нет.
Бесполезное сопротивление –
Листопад (это яркий, но временный свет
Перед долгим холодным затмением).
Между строк прорастает дурная трава,
Мошкаркой бестолковой толкутся слова,
Растекаются длинные тени,
Все слабее сигналы из дальних миров –
Это тают стихи. Это тает любовь
Равнодушно, без благодарений.

В БЕСКЛЁВЬЕ

Сверли, не сверли – не клюёт.
 Изрезана взглядами пойма, где
 Баржа уползает под лёд,
 Цепляясь за берег соломенный.
 Сегодня земля не смогла
 Дать верного хода событиям,
 И скудота-скука легла
 Поверх ледяного покрытия.
 На берег сходи просто так,
 Продравшись за стену колючую –
 Нечёсанный голый ивняк,
 Придавленный зимними тучами.
 Там стройка торчит из земли,
 Воронами хрипло отпегая,
 И контуры елей вдали,
 Как рыбий плавник над планетою.
 И небо холодным обдаст,
 И снег будет хлопать отчаянно,
 И вновь окружающий фарс
 Задрёт, будто смерть величаяя.
 А мы всё ведём ворожбу,
 Надеясь на милость всевышнюю,
 И молча ругаем судьбу,
 В глубинах сияя мормышками.

Прощенья прошу, что к лихим берегам
 Не наши ветра устремлялись,
 Что падали листья не к нашим ногам,
 Изгибами шорохов каясь,
 Что камни морские блестели не нам,
 Пропитаны стопами чаек,
 Что лунные тени, скользя по волнам,
 Не нам заклинанья молчали,
 Что солнце, смеясь из потоков воды,
 Не нам свои брызги дарило.
 В холодном тумане теряя следы,
 Прости и скажи: «Не любила».

НА СТИКСЕ ЛЕДОХОД

Владимиру Альтишуллеру

На Стиксе ледоход. В низовьях снег лежит.
 Мы здесь давно живём, не видя новых лиц.
 Вчера была метель. Сегодня день дрожит
 Полярной толчейей неугомонных птиц.



В верховиях война. Далёкая напасть.
Узнали мы о ней на прошлый ледоход.
Высокая вода – единственная связь,
Когда река в себе свидетельства несёт.
Когда полярный день касается земли,
Открытый воздух слеп – всё тундра да вода.
Тот берег где-то есть, но не видать в дали,
Мы живы оттого, что нам не плыть туда.
А где далёкий юг, противники стоят
По разным берегам – и все обречены:
Какой ни принимай военный вариант,
Границу по воде пересекать должны.
Пока не начались восточные ветра,
Плавучий хлам река несёт на правый фланг.
На Стиксе ледоход – особая пора
Не помнящих про гимн, не узнающих флаг.

В который раз с поправками на стаж
Я выправляю старый репортаж.
Ненужные детали – в край листа,
Настройки – в чёрно-белые цвета.
Мой посетитель, будь не слишком строг –
Немного было видно вдоль дорог:
Обочина, столбы, усталый взгляд.
И вот уже уходит циферблат
В свободное падение минут –
Что может ангел знать про парашют?
А дальше – птицы бреющий полёт,
Несыгранный мотив застывших нот,
Тяжёлый камень, хрупкий человек
И бесконечный достоверный снег.

Тихо по снегу
Тянутся тени,
Кончились деньги,
Кончилось время,
Кончился воздух.
В тёмном пространстве
Прячется шорох
Непостоянства.
Окна домов
Медленно гаснут,
Словно стекло
В холоде вязнет,
Звуки немые
Над пустотой.
Вашей любви я
Вовсе не стою:

Мог лишь мечтать,
Чтобы из мести
Перемещать
Ваши созвездья,
То был не свет –
Ложь озаренья,
Огненный след
В вечном затмении.
Шелест страниц
Слышен едва ли,
Иней ресниц
Тих и печален,
Мёртвой свечи
Чёрное пламя,
В трещинах щит
Воспоминаний.

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

НА ГРАНИЦЕ ЭХА

рассказ

1.

Дудук пел о чём-то знакомом, с грустью, нежностью и легко. Он звучал пронзительно, несмотря на слабый динамик моего мобильного. Я сидела на облущенном топчане, подставив лицо тёплому, весеннему ветру. Неподалёку расположилась юная художница с мольбертом. Она поглядывала на изыщные, полупрозрачные облака, на слегка волнующееся море, но рисовала солнечный диск, превращая его в привычный элемент небосвода. Девушка была поглощена преобразованием красок в световые пятна, никого вокруг не замечая.

«Искусство – это отточенная иллюзия, гиперболическое зеркало» – мелькнула в памяти фраза Жана Бодрийяра. В голове тотчас закопошились, замельтешили мысли, доказывая что-то, одновременно опровергая. Их болтовня даже на фоне весенней оживлённости природы показалась мне настоящим ором. Чтобы успокоить мысли, я закрыла глаза, направляя внимание на звуки музыки. Утишить себя не удалось – вспомнилось предрождественское утро в Аркадии. В тот день было по-весеннему тепло. Моя маленькая пуделиха рвалась с поводка, я едва поспевала за ней. На центральном пляже лежал красивый парень в камуфляжной одежде. Он небрежно развалился возле лестницы – на бетонной плите, засыпанной песком, – отдавая всего себя солнечным лучам. Волевым лицом с рыжеватой бородкой и усами. Настоящий богатырь из сказки. Рядом с ним валялся протез, почти новый. Подвернув штанину, парень выставил наружу то, что осталось от правой ноги. Он так и лежал – помахивал голой культей, как собака хвостом, слегка улыбаясь. Несмотря на явные признаки жизни, он был похож на мертвеца.

Незримый живописец максимально точно прописал все детали этой картины, страшной по своей сути, прочно засевшей в моей памяти. Гиперболическое зеркало... Бодрийяр был убеждён, что трудно говорить о живописи, поскольку сегодня очень трудно её видеть – «... в большинстве случаев современная живопись стремится вовсе не к тому, чтобы её созерцали, но к тому, чтобы её потребляли...».

Созерцание... Для многих современных людей – это ненужная, непонятная блажь. Время скоростей, коротких текстов, сленга, караоке, гибридных войн и головокружительного хаоса...

Внезапно я почувствовала на себе чью-то тень. Открыв глаза, увидела незнакомца.

– Нравится дудук? Люблю его голос, – сообщил он.

Лёгкое раздражение качнулось во мне. Зачем он подошёл? Зачем заговорил? Внимательно взглянула на него. Солнечный свет не позволял рассмотреть лицо.

– Не любишь говорить?

Мне показалось, он усмехнулся.

– Молчать нравится больше. Но...

– Но?

– Иногда болтаю без умолку.

– Прости моё любопытство, о чём ты обычно молчишь?

– О себе.

– А о чём иногда болтаешь?

– О себе.

Незнакомец рассмеялся, бесцеремонно усевшись на топчан рядом со мной. Наконец я могла рассмотреть его – весьма пожилой, с длинной, кустистой бородой и пышными усами, в бордовой, прикрывающей макушку шапочке с узором по краю, в мешковатом лёгком пальто.

– Ты кто? – поинтересовался он у меня с нарочитой строгостью.
 – Смотря где и когда... – ответила я уклончиво.
 Он по-доброму рассмеялся и шутливо представился:
 – А я – собиратель ножей. Везде и всегда.
 Только этого мне не хватало! Первое, что пришло тогда в голову.

2.

...В моих руках была большая увесистая чаша – старинная, на низкой ножке, вероятно, золотая, с красно-зелёным орнаментом. Напротив меня стояла женщина с бледным, почти восковым лицом.

– Для чего она предназначена? – полюбопытствовала я.

Неожиданно незнакомка притронулась ледяной ладонью к моему лбу.

– Вокруг неё танцуют. Ты ещё тёплая, сможешь. Но танцевать надо не глядя на чашу. Ни одного взгляда. Так, словно её нет.

Сложная задача, если ты держишь вещь в руках, рассматривая её столько времени. С этой мыслью я проснулась. Как танцевать вокруг чаши и не видеть её, если она на виду, а я – не слепая? Ещё тёплая. То есть живая?.. Ум пытался найти рациональное объяснение ночному видению и нашёл. Собиратель ножей! Вспоминая наш разговор, удивилась тому, что можно назвать лишь случайным стечением обстоятельств.

– Говорят, если из чаши пророка Мухаммеда выпьют кровные враги, они непременно примирятся. Поэтому она называется чашей примирения, – сообщил собиратель ножей.

– Вы пробовали?

Незнакомец помедлил с ответом.

– Мои враги – известный политический режим и диктатура власти. С ними из чаши не выпьешь.

– Не надо о политике! Не сегодня, – хотела ответить незнакомцу, но промолчала.

Говорить о ней, значит, открыть своё сердце для боли, а мне бы унять свою боль, обострившуюся снова.

...Меня всегда удивляли люди, рассуждавшие о политике, как о некоем абстрактном понятии, словно это что-то вроде суахили для ещё не родившихся инопланетян. Для меня она была живой, многоликой, безжалостной, а разговоры о диктатуре власти вызывали ощущение холодной бездны, разверзшейся внутри меня. Иногда бездна была почти неощутимой, но даже в периоды мнимого покоя я знала – в медленном вращении её воронки нет ничего, что способно остановить холод от соприкосновения с памятью предков, обращавшихся ко мне из темноты моего подсознания, заполнявших мои сны и предчувствия своими воспоминаниями и почти угасшими голосами.

– Если ты не мёртв, можешь рассказать историю своего рода... Беда в том, что многим нечего рассказывать... Если не приукрашивать. Но нет ничего правдивей голого факта.

Казалось, собиратель ножей говорил сам с собой. Он теребил бороду, взбивал её, подкручивал усы и поправлял шапочку.

– Что скажешь? – мельком глянул он на меня и перевёл взгляд в сторону юной художницы.

– У любого события своя предыстория. Но со временем остаются интерпретации.

Моих ораторских способностей хватило всего на несколько фраз. Много говорить не хотелось, и сходу не рассказать о наблюдениях и мыслях, накопленных за долгие годы.

Я любила слушать рассказы о жизни. Но чем больше слушала, тем более противоречивые чувства испытывала – рассказы разные, но похожи. Люди задаются одинаковыми вопросами, болеют, страдают, боятся смерти, говорят о мечтах, намерениях, прошлом и будущем. Чаще всего – ежедневная говорильня о еде, заботах и деньгах. О страсти и любви.

Обыденная реальность казалась мне проходной, похожей на карандашные наброски. Другое дело – истории рода, где зачастую даже самый скромный по своим достижениям человек обретал вес в связке со своими предками, прошедшими через трагические события, значимые для страны и народа. Когда давние времена и судьбы отражаются в современных людях и событиях, происходят странные метаморфозы – разрозненные, будничные наброски выстраиваются в причудливые, осмысленные сюжеты. Но где осуществляется эта алхимическая реакция и возникает иллюзия золота? Где крепнет тесная связь между духами предков и единым духом, объединяющим все времена от самого первого впечатления пращура до мимолётной мысли современника? – В человеческом, творческом уме, порой жаждущем развёрнутого полнокровного сюжета больше, чем самой жизни. Но сколько реальных семей навсегда спинуло, не оставив после себя маломальской летописи... Сколько их по сей день в забвении...



– К чёрту солнце и облака! – кричала юная художница в телефон. – Вокруг жизнь, а я занимаюсь тупым малеванием.

Мой собеседник резко поднялся с топчана и направился к ней. Он что-то сказал девушке и вытащил деньги из кармана пальто. Она посмотрела на незнакомца сначала с изумлением, потом с радостной улыбкой и отдала ему незаконченную картину, не взяв денег. Художница ушла, а собиратель ножей снова уселся рядом со мной.

– Этой красоте и человека не надо, – рассматривая картину, пробормотал он. – Девочка хорошо нарисовала солнечный свет... Я добавил бы тень художницы... Ты вписала бы сюда что-то?

Я взглянула на картину. Кроме пустынного берега, солнечного круга и редких облаков на ней ничего не было.

– Кого-то... Мою бабушку Нину, мамину маму... когда она была маленькой...

– Почему её?

– В её семье было двенадцать детей... Жили бедно. Спасала кормилица – корова. За неё отца и раскулачили. «Добрые люди» наступали, что семья живёт богато... До самой смерти бабушка помнила то тёплое, солнечное утро... и облака, похожие на паутинки. Она глядела вслед уезжающим подводам. На одной из них сидел её отец, на других – такие же, как он, «кулаки»... Она не знала, что видит их в последний раз, лишь глядела, как они растворяются в солнечном свете... Вскоре умерла мама, детишек раздали родственникам...

– Дети выжили?

– Большинство умерло голодной смертью... Очередные «добрые люди», ссылаясь на политику государства, вывезли все запасы зерна из сёл... Много селян полегло. Из двенадцати братьев и сестёр выжили четверо... Трое самых старших и Нина...

Старик тяжело вздохнул.

– Мне было около четырёх лет, когда я предал друга. Он взял нож из дома, семейную реликвию, чтобы показать мне. Взял на время, потому что знал о моём интересе к старинному оружию. А я... сильно позавидовал и... сообщил его деду... Настучал, что его внук взял нож без спроса... Узнав о моём поступке, мой дед несколько дней не разговаривал со мной, потом посадил перед собой и сказал всего одну фразу: «Аслан, за своё зло лишь человек в ответе...». Позже я понял – в каждом человеке глубоко сидит зло, а доброта, как и сострадание, – великий талант, не у всех есть... Но вот что... с тех пор, как я предал друга, нахожу ножи. Кухонные и перочинные. Бывает, нахожу там, где, казалось, не ступала нога человека... У меня их сто шестьдесят один...

3.

...Чем измеряется время, когда наступивший день уходит из-под ног?

Иногда слова выстраиваются парадоксально. Кажется, что-то в них неправильно сложилось, должно быть иначе. Но когда внезапно приходит тот день, понимаешь – он наступил. Есть почва под ногами и тикающий звук часов, но ты, словно в безвременье, завис на невидимой дыбе. Его не спутать с другими днями, и нет ему отмены. Надо пережить... Помню, в детстве услышала причудливую фразу «где мера, там и вера». Крутилась она в голове недолго, казалась непонятной, крутилась и заснула. Но когда наступил тот день, она проснулась.

– Ты верь во что-то своё. Или придумай. Но там обязательно должна быть красота. Помнишь, она спасает? – сын глядел на меня откуда-то издалека и улыбался.

Сон прервался, осталось ощущение присутствия сына и мысли о красоте. Но в чём она, если даже в самом мирном пейзаже всегда скрыта угроза для какого-нибудь существа. Пищевая цепочка – неотъемлемая часть жизни. Всегда кто-то ест кого-то на красивом фоне парка, леса, морского берега. В борьбе за существование больше уродства, чем великолепия. Красота природы запечатлевается в человеческом уме лишь в момент безопасного созерцания. Но если и существует красота, не замутнённая страхом смерти, то она призрачная, искусственная. Она – иная мерность бытия, вечность нашего сознания. Красота духа, проявленная вопреки действительности, идущая через века, иногда глядящая с полотен художников, будоражащая сердце музыкальными композициями, воодушевляющая и возвеличивающая литературных героев.

– Давным-давно я находился при смерти. Врач рассказал мне историю Анри Матисса. Однажды тот оказался в больнице с приступом аппендицита. После операции его мать принесла принадлежности для рисования, чтобы чем-то занять своего Анри. Тогда он впервые попробовал рисовать... Врач и мне

принёс карандаши и бумагу... Но я боялся рисовать людей... Рисовал орнаменты, узоры. Они казались мне по-настоящему красивыми... Врач дядя Миша... Михаил Львович... Он был добрым... Из репрессированных, – Аслан негромко рассказывал о себе, но будто заглядывал в мою душу.

*

- Сашка, налей воды, – в дом зашёл мужчина в военной форме.
- Не Сашка я. Моё имя – Аслан, – в который раз повторил мальчик.
- Имя непростое... Ты на сынка моего похож... На Сашку. Ему тоже пятый годок пошёл...

Он не мог вспомнить имени военного, жившего несколько месяцев в их доме. Дед говорил, что постоялец служит в НКВД. Но Аслан на всю жизнь запомнил резкий запах табака, которым насквозь пропитался мужчина, и его глаза – яркие, похожие на весеннее небо.

Деда звали Зока, маму – Айна, имя отца он забыл. В памяти остались слова мамы «отец воюет, но обязательно вернётся...». Когда закончилось детство Аслана? Когда на его глазах убили деда, за то, что тот не хотел покидать родную землю. Вскоре в холодном вагоне умерла мама. Её тело вынесли на неизвестной железнодорожной станции и положили в снег рядом с телами других умерших. Похоронить мёртвых не позволили. Сколько длилась дорога, он не помнил, от всего пережитого у него начался сильный жар. Очнулся в больнице, после выздоровления его отправили в детский дом. Так маленький чеченец Аслан оказался в Казахстане. Когда спросили, как его фамилия, он запутался – Вахаев или Вайнахов. Слишком строгими были вокруг взрослые, слишком чужими. С мальчиком долго не церемонились – придумали другую фамилию, заодно сменили имя и отчество. По иронии судьбы теперь его звали Александром.

Со временем счастливое прошлое виделось ему коротким сном. Но оставались отрывистые воспоминания и несколько важных жизненных правил, которые он старался выполнять. Дед учил его быть аккуратным в одежде и всегда поддерживать чистоту тела.

– Не смейся без причины и не повышай голос... Если ты остался один в комнате, не делай того, чего не делаешь при людях. Не забывай, Аллах всегда наблюдает за человеком, – говорил Зока.

Аслан помнил своё настоящее имя, несмотря на то, что теперь все звали его Сашкой. Имя было его защитой от ошеломившей реальности. Когда кто-то из воспитателей и учителей окликал его, он не реагировал или представлялся Асланом, словно бросал вызов самой системе, навязавшей ему чуждую действительность. Нередко за это били – старшие ребята, тоже сироты, не из депортированных. Позже он понял – они били не потому, что им было важно, как его зовут, просто они нашли повод, чтобы бить. Он никогда не жаловался, но ещё не мог дать достойный отпор. Аслану было девять лет, когда четверо подростков избили его до полусмерти. Спас мальчика сторож. Когда-то Павел Курьянович или попросту Курьяныч, работал в кузне, но даже в старости был широкоплечим и отличался крепкими кулаками. Старик раскидал пацанов, как полешки, а после поднял Аслана с земли и, забыв про возраст, побежал со всех ног в больницу...

*

– Насколько реальны незнакомцы из наших снов? Что думаешь? – Аслан разглядывал картину юной художницы и вдруг, вытащив из кармана карандаш, быстро нарисовал очертания девушки.

– Когда бабушка Нина была совсем юной, она увидела во сне высокого незнакомого мужчину в военной форме и танкистском шлеме... Он подошёл к колодцу и попросил у неё воды. Она запомнила его лицо. Позже, лет через десять, всё так и произошло. Высокий танкист, тот самый – из давнего сна, попросил у неё воды, когда она стояла с ведром возле колодца... Так моя бабушка познакомилась с Константином, моим дедом.

– Похожая история... Я тоже сначала во сне увидел её... Веронику...

4.

...Это было взрослое чувство. Он видел себя в зеркале – бородатым, крепким мужчиной. Рядом с ним стояла молодая женщина с волосами угольного цвета и тёмными глазами. Она улыбалась ему. Аслан знал наверняка – он любит её всей душой. Давно любит. Всегда...

– Нарисуй её, – убеждал врач. – Наверное, тебе мама приснилась...



– Не мама... Моя жена, – сердился Аслан.

Рисовать незнакомку он не стал, лишь изобразил узор её кружевного платка.

С тех пор как у него появились взрослые друзья – врач дядя Миша и сторож Курьяныч, – он повеселел. Аслан частенько бегал в больницу, чтобы показать дяде Мише новые рисунки. Врач убеждал его писать портреты, но Аслан не соглашался. Он был уверен, что нельзя изображать лица, особенно глаза, но пробовал рисовать пейзажи. Однажды Курьяныч увидел один из них.

– Ишь ты подишь ты. Откуда срисовал?

– По памяти, наснилось что-то, – почему-то оробел Аслан.

– Похоже на Учительское озеро. Неподалёку от него село, где я вырос. Моя родня из Поволжья. Переселенцы мы, – пояснил Павел Курьянович.

Старик часто рассказывал ему о своём детстве, о кузне, где работал отец, о священном озере. Он говорил, что на берегу этого озера находится могила «посланника бога» – пророка. Легенда о пророке особенно занимала воображение Аслана. Ему исполнилось шестнадцать лет, когда Курьяныч умер. За год до его смерти уехал домой дядя Миша – ему позволили вернуться к семье. Два близких человека снова исчезли из жизни Аслана, и он сбежал – на целину, чтобы заглушить боль утраты новыми впечатлениями и знакомствами. Но в мыслях он держал главную идею – найти могилу божьего посланника и помолиться возле неё о своей родине, о своей родне...

*

– Я долго скитался. Нигде не мог найти себе пристанища, но работы не боялся и больше всего мечтал стать механиком и водителем. Так оно и получилось. Пятнадцать лет ушло на осуществление мечты. Разных людей повстречал на пути. И вот что понял – все люди совершают ошибки. Но многие делают страшные вещи... Важно – смог ли человек хотя бы немного усмирить в себе зло, и насколько он способен управлять своим выбором... Часто выбор за человека делает не его разум, а характер, склонности, предрасположенность к чему-то дурному, злому... что в тысячи раз сильнее его воли... Бывает-то и воли никакой, одни дурные склонности...

Аслан рассказывал свою историю почти без эмоций, словно проговаривал самому себе что-то важное, но давно пережитое. Неподаёку резвились дети, они кормили чаек, радуясь, когда те пытались сесть им на руки и на головы. Пожилая женщина кричала на птиц, размахивая руками.

– Но есть такие, что родились без особых крайностей. Они не знают, насколько зависим бывает человек от собственных разрушительных желаний и чувств... И не могут этого знать, но осуждают... Они судят по себе и не понимают – нет их заслуги в том, что они такие. Они такими родились. Они родились, вроде, без изъяна, но... с изъяном – со склонностью к осуждению... И я был таким... Пока не встретил Веронику. Она никого не осуждала... и меня, дурака, учила пониманию...

*

...У Вероники были жгуче-чёрные глаза. Казалось, в них нет зрачков.

– Красавица, где я? Заблудился, не могу найти дорогу, – Аслан открыл настежь дверь грузовой машины, окликнув статную девушку, стоявшую на берегу озера.

Когда она оглянулась, он обомлел – та самая незнакомка из его давнего сна.

– Село Семиозёрное, а озеро – Учительское, – рассмеялась она.

Нежная, весёлая, лёгкая... Словно птичка божья. Аслан иногда называл её так. Вероника с детства была самостоятельной, но после смерти родителей и старшей сестры стала совсем взрослой. На её попечении остались двое племянников Тоня и Ванечка – дети сестры. Племяшка давно просила её съездить к священному озеру. И, наконец, уговорила. Домой Вероника вернулась с женихом. Вскоре сыграли свадьбу...

...Последующие три года стали самыми счастливыми в жизни Аслана. Тоня и Ванечка крепко привязались к нему и даже называли папой. С Вероникой было легко, она не суежилась, но всегда всё успевала. Понимающая, не раздражительная. Любая работа у неё спорилась – гору блинов испечёт играючи, дом приберёт радостно, утром с шуткой-прибауткой, к ночи – расслабленно молчаливо с шитьём и вязанием. Она была из породы людей, с которыми уютно жить. Возможно, тем, кто вечно озабочен тайнами бытия и поиском истинного смысла жизни, Вероника могла показаться лишь незаметным фоном. Но с детства ей снился сад удивительных, благоухающих цветов, и не было там горя. Вероника мечтала о простых

радостях – о мирном небе и счастье для всех. Она надеялась однажды пересечь со всей семьёй к морю и фантазировала о небольшом домике с каменными стенами, увитыми зеленью, во дворе которого найдётся место для живых цветов.

...Когда она забеременела, супруги сразу решили – будет мальчик, назовут Пётр, так звали отца Вероники. Если родится девочка, будет Айна. Но Вероника умерла во время тяжёлых родов, и сынок Петенька вместе с ней. В тот день Аслан впервые нарисовал человеческую тень и с тех пор рисует их. Они похожи на людские фигуры, но без лиц...

– У теней нет лиц, но у них тоже есть судьба... – сказал он мне и несколькими штрихами дорисовал мольберт на картине юной художницы.

5.

...Они снились мне с детства. Люди без лиц, словно живые куклы-мотанки в человеческий рост. Они входили в подъезд дома, где я жила до восьми лет, гулко топали, поднимаясь по металлической лестнице на второй этаж, беспрепятственно проникали в квартиру. Пытаясь привлечь моё внимание, они подходили ближе, настолько близко, что я чувствовала их дыхание. Это сбивало с толку. Если у них нет лиц, как они дышат? Иногда они были в армейских плащ-палатках, и тогда под капюшонами зияли чёрные провалы. Своим видом они пугали меня, и я просыпалась...

...Квартира, в которой жила моя большая семья, была достаточно просторной, с высокими потолками. Но в ней чувствовалось присутствие чего-то недоброго, зловещего. Там моя душа испытывала холод и страх, хотя квартира была тёплой, а семья – дружной. Когда-то наш дом являлся частью Каховских казарм – протяжённого П-образного комплекса воинских строений с широким внутренним двором, где проходили занятия по строевой подготовке. В дальнем углу двора находилась огромная выгребная уборная на шестьдесят четыре «места».

В начале семидесятых годов прошлого столетия казарменный комплекс оперативно переоборудовали в жилые помещения, и офицерские семьи обрели своё жилище...

– Проспект Шевченко 8б, квартира 29, – опережая маму, без запинки отвечала я, если в поликлинике или в детском саду интересовались моим адресом.

...Мне нравилось гулять во дворе. Он казался необъятным. Много деревьев и кустарников, палисадники с цветами, детская площадка, беседки, увитые диким виноградом, в одной из них отставники играли в домино. Каждое утро полная, но весьма активная тётя Женя выносила табурет из квартиры и надолго располагалась под своими окнами «на посту», внимательно разглядывая всех и каждого. Периодически к ней присоединялись другие соседки.

...До восьми лет я общалась с детьми военных, жёнами военных, родителями военных, офицерами. Они не были коренными жителями города, поэтому в те времена я не знала, что существует своеобразный одесский говор. Люди вокруг меня говорили на русском и украинском языках. Говорили о разном – бытовом, житейском, но зачастую о войне. В день Победы, после парада, наш двор заполнялся офицерами в военной форме. На их парадных мундирах сияли ордена и медали. Среди офицеров был мой дед. Я смотрела на них и не испытывала радости. Чувствовала, что они несут в себе нечто страшное, изменившее их и незримо влияющее на меня, на моё ощущение мира и жизни. Позже поняла – война прошла их сердца насквозь, именно её они несли в себе. Они не были её ревностными приверженцами и познали войну не по своей воле – по воле её адептов. Гораздо позже я написала в блокноте «...война глядит сквозь каждого, пытаясь обрести свою власть над душами; она, будто вульгарная, злобная девка, вечно больная жаждой крови, кошунница, осквернительница мира и радости, растит своих адептов в бесстыдстве и вседозволенности, необратимо извращает их своей порчей, и они стремятся к власти над людьми, пытаясь стереть их личности, чтобы бесконечно играть безликими человечками в её страшные игры...»

Эти мысли пришли вместе с войной в Украине, а в раннем детстве я боялась самолётного гула, ожидая бомбёжки, и, несмотря на буйство одесских красок и морскую благодать, ощущала мир на грани войны, и даже видела его чёрно-белым. Шло время, но всегда накануне каких-то неприятностей или страшных событий, мне снилась старая квартира в бывших Каховских казармах...



*

– После смерти Вероники и Петеньки мне не хотелось рисовать цветными карандашами. Чёрно-белые рисунки валялись по всему дому. Тоня и Ванечка боялись, что я уеду. Но я всегда помнил своё сиротское прошлое, незащищённость и растерянность... Остался жить с детьми. Иначе и не мог поступить. Несколько раз пытался встречаться с женщинами. Мужчине трудно одному ребятишек растить. Достойные, хорошие женщины, но... нелюбимые... Нелюбимую обременит такая незавидная роль. Тут и обиду недолго затаить, а то и месть... Человеку больно быть нелюбимым... Унижает... сплошь потребительство... претит мне это... Я – однолюб. Поэтому так и прожил вдовцом... Дети давно выросли, крепко стоят на ногах, у них уже свои семьи. Больше десяти лет назад все они уехали в Германию. Меня зовут...

Аслан замолчал, вытащил из кармана пальто часы с крепким металлическим ремешком, посмотрел на циферблат, потом на меня.

– Пора на автостанцию... Мне нравится Одесса. Иногда приезжаю сюда весной... Люблю весенний город... Раньше в отпуск приезжал, сейчас на пенсии. Когда-то квартиру снимал на проспекте Шевченко, напротив бывших казарм. Несколько раз в том дворе ножи находил... Сейчас проездом здесь... – Аслан улыбнулся, поднявшись с топчана и размяв ноги.

– Как знать, может, я за этим приехал, – кивнул он на картину юной художницы. – Пришло время научиться рисовать красками. Напишу цветочный сад из сна Вероники... Сколько раз она рассказывала о нём... Нарисую много цветов, птиц и... Веронику с Петенькой... Пришло время...

6.

...Время разденет голых до костей, утишит гордых...

Привычное понятие – время. Малый ребёнок не думает о нём, но иногда слышит его зов совсем рядом, не ведая, что звук идёт от самых близких людей. Он не знает, что время давно гнездится в родителях, бабушках, дедушках. Однажды малыш непременно услышит фразу, вроде этой: «поспеши, иначе не успеешь...» и... учится спешить, и растит в себе прочные ветви для обязательного гнездовья времени.

Когда я была маленькой, услышала от очень набожной деревенской старушки рассказ о Святой Троице и каких-то важных временах. Но у меня в голове всё выстроилось по-своему: Отец отвечает за прошлое время, Сын – за настоящее, Святой Дух – за будущее. Мама – всегда рядом, во всём, с вечной любовью и заботой... Бабушка Маша долго смеялась над моей интерпретацией времени и святых понятий.

– Живи не спеши, – поучала она меня. – Иначе ничего не сможешь сделать добросовестно. Будешь метаться, пытаться всё успеть, хвататься за несколько дел одновременно. Но всё успеть невозможно...

Аслан говорил о ловушке времени:

– Люди рождаются на Земле и уже в его ловушке. Бегают, шумят, пытаются в ней выжить и одновременно выбраться из неё. В постоянной суете накапливается хаос...

...Больше двух месяцев прошло с момента встречи с ним, а я до сих пор слышу эхо нашего разговора. Иногда оно встраивается в образы сна. Недавно опять приснилась старая квартира в бывших Каховских казармах. Но теперь в ней было много солнечного света. На кухне возле стола стоял улыбающийся парень с красивой чашей в руках. Он сказал, что это – чаша времени, но танцевать вокруг неё надо на совесть, так, будто времени нет. А ещё он представился: Мельхиседек...

...Имена крутятся в памяти незаметно, но вдруг в ответ на мимолётное впечатление, выплывают, словно из небытия, встраиваются в рисунок событий.

– Каждый из нас контролирует хаос своими ритуалами. Человек – вместительница мифов, а в них – множество имён... Поэтому ритуалы обязательно найдутся. Это как цвет... выбираешь палитру и рисуешь свою молитву.

Так рассуждал Аслан.

Моя молитва всегда была разноцветной, в ней фиолетовый космос расцветал оранжевым и пурпурным, непременно бирюзовым, иногда лиловым, почти без чёрного. Но слова надежды – белые, с нежным отблеском утренней зари...

*

...Несколько недель назад случайно увидела в интернете работу неизвестной художницы. Меня удивили сочетание красок и сюжет. Удивили не потому, что в них было что-то совсем необычное. Картина показалась мне приветом от Вселенной – в ответ на мои мысли, связанные с недавним знакомством. Сознавшись с художницей, я спросила – почему она нарисовала фигуру цветочницы без лица. Амина рассказала небольшую историю: шла мимо цветочного базара, увидела уставшую женщину, сидящую возле корзины с ромашками, и подумала: «Сколько раз мы проходим мимо людей, несущих миру красоту, и не видим их, не знаем их лиц...». Девушка рассказала и о себе – заканчивает аспирантуру на кафедре фортепиано в Одесской консерватории. Она – пианист, репертуар классический. Амина рисует давно и когда-то училась в художественном училище.

– Была слишком привязана к своим работам. Недавно решила избавляться от чрезмерной заикленности на прошлом...

Я купила у Амины картину. Вечером слушала «Колыбельную для ангела» Фредерика Шопена, смотрела на безликую цветочницу и думала о Веронике. Нарисовал Аслан сад её мечты? Помню, когда он говорил о своём желании написать цветочный сад и Веронику с Петенькой, я поинтересовалась, нарисует ли он их лица. Он ответил:

– Нет. Их лица знает лишь Аллах и... моё сердце.

«КВАНТОВАЯ ЛИРИКА»

Новое крымское поэтическое трио с необычным названием с успехом проводит свои театрализованные концерты-перформансы на культурных площадках Крыма. Создатели и участники действия – известные крымские поэты Марина Матвеева (ЮРСП), Ариолла Милодан и Даниэль Бронтэ. В номере мы знакомим читателя с коллективной подборкой поэтического трио.

В рамках театрализованной поэтической программы «Квантовая лирика» представлены три, на первый взгляд, разных вида поэзии.

Стихи **Марины Матвеевой** (уже хорошо знакомой читателям «ЮС» – ред.) – это, так сказать, поэзия «Из» – исторгнутая из имманентных глубин души живая энергия, которая, постепенно накапливаясь, разражается «Большим взрывом», из него рождается новая Вселенная, отличающаяся от той, в которой мы все живём: «Перед ним расстиралась величественная космическая панорама. Запределье, или же Междумирье, не было абсолютно чёрным: темноту расцветивали малиновые, синие, зелёные и другие невероятные цвета галактик и туманностей. Огромная комета пролетела буквально перед его глазами, едва не зацепив хвостом, ярким и узорчатым, будто у райской птицы. В центре светили гигантские звёзды-сёстры: оливково-золотистая Нортэм, от света которой почти сразу разболелись глаза, и серебристо-белая Ра, завораживающая своим холодным сиянием»*.

Стихи **Ариоллы Милодан** – это поэзия «В» – бурлящий в глубинах души водоворот живых красок, некоторые из которых необычайно яркие, а некоторые лишь набирают силу, стремясь вырваться наружу, расцветить окружающий мир: «Языки пламени доставали до самого неба, со всей своей древней силой тянулись к оливковым закатным облакам, будто приглашая на какой-то таинственный танец восходящую Ра – эту гигантскую луну Круга Миров. Сочетание ярко-оранжевого пламени, темнеющего зеленовато-синего неба и серебристой ночной звезды поразило его, заставив застыть на месте и затанцевать дыхание».

Стихи **Даниэль Бронтэ** – это поэзия «Вокруг». Как говорится, «моя поэзия – моя крепость». Она напоминает замок Нойшвайнштайн или замок леди Алисы де Уиндем из моей книги, несмотря на монументальный внешний вид, он по-своему уютен и хорошо защищает от боли и невзгод: «Наконец они подошли к замку, который своими очертаниями напоминал гигантское сказочное чудовище, прямо во сне превращённое в камень. Полуразрушенная восточная башня была мягко подсвечена кремевым облаком – единственным контрастным пятном в раскалённой синеве летнего неба. От такого соседства с живой и вечно обновляющейся природой стены башни казались ещё более суровыми и древними. Но, с другой стороны, как иначе может выглядеть тёмно-зелёный камень, поседевший от пыли и времени? Справа и слева от главных ворот с высоты на него глядели огромные каменные статуи в виде птиц с львиными туловищами. Голова одной из них была наполовину разбита, а у другой отсутствовало крыло»... «Зал, в котором проходила их трапеза, был освещён ровным, чуть голубоватым светом. Но он шёл не из витражных окон, выходявших во внутренний двор замка. В ясный день оливково-золотистый свет Нортэм, проходя через них, наверняка рассыпался по полу пригоршнями разноцветных “зайчиков”. Но сегодня этому помешали облака, пригнанные с той стороны залива».

То есть, на первый взгляд, разные виды поэзии авторов творческого трио «Квантовая лирика» объединяются одним качеством: «внеземностью» выражаемых ими чувств и мыслей.

Юлия Мельник

* В рецензии использованы цитаты из книги «Двадцатый знак Сайманского мага».

МАРИНА МАТВЕЕВА

Симферополь

ПРИНЦИП ЖЕРТВ

Самый край – и зачем ты ко мне?
Попатнулась... и кто ты, задевший?
Мир, как хлыст, надо мною взлетевший...
Ни опоры, ни воздуха нет...

И ни воздуха, воздуха нет!!!
Астматический бал. Белый танец.
Ох, и вьётся же этот поганец,
наступая на легкие мне!

Притяже... При-тя-же... (принцип жертв)
У Земли его много. И птица,
если с жизнью решит распространиться,
тоже F приравняет к mg.

...Вот и всё. Не отдышишься уж.
Не отдышишься, уж. И зачем ты
с камня прыгнул? Ведь знал, что ничем-то
ты летально-падучих не хуж.

Мне себя собирать – не внове,
Я что ваза: осколки – не горе.
Я-то амфора – склеит историк,
и прославленным сделаю век.

Только мне с каждым разом страшней
приближаться к земле с ускореньем,
будто в спринтерском беге на время
против воздуха.
...воздуха нет...

Хочешь, я душу твою до себя дотяну?
Или вообще до Небес? Впрочем, это игра.
Если твою же беду тебе ставят в вину,
се означает, что в чем-то ты всё же не прав.

Души бывают похожими на искосок
от человеческих протонов, амперов и ватт.
Хочешь, беду твою я заключу под замок,
чтобы ты больше не думал, что ты виноват?



Нежность распластана в Боге и кажется ей:
мы рождены, чтобы внять и остаться вне вин,
тех, в коих истина, тех, в коих шорох-хорей
Салафиловых крыл в сонме ангельских спин –

да, отвернулись от нас, ибо беды легки, –
значит, виновны. Роскошен твой маленький яд:
что же ты горе своё заключаешь в стихи,
где виновата душа твоя, если не я?

Хочешь, ты станешь единственным тем, для кого
я искупаюсь в вине, как гетеры царей?
Хочешь, возьму твои муки, как громоотвод,
хочешь, верну тебе ангельский шорох-хорей?

Просят: грустны твои строки, что сердце болит, –
сделай светлее хотя бы на пару свечей...
...Стану грустить за тебя – и сорвётся болид
света из глаз твоих, мир захлебнется в луче

ваттовом... Будет ещё один над-искосок.
Под – человек. Нет, растерянный ангел стоит.
Будь же виновен – тогда лишь узнаешь, что Бог
так же виновен в размашистых бедах Своих.

Это было как Божья слеза,
так случайно прожётшая крышу...
У неё говорили глаза,
только мир глухоглазый не слышал.

Это было в эпоху поющих машин,
говорящих собак из цветного металла,
это было в эпоху бесполох мужчин,
перетянутого на себя одеяла.

Это было как страшная месть –
а душа – что застенки ГУЛАГа –
это было как чертова безд...
на вершину взнесённая флагом,

чей носитель погиб на обратном пути
под тяжёлою душно-холодной лавиной,
чей Спаситель, распятый на чьей-то груди,
на Голгофу такую явился с повинной.

У неё было сердце иглы,
что ко смерти приводит, ломаясь,
даже самых бессмертных. Белы
были зубы Вселенной... Не каясь,



у неё говорили глаза, и о том,
для чего даже Бог не придумал бы кары
в Судный день. Только мир оставлял на потом
все её марианские мыслекосмары,

что умела она прозревать,
но сказать не умела ни строчки,
ибо Небо не смело создать
для того звуковой оболочки,

да и смыслов таких. ...и кричали зрачки,
умирая от голода в пиршестве трепа...
Это было в эпоху Закрытий, таких,
что Великими станут на карте Европы –

Евротрон, что скоро с ума
и с души соверзится в тартары.
А Кассандра... Кассандра – нема.
Да и Гекторы искренне стары

для того, чтоб спасти полувымерший дом,
для того, чтобы крыс выгонять из подвала.
...Это было в эпоху пустых хромосом,
перетянутого на себя одеяла...

РОСЯНКА

Бессильная встреча. И жарно, и стужно...
И Млечных путей разлетается рой...
Она была хищным цветком Кали-южным,
а он – из Двапары наивный герой.
У «лилии» этой – полсердца на свалке,
другой половине – куски выгрызть
у тех, кто умеет любить из-под палки,
под дулом – и только. ...Какие глаза!..
Увидела в фильме – и сразу за книгу:
а что это было? Ползи, партизан,
по строкам «писаний» к саднящему сдвигу:
плевать на идеи! ... Какие глаза!..
Их боль – как твоя. О тебе и с тобою.
Уйти переносом из слова «шпиза»
на новую строчку – да к новому бою
за что-то живое... Какие глаза!..
Не варится кашка («за маму», «за папу»),
борщ переассолен – привет, паруса!
За жизнь поднебесью давая на лапу,
швырни её кошкам... Какие глаза!..
Из комнаты выйдешь – ипритовый Бродский.
Умеешь на газ – проверь тормоза.
...Свирепое мышкинство по-идиотски
всё тянет и тянет его за глаза,
сминая, ломая, почти удушая,
граня под себя – иступилась фреза...



Вселенная стонет: «Я слишком большая!
 Я вся не вмещаюсь в Какие глаза!»
 «Да что ты, Голахтего? Аль ушибилась?
 Тебе я в натуре имею сказать:
 не боги горшки обжигают – на милость
 нельзя полагаться, имея глаза!»
 Была она вечной, и главной, и нужной,
 спасительной – встреча! Живая лоза!..
 ...Ну вот, дожевала в тоске Кали-южной
 ошмётки Двапары – «Какие глаза» –
 и что теперь делать? Других-то не будет...
 Я из лесу вышел – был сильный вокзал.
 Гляжу: поднимаются медленно люди
 в небесные дебри, держась за глаза.

Память, ты, наверно, человек.
 Но не тот, который я, – другой.
 Может быть, испанец или грек,
 но совсем не девочка. Изгой,
 путешественник, бродяга, вор.
 Не ребёнок, но и не старик.
 Он зачем-то драит коридор –
 совершенно чистый. Из вериг
 у него кроссовки. Каждый шаг –
 будто семимильный миллиметр.
 А за ним бредёт его ишак:
 каждый взгляд – икоситетраэдр,
 каждый волос – жёсткая броня,
 каждая молекула – дождит.
 Этот человек убьёт меня
 снова – и за всё себя простит.
 Этот человек сегодня зол.
 Вспоминает маму – не свою.
 Старого любовника – ушёл
 десять лет назад. Да не на йух.
 Прежнего начальника – орал
 ни за что... Пятнадцать лет назад.
 Этот человек сегодня прав.
 Никогда-то будет виноват.
 Этот человек сегодня смел:
 всем своим врагам даёт звезды.
 Нежно складывает груду тел
 возле Герклитовой воды.
 А речушка знай себе течёт...
 В ней резвится молодой кайман.
 Память, распиши ему в отчёт
 всю некалорийность старых ран.
 Всю тоску, готовую рожать
 от бесплодности. Делить на ноль
 против шерсти каменных ежат.
 Против воли – каменную соль.

Против солнца – теневых калек
заставлять кривляться на стене.
Память – это мёртвый человек,
и в раю скучающий по мне.

ОТДОХНОВЕНИЕ ВОИНА СВЕТА

Драгоценный... Нет, уже бесценный.
Дивный ангел, охранитель мой...
Я не знаю, как мне со Вселенной,
но сейчас идём ко мне домой.

И сегодня мы накроем столик,
маленький, похожий на мольберт.
Каждый светлый – в малом алкоголик:
беззащитен перед миром свет.

У него есть тонкие причины
ненавидеть тёмное вокруг,
но сама-то ненависть – лучина,
что чадит внутри него. И стук

сердца, перемученного в совесть,
не даёт ему понять вполне,
что есть то, чего он хочет? Что есть
то, чему он твердо скажет «нет»?

Для него забвение – удача,
чистый случай, выигрыш в лото,
по ошибке выданная сдача,
большая, чем надо, на чуток.

Для него принятие решения
о «забыться» – хуже, чем во тьму.
Самое святое прегрешенье...
Я его не знаю, почему.

В том ли, что не «смиляются» пленом,
каторгой, тюрьмою ли наспех
в той единственной и преткновенной
смертной казни, что одна на всех?

В том ли, что бывает непростое:
что она светлей, чем плен-тюрьма.
...Сколь же проще написать: «святое» –
вместо «восхождение с ума»...

Из чела по темени к затылку
ходят мысли, живечину ткут...
Мы откроем малую бутылку
и с тобою выпьем по глотку.



Шоколадкой малою из странствий
возвратим себя на наш мольберт.
Я не знаю, где я в нуль-пространстве,
но сегодня я хочу в тебе.

R&K

Святыни, артобъекты, атавизмы...
Сегодня – до. А завтра – после ля.
Не приближайся к истине «отчизны»,
которая не весит ни рубля.
И эта мощь, похожая на рифы,
а вовсе не на парусник давно, –
«Ваще уже...» – взведённая на рифмы –
музейный пень, скамья, веретено.
И бабушка. Отставшая от жизни,
как птерозавр от боинга. В крови
её толкуют страсти по Отчизне,
по прежней – бес-со-мнение-вой – любви:
и к этой светлой, ясно-серой тётке
с серпом и выражением лица,
и к этой стоятьсотохвостой плётке,
и быть живым – и только! – до конца,
и к этой беззаветности, которой
стальнее нынче разве что трамвай...
...взлетающий меж бронзовых повторов
по небесам: «Коси!» – и – «Забивай!» –
туда, где свет. И дедушка. И Ленин.
Сидяше одесную от Отца,
дивяшеса на «новый поколений»,
живущий на коленях – у лица.
...Рывок! Борьба!.. и ветер треплет фартук...
Зачем стоите? Падайте с молитв.
Артритные объекты, артефакты.
И каменная задница болит.

Я хочу с тобою, милый, быть сегодня одинокой.
Не подглядывать в компьютер за Большой Литературой.
У неё сегодня спячка, у неё болеют ноги,
у неё на лбу горчичник, а в глазах блестит микстура.
Мы её напоим чаем с разюли моя малиной,
мы расскажем ей про репку по Пелевину и Кафке.
Пусть приснится ей кораблик — за кормою длинный-длинный
белый след и две акулы кувыркаются на травке.

А потом её закроем в тихой комнате над миром
и усядемся на койке говорить о чём-то глупом,
например, про тётю Иру, что вчера кушила сыру,
но состав на этикетке прочитала лишь под лупой.



Посмеёмся, канем в Лету, изойдёмся на лохмотья,
а потом опять сойдёмся в тектоническую слабость...

Это заходило лето попросить у лупы тётю.

...Тише!
В комнате над миром...
«Ма-ма-ма!...»
Моя ты плакоть!..

АРИОЛЛА МИЛОДАН

Симферополь

ФИЛОСОФСКИЕ РАЗДУМЬЯ О МНОЖЕСТВАХ МАНДЕЛЬБРОТА

Ветреной осени рыжей фрактальностью
Выстелен путь от меня и до прошлого.
Веток обугленных строгой детальностью
Вычерчен вечер... Сырой и взерошенный.
Осень, скажи мне, а правда ли, надо ли
Так бесноваться, единственность празднуня? –
Множества полнились, множества падали,
Множества царствуют... Броские, разные.
Множества луж. Антрацитные, рыжие,
Серые с синью и с проседью, кажется...
Кажется, улицы лужами выжжены –
Осень опять с Мандельбротом куражится.
Множества листьев. Пурпурные, жёлтые,
Яркие с хрустом и блеклые с шорохом...
Капли развеяны, грани расколоты –
По ветру – каплями, по ноги – ворохом.
Множества нас... Захлебнулись подобием! –
И повторяем их пляски! – Но подле них
Мы – только копии, копии, копии...
В прошлом, быть может, имевшие подлинник.
Осень безумна, правдива и образна
Листьями, синью, фракталами, временем...
Взглядом из прошлого, осень, ты можешь знать,
Что делать нам, единицам потерянным?
Станут ли лужи и листья ответами?
Будут ли правдою? Примем ли это мы?
Звонко мурчит, не терзаясь вопросами,
Рыжая кошка... Она не из осени.

Белый – это всего лишь сгущенный чёрный.
Знаешь, а я ведь так и живу:
Всеми бы тропами – только не торной!
Всеми бы мифами – да наяву!



Всеми бы песнями – да так, чтоб сердце навывлет!..
 Но мелодия – комом в горле, а слова – на губах песок...
 А кто увидит, услышит – разве осилит
 Этот дикий, въедающийся в висок,
 Смысл? Жизни ли? Смысл. Речи ли?
 Привкус мяса и крови, звук рвущихся жил,
 Терпкий запах земли... Похоже, мною перечили
 То ли демоны – Богу, то ли ангелы...
 Потому что – свет! Потому что – тепло!
 Хоть под ногами пожарища...
 И из самого горя, из самой беды – в любовь.
 А небо – в сердце, небо – в товарищи...
 Так невозможно. Но так уж легло...
 Как волны у берегов...
 И ни при чём откровения. Впрочем, захочешь – вот оно.
 Первой строчкой вроде даже обещано:
 Я – всего лишь помесь божества и животного...
 И это чаще всего называют – «женщина».

ПОСВЯЩЕНИЕ ВАШЕМУ КОФЕ

Я читала Ваш кофе, как сборник сентенций о разном...
 Он вмещался в ладонь и вмещал бесконечность загадок.
 Чуть саднящая горечь его, как случайная фраза,
 Парадоксом ложилась в сознание: кофе был сладок.
 Я касалась губами прохладного края, как грани
 Между мною и Африкой или... иным континентом...
 Словно древняя книга мистических иносказаний,
 Кофе медлил с ответами, стыл, наслаждаясь моментом.
 Было там и о Вас: почему-то Вы были неявны,
 Словно минное поле. Но я Вас откуда-то знала!
 Кофе делал намёки, а впрочем – ни слова о главном,
 Как всегда... Как всегда, но и этого было немало.
 Я мечтала всё это почувствовать: кофе и книги,
 И иные слова, и иные Вселенные, ибо
 Миг, не пойманный сердцем, как ветер, как лунные блики,
 Убегает в ничто... Изумительный кофе. Спасибо.

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ

Казалось, мне довольно и малости перемен.
 Казалось, время вовек не выйдет из этих стен.
 Но выцветают чернила в формулах, блекнет их голубой меандр.
 Я повторяю: «Ом, во-вре-мя!» – на манер индуистских мантр...
 Сама не верю. Но чтобы последнее не потерять,
 Мне нужно что-нибудь делать и что-нибудь повторять.
 Всё так внезапно случилось, всё завершилось вдруг.
 Но «вдруг» – какое-то слово неправильное, как испуг...
 А я ж всего ожидаю, значит, мне всё – не вдруг?
 Хожу, продумываю, вспоминаю:
 «Вот там исправить!», – листок хватаю...
 И это – круг.



Пустая, гулкая комната, посередине стул.
 Я заворачиваюсь во время, как в саван... Или фату...
 Смотрю, как нервно моль трепещет у потолка,
 И вечность в точке «сейчас» разрывает на два куска
 Порывом ветра, вносящего дух дождя...
 И моль сквозь этот разрыв существует, не проходя...
 А что же я? – Мебель жмётся в углах, и потолки белы.
 Мой бег мимо времени застывает каплей смолы,
 Я вязну в нём пресловутой мухою в янтаре
 И понимаю, что мне себя беспамятством не стереть.
 Но истекает время, и мир проваливается в ночь.
 Я обращаюсь к памяти. Чтоб хоть чем-то ещё помочь...
 Пиши мне, друг мой, пиши, как в прошлом,
 Не важно – цифры или слова.
 Я не скажу ни о чём хорошем,
 Вот, разве что: «Я ещё жива».
 Я отвечаю, увы, нечасто, но от души.
 А потому сейчас умоляю тебя: пиши!
 Мне нужен повод... Ты знаешь, как оно, знаешь ведь,
 Как выливается мысль в слова, обретая твердь,
 И от стихов становится больно, и жжёт внутри.
 (От формул так не бывает, что там не говори...)
 И не хватает уже ни голоса, ни чернил,
 И надо, чтоб кто-нибудь написал,
 В крайнем случае, позвонил.
 И эта правда – правда со всех сторон.
 И шум в ушах – словно плещет веслом Харон.
 Но глохнет плеск, и за мной только двери на этот раз.
 Всё завершилось и обнажилось, будто камни в отливный час, –
 Ни волн, ни ряби. И время идёт по камням, отбросив
 И полутени, и полумеры, и полуправды, и прочую дребедень...
 Что хочешь, думай об этом прошлом.
 Но, как писал вдохновенный Иосиф, –
 «Сохрани мою тень».

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА

Где ты, душа моя? Ветром мой край разъят.
 Ветрено, ветрено – горы в ветру стоят.
 В соснах заветренных новый порыв могуч.
 Ветрено, ветрено у побелелых круч.
 Скалы обветрены, выдуты добела –
 Ветрено, ветрено. У горизонта мгла.
 Ветер неистовый, чистый, почти не груб.
 Ветрено, ветрено – звуки срывает с губ.
 В небо взвивается, воеет он и зовёт
 Ветрено, ветрено – листья горстями рвёт.
 Вверх – фейерверками! Вниз – по листве туше...
 Ветрено! Как же блаженно моей душе!



ДАНИЭЛЬ БРОНТЭ

Симферополь

Я цветок, что растёт в одинокой долине,
Орошённый слезами и силой ветров,
Улыбаясь печально, я здесь и поныне
Нахожу для себя и проклятье и кров.

Может, вытопчет скот стебелёк мой зелёный,
Я поникну, но снова весной расцвету.
Может, высохну, зноем дневным опалённый,
Но разрушить не сможет никто красоту.

Может, снова сорвут меня ради забавы,
Может, выбросят позже, от дома вдали.
Снова вырасту я, где колышутся травы,
Ибо силой питаюсь из лона земли.

Месяц лунный споёт мне ночную сонату,
Когда сплю я, сомкнувши свои лепестки,
Где остался лишь след чьей-то красной помады,
Когда губы прильнули ко мне от тоски.

Я отрада для глаз, в грусти я утешенье,
Я цветок, что растёт в одинокой тиши,
Я предмет обожания и вдохновенья
Для такой же печально-прекрасной души.

Осень печально в вальсе кружится,
Люди прошли, не заметив друг друга.
Слог мой минором на песню ложится,
И Меланхолия стала подругой...

Люди, как листья, живут, увядая...
Серое небо запутало краски.
В пустой суете люди век доживают,
Их лица скрывают банальные маски.

Лужи все в золоте, осени драма
Душу печалью наполнит глубокой.
С красным зонтом одинокая дама
Спешит, позабыв, как она одинока.

Жизнь, подожди, за тобой не угнаться!
Сменится осень зимою-подругой,
Рифмы минором на песню ложатся
Люди спешат, не заметив друг друга...



Она жила на чём-то медальоне
И молча улыбалась между строк.
Простилась на заснеженном перроне,
И упорхнула вдаль, как мотылёк.
Но здесь, на этом маленьком овале,
Она всегда была при ком-то, как тогда...
Слова и обещанья запоздали
И не вернутся больше поезда.
Зато сейчас, на этом сувенире,
Она улыбкой скрасит вечера.
В час одиночества, в тюрьме своей квартиры
Любовался ею кто-то до утра.
Она согреет нежным томным взглядом,
Пластинку старую поставит в патефон.
А ничего другого и не надо,
Лишь сжать в кулак покрепче медальон.

Жжёт холод одиноких улиц,
Пустых и тёмных, как в ноябрьскую слякоть.
Жизнь прекрасна... Книги обманули.
Падать, оступаться, снова падать.

Не зажжёт никто тебе огня лучину,
Ты один в пустом холодном мире.
И фонарь погаснет без причины,
Растворяясь в радужном эфире.

Ты пройдёшь, укутываясь зябко
Тяжким грузом разочарований
Годов прожитых и в шахматном порядке
Выстроится крест воспоминаний.

Дует ветер, может быть с востока,
Руки стынут ото льда неласки.
И блуждает путник одиноко,
Сравнивая жизнь с нелепой сказкой.

Он бредёт по улице пустынной
В темноте холодной и недоброй.
Одиночество под маскою невинной
Проберётся в душу дикой коброй.

Год за годом, и старик, согнувшись,
Будет в темноте блуждать однажды.
И от ветра, пледом обернувшись,
Задрожит, как парусник бумажный.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

НОВАЯ ОДЕССКАЯ ПРОЗА

Десять лет назад, когда при Всемирном клубе одесситов возникла литературная студия «Зелёная лампа», мне казалось, что в городе все литераторы пишут стихи, лирические, пронические, бардовские песни...

В 2010 году вышла первая книга, изданная «Зелёной лампой». И естественно, это были стихи. Первой удостоилась чести быть изданной оказалась Алёна Щербакова. Затем в 2011 году коллективный сборник студийцев – «Сто», где были напечатаны 100 лучших на тот момент стихотворений. Такая ситуация сохранилась до 2017 года, когда впервые мы выпустили сборник прозы «Пока Бог улыбается», состоявший из 17 рассказов наших студийцев.

Стимулировали работой над прозой и проект романа-буриме «Не судите чёрных овец», осуществлённый студией совместно с редакцией «Вечерней Одессы» (роман уже издан книжкой), и конкурс короткого рассказа «192 слова», где объём текста подчинился количеству ступеней Потёмкинской лестницы.

Недавно в рамках книжного фестиваля «Зелёная волна – 2018» мы провели вечер Новой одесской прозы. В нём приняли участие семь прозаиков, но это было связано с форматом вечера, а могли бы прочитать свои произведения 15-17 авторов.

Давайте вспомним, что расцвет советской прозы двадцатых годов во многом связан с именами одесситов. Это Бабель и Олеша, Ильф и Петров, Славин и Катаев, Казачинский и Паустовский. Отсутствие издательств и журналов в Одессе заставило всех их переехать в Москву. Но и там они ощущали себя послами вольного города. А потом пауза в десятилетия. Пожалуй, лишь с появлением Аркадия Львова на карте советской прозы вновь появилась Одесса. Медленно из андерграунда пробивались тогда имена прозаиков. Ирина Ратушинская, Сергей Рядченко, Сергей Четвертков...

И вот новая волна. Им присуща постмодернистская стилистика, у них плотный текст, коллажное построение сюжета, ирония и самоирония. Но важно, что для них отсутствуют идеологические табу. У многих из них уже вышли книги – в Киеве, Одессе, Москве. Они пишут романы, но не чураются и рассказов. Им есть что сказать новому читателю.

Мне приятно представить 9 авторов – студийцев «Зелёной лампы» читателю «Южного Сияния».

Евгений Голубовский

ЯНИНА ЖЕЛТОК

ПЕРЕУЛОК СТАРОЙ СОСНЫ рассказ

Сразу скажу, что я самый хилый из всех борцов за справедливость. Я верю в судьбу, и в большинстве случаев могу объяснить, почему получилось так или иначе, и какая из этого может выйти польза всему мировому сообществу в самое ближайшее время. И всё же бывают случаи, когда даже фаталисты и пофигисты застывают в изумлении. Иногда рвут на себе волосы. Они же, правда, первыми и успокаиваются.

Раньше весь Большой Фонтан состоял из маленьких домиков, потом хозяева маленьких домиков стали продавать свои халабуды и участки вокруг них. Пришли новые люди, которые строили грандиозные виллы

на маленьких участках. Сначала они покупали приличный кусок земли, делили его на две, три, четыре части, и на каждом квадрате строили виллу. Там, где раньше был маленький домик, а вокруг большой сад с персиками, яблонями, грушами – теперь стояли четыре каменные виллы без садов и огородов. Вся земля покрыта плиточкой, вокруг высокий забор.

Переулок между улицей Костанди и улицей Баштанной состоял из совсем ветхих маленьких хаток. Их сносили по чуть-чуть, и тут же на их местах появлялись белые с красными черепичными крышами большие домищи. Ещё в переулке росла прекрасная старая сосна. Помню рядом с сосной дом, живут люди, сушится бельё на веревках. Жильцов выселили, дом снесли. На время сосна оказалась на краю пустыря, покрытого бурьяном. Потом на месте пустыря выкопали котлован.

Наша подруга художница Тая Павловская однажды вечером ехала на велосипеде забирать ребёнка с какой-то спортивной секции и чуть не свалилась в этот котлован рядом с сосной. А секцию организовали в школе для глухонемых. Там две школы рядом – одна для глухонемых, другая – музыкальная.

Сосне в переулке было, наверное, лет сто. Когда наш дедушка Женья был маленьким, сосна уже была огромной! Он сам об этом рассказывал. Женю записали в первый класс как раз в ту школу, где теперь находится музыкальная школа. После уроков первоклассник дедушка Женья залезал на сосну, и смотрел сверху на всё, что происходило во дворах маленьких домиков и в садах вокруг них.

Живописная сосна с крупными коричневыми шишками. Когда пейзаж стал стремительно меняться, с одной стороны от неё возникла вилла, чёрный забор и кованые ворота, с другой стороны – бетонный забор. Старая сосна оказалась как раз в середине тропинки между двумя заборами. Наш сын к тому моменту подрос и стал ходить в музыкальную школу по переулку Костанди, а дальше по этому проходу между двумя заборами, где росла сосна. Мы подбирали большие шишки и любовались ими. И вот однажды, когда я шла забирать его из школы, – оказалось, что сосны нет. Её спилили очень низко под корень. Ни пенёчка не осталось. Спилили на уровне земли и присыпали сверху песком, – вроде и не было здесь ничего.

Тут я почувствовала, что в мою жизнь вломилась несправедливость. Что я могу сделать? Идти жаловаться чиновникам или полицейским – смысла нет. Сосну не вернуть. Ни в каком виде. Однако вышло иначе. Весной прямо на Костанди высадили целую аллею молодых сосен. Увидев их, я утешила себя мыслью: там сосна пропала, зато тут появилось и много!

Хозяйке новой виллы не нравились сосны. Это ясно! По сосне в дом могут забраться воры. Особенно когда сосна стоит рядом с забором. Ещё ей не нравились люди, которые шныряли по тропинке мимо её нового дома. Тогда она придумала. Она поставила большие железные ворота со стороны переулка. И ещё одни ворота со стороны улицы Баштанной. Ворота с кодовыми замками. Закрыто всегда, сколько ни стучи. Музыкальная школа осталась с той стороны, мы – с этой. Теперь на занятия надо идти в обход. Проход между Костанди и Баштанной исчез.

Когда приехали телевизионщики, хозяйка виллы показала документы на всю территорию. Наши соседи собирали подписи под петицией. Её подписывали почтальоны, которые ездили раньше на своих жёлтых велосипедах по этому, не существующему теперь переулку. Глухонемые школьники и их родители, которым приходилось теперь делать большой крюк – минут тридцать точно – чтобы попасть в школу. Районные врачи – им тоже неудобно обходить. Письмо никто, наверное, не прочёл?

Скоро начался Майдан, потом было второе мая на Куликовом поле, строительство небоскрёбов в центре Одессы, новостройки на склонах у моря, в центре и на Фонтане. Большой беспредел. А начался он с нашей старой сосны.

Несправедливость не любит появляться в одиночестве. Если заметил её, надо ждать, скоро появится ещё одна или две. А то и целая стая. И вот целый город набит ею.

Переулок и сегодня закрыт. Мы по-прежнему ходим в музыкальную школу в обход. Может, и хорошо, что не по переулку – а то пришлось бы расстраиваться из-за сосны, которой уже нет.

Полчаса – хорошая прогулка. Мы не спешим. Пусть другие спешат – стоят, отгораживаются и отжимают. Мы просто гуляем, наблюдаем и запоминаем.



ЕЛЕНА АНДРЕЙЧИКОВА

ЖДИ МЕНЯ НА ПРИЧАЛЕ рассказ

От быстрого хода катера волны с шумом разбивались о его нос, превращаясь в миллиарды маленьких искрящихся брызг, похожих на мелкую рыбку – ферину. Они попадали ей на лицо, и она всё время щурилась, смущённо улыбаясь. Восемнадцать лет. Она светилась молодостью и какой-то отчаянной искренностью. Встретить бы её такую тридцать лет назад.

Безветренный денёк был создан для рыбалки. Воздух был ещё наполнен весенней свежестью, но солнечные лучи становились с каждым днем сильнее. Близкая по духу стихия манила его обещанием свободы. Только здесь он чувствовал себя по-настоящему вольным от ежедневной суеты, от будней, от собственной важности.

Белое хлопковое платье совсем промокло от брызг, чётче обрисовав хрупкую фигурку. Она встала, чтобы бросить якорь на месте их обычной стоянки. Вытянулась во весь рост, ища взглядом главный золотой купол монастыря, который должен был показаться прямо над центральной башней старого туристического пансионата на берегу. На катере был эхолот, но он им редко пользовался и научил Веронику находить проверенные рыбные места по старым приметам. Они почти не разговаривали во время рыбалки. Она понимала его с полувзгляда. Он реагировал на её полунамерение. Стоило ей поёжиться, доставал свою старую рыбацкую куртку и накидывал ей на плечи. Стоило ей замешкаться с крупной рыбой – подсаживался рядом и помогал снять с крючка слишком зубатого для её хрупких пальцев кнута.

На мгновение остановил взгляд на её узких бедрах в промокнушем платье. Вероника напомнила ему Нику Самофракийскую, на которую он таращился в Лувре добрых два часа, не в состоянии отвести глаз от мраморных складок ткани на женской, но такой же мраморной плоти. Только эта Ника была совсем другой. Не из холодного, пусть и потрясающего взгляда камня. В её венах текла кровь, её сердце стучало. Он знал, что в его присутствии оно стучит учащённо. Но никогда и вида не подавал. Никогда не прикасался к ней нежнее, не подходил ближе, чем требовала совместная рыбалка в маленьком катере.

– Ну же, что смотришь? Поддай «кошку»! Пришли на место! – она, словно читая его мысли и не желая отвлекать от них, чуть помедлила с выполнением просьбы. Иногда ему думалось, что она намного старше. Реакция на слова, на жесты. Но для него она всё равно оставалась ребёнком. Больным ребёнком.

Давно уже не молод. Женат. Взрослые дети. Он любил их. Любил свою работу. Свою устроенную жизнь. Но каждые выходные бежал в море. Один. На своём маленьком старом катерке. Рыбу дома никто не ел. Он раздавал её друзьям и знакомым. Но каждые выходные дни с апреля по ноябрь он проводил здесь, на шестнадцатой станции Большого Фонтана, в трёхстах метрах от берега, где зрительно сливаются золотой купол и центральная башня.

Сколько он навиделся за свою практику таких юных больных. С тяжёлыми болезнями и не очень, с глазами, полными надежды, а иногда уже и без. За двадцать три года работы в детском хирургическом отделении нервы превратились в сталь. Так, по крайней мере, ему самому хотелось о них думать. Он уже не плакал по ночам после смены с бесконечными urgentными случаями. Сердце не болело после каждой удачной операции. Руки не дрожали после неудачной. При виде детских страданий включалась лишённый эмоций компьютер, сосредотачиваясь только на решении новых и новых задач.

Старый друг попросил посмотреть дочь с безнадежным диагнозом. Она, как совершеннолетняя, должна была проходить лечение уже в другой больнице. Он не мог отказать. В карточке возраст Вероники записали на два года меньше, и в феврале он её прооперировал.

– Доктор, я буду жить? – огромные глаза внезапно распахнулись, заполнив комнату ультрамарином. Он зашёл в палату уточнить, пришла ли она в сознание после наркоза, а тут у самого от этого пронизательного взгляда чуть помутился рассудок. Ему было тяжело смотреть ей прямо в глаза. Операция, конечно, продлит ей жизнь, но вопрос в том, на сколько.

– Конечно, дурочка, долго-долго! Я ещё тебя на рыбалку с собой возьму! – выдал он свою обычную присказку для всех детей, лежащих в реанимации.

– Обещаете? Честно-честно? Ради этого я поправлюсь!

Наверное, он бы навсегда забыл о девушке Веронике, помолодевшей на два года на время лечения, если бы не звонок в отделение в пятницу вечером, когда старшая медсестра отпросилась на часок. Он сам поднял трубку старенького телефона в приемном отделении.

– Игорь Борисович, здравствуйте! Это я, Вероника, помните меня? Я себя отлично чувствую, спасибо! Когда мы выходим на рыбалку? Я готова! Завтра, хорошо? Вы собирались? Возьмите меня, пожалуйста! Я не буду мешать!

Она тараторила безостановочно. Ему не сильно хотелось вписывать кого-то чужого в свою обычную компанию «старик и море». Но обещание было дано. Он подумал, что мог бы её покатавать полчаса, а потом сослаться на неотложные дела и высадить на берегу.

Не вышло. Всё лето, каждые субботу и воскресенье, не созваниваясь и предварительно не договариваясь, они встречались в шесть утра на причале и уходили в море. Она оказалась хорошей рыбачкой, фартовой. Пару раз они попадали в настоящий шторм. Вероника вела себя храбро, тем самым очередной раз доказав свою неслучайность в его катере.

Обычно он не думал о ней как о женщине. Она была его дружкой, корешем, матросом. Всем, кем угодно. Такая юная, искренняя, чистая. Дочь друга. Хотя... Да что говорить, безнадежней не бывает. Если бы жена узнала о такой рыбацкой компании, наверняка обвинила бы его морской чёрт знает в чём.

Иногда под утро он видел её в своих тревожных снах. И тогда позволял себе поцеловать её загорелые плечи, прикоснуться к этим рыжим завиткам на затылке. Он гнал эти мысли прочь, как раньше гнал мысли о сострадании к больным детям. Да и на самом деле ему хватало этой морской дружбы с жизнелюбивым существом из другого мира, другой эпохи. Это было странное и удивительное лето, наполненное светом молодости и наивности, как будто он сам вернулся в своё прошлое. В свою давно пропедшую юность.

Наступила осень. Ещё несколько недель, и катер придётся поднять и законсервировать. Конец рыбалке с корешем. Ну не водить же Веронику домой по субботам и воскресеньям пить чай вместе с Любой. А так не хотелось с ней расставаться! С милой девочкой, подарившей ему тёплое лето. Он сильно к ней привык за это время. Она стала его воздухом, морским бризом, наполняющим циничную душу давно забытым светом.

Рассказать что ли ей, о чём думает иногда? Пусть сама решает. В конце концов, он не звал её в свою жизнь. Пусть принимает решение. Не маленькая уже. Не шестнадцать, как в карточке. Послезавтра, в субботу.

Погода была. Наживка была. Клёв был. А слов так и не нашлось. Вместо откровений и признаний кричал на неё всю рыбалку. Ругал за опоздание, медлительность, глупость. За «кривые девчачьи руки». Сначала она пыталась шутить. Спрашивала, кто ему так испортил настроение. Уточняла, подмигивая, Игорь ли Борисович с ней в лодке. Пыталась расколдовать поцелуем в щеку. Он не унимался. Дергался и срывался. К концу дня она расплакалась.

– Злой гнусный Айболит! Ненавижу! Я больше не приду! – крикнула она вслед, убегая с причала.

Она не пришла ни в воскресенье, ни через неделю. Он не успел ей ничего сказать. Исчезла. Поделом ему, старому пню. Он выходил на рыбалку один. Осеннее море хмурилось, и хмурился он. Улов был скудный, как-то и вовсе пришёл на берег пустой. Обычно в конце сезона он наблюдал на воде пристально за каждой мелочью, чтобы запомнить до следующей весны. А потом долгими зимними вечерами вспоминал цвет крыла баклана, кружащего над катером, вкус солёных брызг почти ледяной воды, довольные улыбки рыбаков с соседних лодок, наудивших килограммы ставриды. Но не сейчас. Рыбалку у любимого места прерывал по несколько раз на день, находя предлог вернуться к причалу. То наживка закончилась, то нож забыл, то ещё что-нибудь.

В пятницу вечером на его дежурстве в больнице было тихо, после травмоопасного лета детки вели себя тише – переломов и ушибов в разы меньше, а сегодня вообще никого. Он сидел в ординаторской, читал старую газету.

Оторвала новая медсестричка.

– Игорь Борисович, вас к телефону!

Он ни от кого не ждал звонка, конечно.

– Игорь, – услышал тихий голос её отца. – Всё равно спасибо тебе. Другие врачи не давали и месяца. Когда ещё могла говорить, она просила передать, что не сердится. За что ей сердиться, Игорь? И сказала купить новый якорь, тот погнула о волнорез.

Он никогда не верил в чудеса. Их нет и быть не может. Вот очередное подтверждение. Их нет, но он поверил. На одно лето. Какой непрофессионализм для детского хирурга.

Больше никогда и никого в свою лодку он не пускал.

АННА МИХАЛЕВСКАЯ**ПУТЕШЕСТВУЯ ПО КРЫШАМ****рассказ**

Когда знаешь ответы на все вопросы, жизнь становится бессмысленной. Как сегодняшней, затянутой грязными облаками и бестолковыми заботами день. Я стою посреди разорённой квартиры – шкафы нараспашку, ящики выдвинуты, вещи свалены на пол, в коридоре громоздятся коробки. Одним словом – переезд. Жена с сыном уехали готовить новую квартиру, а я не могу справиться с взведённой пружиной нервов – семилетний Димка не хочет переодевать куртку, носит наизнанку и утверждает, что так надо. Объяснять отказывается, не помогают ни уговоры, ни крики...

Беспомощно оглядываю собранный за годы хлам. Его гораздо больше, чем нужно для счастливой жизни. Но мои воспоминания проросли в эти вещи, просто так от них не избавиться.

Я по-турецки сажусь на пыльный ковер, подбираю с пола альбом, открываю наугад. Детское фото как удар под дых. Мы с Ростиком жмуримся до слёз на июльском солнце, справа деревянный забор палисадника и заросшая виноградом беседка, слева гаражи. Мне жарко, футболка прилипла к спине, я мечтаю о холодной газировке; до мурашек не терпится забраться с Ростиком на крыши и выследить наконец Пришельца! Но пока надо потеть и терпеть – проще согласиться со взрослыми, чем объяснить, что есть дела поважнее кривляний перед объективом.

Иногда мне кажется – то лето не закончилось...

РОСТИК

Ростика во дворе не любили. Первый раз я столкнулся с ним на лестничной площадке во время январских каникул – мы стояли в ненавистных тёплых шапках с завязками под подбородком, в пуховых рукавицах, от которых хотелось чихать, в колючих пальто и намотанных до ушей шарфах и, задышавшись от нетерпения и слишком тёплой одежды, изучающе смотрели друг на друга. «Малышня», – сразу решил я, уже полностью взрослый десятилетний пацан. Ростик и правда был на голову ниже, и даже сквозь слои пальто и свитеров проступала болезненная худоба. Вид его мне тогда не понравился. Он был какой-то неправильный. Чужой. Слишком щуплый, слишком маленький и слишком серьёзный. Руки чесались его позадирать. Хотя, возможно, руки чесались от рукавиц. Потом выяснилось, что у меня на пух аллергия.

Но рядом были родители – из моей затеи всё равно ничего бы не вышло. Заставили бы извиниться. Неприятно, но терпимо. Но могли запретить смотреть телевизор, а это испортило бы каникулы.

Мамы тут же разговорились, выяснилось, мы все едем в центр смотреть на ёлку. Папы обменялись парой фраз и замолчали. Мамы убежали вперёд, что-то оживлённо обсуждая. Не понимаю, как женщины могут столько говорить. Специально засекал время – пока мама болтала с подругами по телефону, я успел склеить модель самолёта и взялся за корабль. Страшно представить, в каких взрослых превращаются нормальные дети!

В трамвае мы с Ростиком всё-таки решили познакомиться – раз уж подражаться не вышло. Но Ростик отмалчивался, и разговор не клеился. Игрушек он не взял, ну а я был слишком большой, чтобы таскать за собой детские машинки...

Потом началась школа, и столкнулись мы с Ростиком уже на весенних каникулах. В тот год гремела премьера «Гости из будущего», и наша детская дворовая банда играла в Алису и милофон. Мы выдумывали истории про инопланетян, боролись за роль Коли Герасимова и каждый день назначали космическими пиратами – Крысом и Весельчаком – новых кандидатов. Тех, кто нам не нравился. И, конечно, Ростик попал в их число.

– Космическая полиция! Ваши документы! – проорал Серый, дворовой заводила, и толкнул Ростика в плечо.

Думал, Ростик завалится. Но тот даже не выронил авоську с кефиром и неожиданно резко сбросил руку Серого. Он не стал убегать, наоборот – развернулся к обидчику и уставился на него немигающим взглядом. Я снова уловил какую-то неправильность.

Все мальчишки двора плясали под дудку Серого – он первый придумывал игры и устанавливал правила. Никто не возражал – нам в общем-то было интересно, а для споров не хватало духу. Но когда Ростик скинул руку Серого, я вдруг понял, что сам не раз мечтал так сделать.

– Любишь кефир, да? И сколько ты звездолётов ограбил? – Серый начал наступать.

– Пират! Пират! – завизжали другие мальчишки и обступили Ростика кольцом.

С девчонками мы не дружили, что с одноклассников взять? Нашей Алисой была Верка из пятого класса и соседнего двора – правда, Верка об этом не знала, все мы влюбились в неё по уши и никто не решался заговорить первый. Даже Серый.

Пока я отмалчивался в стороне, «пирата» оттеснили к ограде цветника, кто-то снова толкнул его, на сей раз щуплый Ростик не удержался, неловко завалился на бок. Он же драться не умеет, вдруг сообразил я.

– Отдашь кефир и мы никому не расскажем, что ты пират, – хмыкнул Серый, – так и быть, пожалеем девочку!

– Ничего он не отдаст!

Я так и не понял, как оказался рядом с Ростиком. Вовсе не собирался ему помогать. Героического во мне было мало, я даже боялся спать без света. Правда, об этом знала только мама... Наваждение быстро таяло, это уже не казалось забавной игрой, мой голос дрожал и я до мошек в глазах испугался Серого.

– Пираты! – Серый издал короткий смешок, пренебрежительно сплюнул и отошёл в сторону.

Лучше бы он ударил, насмешка задела куда больнее. Теперь мне объявят бойкот и до конца каникул я буду слоняться по двору один!

– Спасибо! – подал голос Ростик, отряхивая залитую кефиром штанину. Бутылка всё-таки разбилась в потасовке. – Не обращай внимания, они скоро забудут...

– Плевать, – попытался я сказать как можно увереннее.

– Хочешь, что-то покажу? – вдруг оживился Ростик.

– Конечно! – просиял я и тут же забыл о бойкоте.

Мы пошли в обход дома, где гаражи служили своеобразным забором между нашим двором и соседним. Эта граница между «мы» и «они» до сих пор мне видится как длинная линия гаражей с навесными замками, шиферными крышами и ржавым металлом стен. Смог ли её переступить с годами? На чьей стороне оказался? Если б знал...

Согнувшись в три погибели, мы проскочили забор палисадника – чтобы не попасться на глаза маме. Та имела привычку звать обедать в самое неподходящее время. Ростик повёл меня дальше – к стыку последних гаражей, которые замыкали естественный «забор» в глубине двора. Между ними буйно разросся куст шиповника – мне бы и в голову не пришло продираться сквозь эти заросли. Но голова Ростика, видимо, имела совсем иное устройство, и он нашёл там лазейку. Распластавшись, мой новый друг подлез под куст на локтях. Я с сожалением глянул на свою новую дутовую куртку, перебрал в уме все те слова, что услышу от мамы, и тоже упал ничком. Странно, но тогда мы отделались парой царапин – по необъяснимой случайности одежда осталась цела.

Выбравшись из цепких лап шиповника, мы попали в крошечное пространство, пропахшее мокрым железом, сырой землёй и колючими сиделками. Но к стене гаража была приставлена трухлявая стремянка, и это окупало все усилия. Так мы и очутились на крыше. Вернее, на крышах!

Ростик больше не казался мне малышнёй. Может, дело в крышах? Я не сразу понял, что там действуют иные законы. В тот день мы прыгали с одного гаража на другой, и это оказалось так же легко, как бегать по двору, только намного интереснее. Когда линия гаражей закончилась, мы по торцу стены перебрались на сапожные мастерские, оттуда на кондитерскую фабрику, которая тоже ютилась в нашем дворе. Крыши были покатыми, приходилось идти у самого конька. Поначалу я пригibasя, а вдруг взрослые увидят? Но Ростик авторитетно заявил: не увидят. И я поверил.

Мы шагали по шиферу и кирпичным кладкам стен, двор казался далёким и маленьким, там внизу гулял пыльный ветер, из окон пахло борщом и жареной рыбой, Серый и мои бывшие друзья лениво гоняли мяч, а наши макушки грело мартовское солнце, непонятно откуда взявшиеся чайки задевали крыльями плечи и впереди простиралась бесконечная дорога в облака. Я потерял счёт времени, а когда остановился и оглянулся, увидел сплошь незнакомые крыши. Оказавшись в чужом дворе, я почувствовал себя неуверенно.

– Ростик, давай вернёмся!

Друг нехотя остановился.

– Мы только начали! Ты не представляешь, как далеко можно зайти по крышам! – с сожалением сказал он.



Он был прав. Я не представлял. Не представляю и сейчас. В то лето я был уверен: не только наш двор, всю Молдаванку, даже Одессу можно обойти поверху. Не знаю, как у Ростика это получалось, но иногда мы сходили вниз в квартале, а то и двух от дома! Крыши не могли висеть в воздухе над мостовыми и парками, но выходило, что висели!

Как Ростик и обещал, мы не попались. Мама не заметила даже царапины на шее, а куртку без лишних вопросов повесила в шкаф.

ПРИШЕЛЕЦ

К началу летних каникул я окончательно перебрался на крыши. Серый и бывшие дружки подначивали нас с Ростиком, и вслед летело презрительное: «Пираты!». Теперь это меня не задевало. Ну, разве что, чуть-чуть... Но когда появился Пришелец, и вовсе перестало волновать.

Мы сидели на гараже дяди Севы, по очереди хлебали из жестяной банки апельсиновый сок – папа привёз Ростика из рейса – и строили планы на лето. У дяди Севы не было машины, зато в избытке водился хлам. Все подходы и даже крышу сосед завалил трухлявыми брёвнами, ржавыми железяками, опметками картона, обломками чугунных труб и ещё чем-то уступающим и неопределённым. Идеальное укрытие, и мы этим пользовались.

Вечер заливал двор тёмной патокой, лишь горел над парадным фонарь, и по очереди вспыхивали прямоугольники соседских окон. Мы лениво поглядывали по сторонам и мечтали.

– А давай построим халабуду! – Я сделал большой глоток и вернул банку.

– Лучше плот! – глаза Ростика блеснули. – И махнём в Турцию!

По географии у меня было отлично и я знал, что Турция прямо напротив Одессы, если смотреть через море. А море на карте выглядело совсем небольшим. Больше Байкала, конечно, но ведь и меньше Тихого океана. Переплыть море – да плёвое дело! Тем более, у Ростика папа моряк, он подскажет, как там и что.

– Плот тоже неплохо, – в конце концов решился я. – Только сначала халабуду! А то надоело с родками жить...

– Смотри! Снова он! – Ростик схватил меня за руку, а второй махнул на окно Марии Ильиничны.

Заглядывать в чужие окна – это скверно. Так говорила мама, внимательно рассматривая люстры и занавеси в освещённых квартирах во время прогулок по вечернему городу. Но мы же были не виноваты, что Мария Ильинична включает слишком яркий свет и никогда не опускает шторы!

Соседка учила наш четвёртый «А» математике. Тогда она казалась старой, но после родительского собрания, где я от скуки разглядывал лица учителей моего сына, варуг дошло – в тот год ей не было и пятидесяти...

И всё-таки шпионили мы не за Марией Ильиничной. Я не горел желанием увидеть, как она ставит размашистый кол в моей тетради – с математикой я ладил хуже, чем с географией. Просто однажды мы застукали у неё Пришельца! Это пахло серьёзным делом, куда там Серому с его глупыми подозрениями.

Вспоминая облик Пришельца, я вижу размытое пятно. Обычная рубашка, заправленная в обычные штаны, обычные туфли. Невыразительные черты лица, тусклые глаза, в руках – невзрачный чемодан. Слишком обычный, чтобы быть настоящим, Пришелец сразу привлёк наше внимание. Из-за того, что он всё время ходил с чемоданом, казалось, он либо вот-вот уедет, либо только приехал. Мы были уверены – он не одессит. И даже не землянин! И, скорее всего, пират!

Хозяйка впустила Пришельца в гостиную, он прошёл бочком и, сгорбившись, сел на край стула. Мария Ильинична присела рядом за стол и принялась в нетерпении тереть кисти ажурной скатерти.

Пришелец рывком поднял чемодан с пола, положил на колени, открыл. Как мы хотели увидеть, что было в том чемодане! Но спина Пришельца загораживала самое интересное. Мелькнула рука – и на столе оказалась пара книг. Мы разочарованно присвистнули – рассчитывали-то по крайней мере на милофон! Лицо Марии Ильиничны просияло. Уверен, если бы она тогда выключила свет, мы бы всё равно разглядели все до единой морщинки в уголках её глаз. На задачки она никогда так не смотрела! Тут было что-то другое.

Мария Ильинична взяла книгу, погладила глянцевую обложку, с улыбкой открыла на середине, принялась читать. Пришелец так и остался сидеть, не меняя позы. Наконец хозяйка бережно отложила книгу, подошла к пузатому серванту, уже давно немодному в то время, ключом открыла витрину, достала сахарницу, из неё выудила пару купюр. Пересчитав несколько раз, Мария Ильинична протянула их гостю. Деньги быстро исчезли в кармане Пришельца. Он тут же поднялся, старомодно поклонился и так



же бочком вышел из гостиной. Хозяйка проводила гостя и, вернувшись в комнату, принялась за чтение.

Мы с Ростиком переглянулись. В прошлый раз происходило то же самое! Пришелец и Мария Ильинична будто повторно разыгрывали спектакль! Может, так он передавал своим агентам шифровки?

Конечно, мы устроили за Пришельцем слежку. Перепрыгнули на гаражи соседского двора, не выпуская из поля зрения серую тень, а потом – мир будто мигнул – и тень исчезла. Да, к тому времени основательно стемнело, но я мог поклясться, что инопланетянин на глазах испарился! Телепортировался!..

С тех пор Пришелец стал нашей целью. Мы часами караулили на крышах, подстерегали Марию Ильиничну, подозревая её в инопланетном сговоре, и охотились за семенящей тенью Пришельца. Но стоило нам решить, что мы загнали его в тупик, как солнце начинало слепить глаза, или стеной шёл внезапный дождь, или ветер бросал в лицо пыль, мы непроизвольно жмурились – и Пришелец исчезал.

Ростика это почему-то не удивляло. На мои вопросы он отмалчивался. Я дулся и сгоряча думал: Серый прав – Ростик тоже пират, и вавоём с Пришельцем они водят меня за нос. Вот откуда Ростик знал, как перескакивать по крышам через мостовые и парки? Потом становилось стыдно за свои мысли. Ростик – мой друг. Он не может меня предать.

ВЕРКА-АЛИСА

Наше «пиратское» лето омрачило лишь одно событие. Верка-Алиса серьезно заболела. «Что-то с кровью», – шёпотом переговаривались родители и странно поглядывали на меня. Я делал вид, что не замечаю их взглядов, но мне тоже было жаль Верку.

Мы с ней толком и не говорили. Так, перебросались парой фраз, когда я нёс ей портфель весной. Хотел напроситься в гости – мол, позаниматься математикой – но она сказала, что я умный и сам всё пойму. И улыбнулась. Я почувствовал, что краснею, как светофор, перед которым мы стояли. Я готов был застрять на том перекрёстке навечно, но все дороги когда-нибудь заканчиваются, и как я ни старался идти медленнее, мы слишком быстро оказались перед воротами соседнего двора. Там же Верка отобрала у меня портфель, в дом не позвала. Но я не думал об этом, я вспоминал её улыбку. И мечтал, что когда-нибудь женюсь на ней и мы купим огромного сенбернара. Или водолаза. Или таксу. В этом я не был уверен. Но про женитьбу – дело решённое. Казалось, впереди столько времени...

Мы выследили Пришельца жарким июльским вечером. Первый раз он нарушил сценарий. Прошёл не бочком, обходя ковер, а напрямик – через все персидские узоры. И чемодан поставил не на колени, а раскрыл прямо на полу. Мария Ильинична, наверное, ничего не заметила, но для нас это был знак!

И точно – будто забыв исчезнуть, Пришелец подошёл к дому, который оказался под нашим носом – в соседнем дворе! Посреди двора, за мощным фасадом сталинок, торчал как динозавровый хребет ещё дореволюционный двухэтажный флигель – с внешней деревянной лестницей и открытой верандой. Пришелец неожиданно поскользнулся и упал. Чемодан однако из рук не выпустил. Неуклюже поднялся, отряхнул штаны. Мы заворожено смотрели, что будет дальше. Небольшая заминка, и он толкнул дверь под лестницей. Как мы могли не заметить дверь раньше?

Ростик прокрался по крыше вперёд, перебрался на сухую акацию, я за ним. Стараясь не шуметь, мы спрыгнули на землю и побежали к флигелю. У самой двери – где споткнулся Пришелец – Ростик поднял какой-то сверток. Деньги?! Вот так удача! Я шепнул Ростику, что мы сможем построить плот, уплыть в Турцию! И на халабуду тоже хватит!

Обогнув дом, мы прильнули к единственному окну на первом этаже. Через стекло наискось шла большая трещина.

Крошечная кухня, застеленный дырявой, но чистой клеёнкой стол. На столе – белый в красный горошек заварник и такая же сахарница. Три табуретки вокруг. На стене – чёрно-белый глаз радиоточки. Выдраенная до блеска плита, шкафчик с отвисшей створкой. За столом сидела девочка и что-то писала в тетради. Ростик шумно слотнул, и я понял, что он тоже её узнал. Короткие русые волосы и серые с тёмными крапинками глаза – наша Верка-Алиса!

Пришелец появился на пороге, и девочка бросила ручку, подбежала, обняла его. Пришелец скорчил гримасу – наверное, так он улыбается, догадался я. Верка принялась что-то возбуждённо рассказывать. Он кивнул, опустил чемодан, включил горелку, поставил чайник. Синие языки газа принялись лизать белые эмалированные бока.

Мы хлопали глазами и ничего не понимали. Пришелец – отец Алисы? Тьфу, Верки? Не может такого быть. Или он всё-таки космический пират, который похищает детей и увозит на другие планеты?



Тем временем мужчина запустил руку в карман брюк, проверил карман рубашки. Ничего не обнаружив, лихорадочно открыл чемодан. Принялся перекаладывать книги. Да, там были только книги. Никакого милофона!

И сенбернару стало бы ясно: Пришелец потерял деньги, которые подобрал Ростик. С одной стороны, зачем инопланетянину деньги? Но а вдруг он человек, такой, как мы, и Верка – его дочь, и эти деньги он собирал на лечение, ведь Верка больна...

Ростик дернул меня за рукав – в его глазах я увидел, как плот уплывает в Турцию без нас. Что бы я сделал, если бы решать пришлось самому – не знаю. Сейчас хочется думать, что то же самое. Но без Ростика я был обычным мальчишкой – эгоистом, как большинство детей. Это с возрастом эгоизм нуждается в оправданиях, и все вокруг становятся не такими, как надо, странными, подозрительными, не из того города, не из той страны, чужаками, инопланетянами – лишь бы не возвращать долги и не отдавать что-то просто так.

В общем, мы забросили сверток с деньгами в форточку и убежали. За нами не стали гнаться, хотя мы надеялись, что игра ещё не окончена...

Больше Пришелец во дворе не появлялся. Зато я столкнулся с Веркой в хлебом. Неожиданно она пригласила меня в гости. Это был совсем другой незнакомый квартал Молдаванки. Хрущёвка, третий этаж. Мы пили газировку «Буратино» и смотрели мультики по чёрно-белому телеку. Не ахти какое развлечение, но рядом с Веркой сошло и так. Раз десять я порывался спросить у неё про отца и про дом с деревянной лестницей, но так и не решился. Пришельца нигде не было видно, домой меня проводила её мама. Может, Верка переехала. А может...

АДИК

Жизнь шла своим чередом. Серый и компания приняли нас в свои игры. Теперь они мне казались неимоверно скучными. Звать банду на крыши Ростик отказался.

– У них не получится, – непонятно объяснил он и отвернулся.

Серый был куда ловчее меня, но я привык доверять Ростик. Не получится – значит, не получится. И мы снова откололись от ребят, предпочитая шумной ватаге гаражные прогулки. Казалось, ещё немного – и я догадаюсь, есть ли конец этой дороги по крышам, и куда она может привести. Но Верка-Алиса слишком хорошо обо мне думала, когда говорила, что я умный и сам всё пойму.

Не сговариваясь, мы обходили стороной флигель соседнего двора. Наверное, я попросту не хотел разочаровываться. Мне нравилось думать, что мы засекли настоящего космического пирата... А Верке стало лучше. Родители говорили на кухне о каком-то дорожном лекарстве, и я надеялся, что мы не зря вернули деньги Пришельцу.

К концу лета наше терпение лопнуло. Чуть спала дневная жара, мы перелезли в соседний двор и принялись следить за лестницей, под которой пряталась дверь. Прошло около двух часов. По лестнице поднимались и спускались дети с надувными кругами, их мамы с торчащими из-под сарафанов завязками купальников и набитыми едой сумками, папы налегке с газетами; бабушки выходили во двор в засаленных халатах – отдохнуть от варки и жарки, а заодно посудачить: о ценах на лопатку и костреч, о чернобрывцах в палисаднике тёти Фиры, об Эдике-так-его-растак, крутит этих, как их – Мамин Толки... Мусин Тортик... Модерн Толкин! – на всю Мясоедовскую, купил у спекулянтов магнитофон, ни стыда, ни совести!.. Мы зевали, слушали дворовые сплетни, но так и не заметили, чтобы кто-то воспользовался дверью под лестницей.

– А давай сами постучим? Вдруг откроют? – предложил я, устав ждать.

Это была крайняя мера, но Ростик согласился. Как приличные мальчики, мы вошли через подъезд, миновали подворотню и, напустив на себя безразличный вид, направились к флигелю. Конечно, нас сразу заметили бабушки-сплетницы и принялись буравить взглядом, который не обещал ничего хорошего.

Дойдя до лестницы и уже протянув руку, чтобы постучать в дверь, я вдруг понял – никакой двери нет! Позднее летнее солнце безжалостно высвечивало цельную стену без малейшего намёка на свежую кладку. Но всего месяц назад мы видели собственными глазами, как Пришелец вошёл в дом!

Я оглянулся на Ростика. Тот развёл руками, будто извиняясь.

– Я так и знал, – выдал он.

– Что знал? – Не дожидаясь ответа, я потянул Ростика в обход флигеля.

Надо ли говорить, что окна с обратной стороны тоже не было. Я тёр глаза, не желая сдаваться. Когда

мы преследовали Пришелеца, было темно, мы могли ошибиться двором. Но у гаража напротив росла акация – именно по ней мы тогда и спустились.

– Нечего здесь бродить, шагом марш домой! – над нами нависла тётенька в бигудях. Выщипанные в ниточку брови нахмурились, и мы уступили им – ушли.

Началась школа. Я стал ходить в секцию по лёгкой атлетике и прогулки по гаражам забылись. Ростик уехал на пару лет в Москву, но я по-прежнему держался особняком от Серого и компании. Когда следующей весной попытался пробраться в наш лаз под шиповником, ничего не вышло. Хотя, честно говоря, я не очень и старался.

Осенью к нам домой заявился Пришелец.

– Проходите, Адик! – сказала мама, и я покраснел от стыда и осознания собственной глупости.

Адик вполне естественно чихнул, извинился и, обходя ковёр, просеменил в гостиную. Там он сел за стол, положил на колени чемодан... Да, он делал всё то же самое, но теперь это не казалось странным. Я видел морщины на его лбу, видел совершенно человеческую тревогу во взгляде, видел, как он сглотнул, когда мама предложила чаю...

Родители купили у него пару книг. Каких именно, так и не смог вспомнить. Но точно знал: в чемодане Адика были не то что редкие, но хорошо изданные книги – дефицит, который попадал в нашу советскую действительность только через таких коробейников-книгонош.

В то время я мечтал поскорее вырасти и думал, что у меня есть ответы на все вопросы. Сейчас понимаю: я просто перестал замечать вещи, которые не мог объяснить, или те, что объяснить было в принципе невозможно. Так происходит со всеми.

Ростик вернулся в Одессу, но о гаражах и крышах мы не заговаривали, стесняясь детских фантазий. Потом сталкивались на улице – он и сейчас живёт в соседнем подъезде, растит дочь.

В выпускных классах я часто навещался к Марии Ильиничне – мы подружились, у неё оказалось отличное чувство юмора. Она была совсем одинока, и я потихоньку подсовывал ей в сахарницу свои карманные деньги. Думаю, Мария Ильинична знала об этом. И не только об этом. Однажды она подарила мне «Питера Пэна» – издание восьмидесятых, где на обложке приглашающе горело открытое окно. Теперь с этой книгой засыпает сын Димка.

Уже повзрослев, я забрался на тот первый гараж. Без всяких ритуалов с кустом шиповника – просто приставил стремянку. Поверху я дошёл до конца двора, но на крыше бывшей кондитерской фабрики шифер подо мной проломился и нога застряла между потолочных балок... Крышу я, конечно, починил. И затею повернуть время вспять бросил.

С годами я научился вовремя обедать, долго говорить по телефону и незаметно для себя подглядывать в чужие окна, но когда жизнь заходит в тупик, когда я знаю ответы на все вопросы и от этого на душе становится только тяжелее, я вспоминаю то лето. Я вспоминаю бесконечную дорогу по крышам, восторг от того, что можно просто бежать вперёд, загадочный взгляд Ростика, обычно-необычный вид Пришелеца, чудесное выздоровление Верки-Алисы и дверь в каморку, которой больше нет, а, может, никогда и не было.

ДИМКА

С трудом отрываюсь от фото, медленно закрываю альбом.

Дверь распахивается, в разорённую прихожую врывается Димка.

– Пап, там так здорово! Из окна моей комнаты видны крыши сараев, на них играют дети, представляешь?!

Сын удивляется, он всё детство провёл в высотке. А я помню другой двор. Димка улыбается во весь рот, тёмные глаза горят восторгом, и впервые за долгие годы, несмотря на закрытые окна, я чувствую дуновение горячего ветра – верного спутника наших гаражных путешествий.

По инерции открываю рот – очередная попытка заставить переодеть куртку – но осекаюсь. Подхожу к вешалке, беру свою куртку, выворачиваю наизнанку, натягиваю на плечи, обнимаю сына.

Каких-нибудь пять лет – и Димка навсегда застрянет во взрослом мире. А пока... пусть остаются вопросы без ответа. Может, мальчик ещё успеет отыскать ту дорогу сквозь городские крыши. И, если повезёт, пройдёт её до конца.



МАЙЯ ДИМЕРЛИ

ЧЕРВЬ СОМНЕНИЙ

рассказ

Вообще-то Исаак любил сидеть под грушей. А его мать (которая никогда не любила его), стояло ему там присесть, то и дело, высовывалась из окна и кричала:

– Исаак! Хватит околачивать груши! Кто, спрашивается, вместо тебя будет заниматься наукой, Пушкин? Совсем оглох? Я к кому обращаюсь? А ну, марш домой! – так старая кошёлка мстила ему за то, что дядя и учителя уговорили её позволить Исааку учиться, и поэтому в хозяйстве от него не было никакого толку. И так уже 44 года.

А надо признаться, что голос у мамыши Исаака был такой же пронзительно-противный, как у бензопилы, которую, к слову, ещё не изобрели. Всякий раз, когда она кричала, у Исаака делалось плохо в животе.

В тот исторический момент Исаак сидел, глубоко погрузившись в безрадостные мысли: «Вот ему уже страшно подумать, сколько лет, а он до сих пор не открыл ни одного приличного закона. Это ещё повезло улучшить удобный момент, чтобы удачно окончить школу и поступить в Кембриджский университет всего-то за 200 лет до отмены крепостного права в России»...

Так вот, противный голос мамыши вывел его из задумчивости, а, заодно, из себя, и Исаак как всегда почувствовал, что в животе у него неладно. Он вскочил на ноги и побежал домой, но понял, что не добежит, и ему пришлось сесть под яблоней.

А в это время червь сомнений перегрызал пуповину яблочного батискафа, в котором собирался отправиться в полное опасностей и приключений путешествие к Земле! Он твёрдо решил проверить утверждение, укоренившееся в среде червей о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Утверждали это, как водится те, кто ничего не видел сам, ибо оттуда ещё никто не возвращался. А червь этот был убеждён, что чем бездумно повторять чужие глупости, лучше осознанно совершать свои собственные. Одним словом он сомневался, поэтому решил стать героем и поклялся, что когда проверит, как далеко падает яблоко, обязательно вернётся и поведаёт обо всём своему народу. А до тех пор, все эти утверждения не более чем предрассудки, миф, враки.

– Тюк! – вежливо поздоровалось яблоко с головой Исаака.

Исаак второй раз кряду струхнул, и в его голове как бы сам собой прозвучал вопрос: «Кто там?». Однако в ответ яблоко просто отскочило от исааковой головы и покатилося в траву. Откатилось оно недалеко.

Исаак натянул штаны и, будучи человеком мстительным, больно укусил яблоко прямо за червя сомнений. Увидев яблоко с половиной червяка, Исаак тут же просёк грандиозный замысел бесхребетного гения. Он сплюнул то, что успел откусить от ползучего коллеги, грязно выругался и побежал домой излагать на бумаге нечто великое, такое, что заставит эту старую кочергу – его мамашу – наконец-то заткнуться. Кстати, червяк ничуть не обиделся на Исаака, ибо, как любой настоящий ученый, рад был принести себя в жертву науке!

Это предание столетиями передавалось из уст в уста в семействе садовника семейства Ньютонов, и однажды его услышал маленький Стив. Он до того полюбил яблоки, что... А то вы не знаете, что.

Разумеется, многие кусали червивые яблоки, но лишь немногие с такими необратимыми для человечества последствиями. Первым был Адам, вторым Исаак, а третьим Стив. Можно сказать, что это история Закона всемирного тяготения человека к яблокам. И она всё ещё продолжается. Как представишь, куда она всех нас может завести, прямо голова кружится.

И всё-таки, по моему убеждению, самым главным во всех этих историях является червь сомнений. Очень жаль, что ни одного из них так до сих пор и не записали хотя бы соавтором.

А с другой стороны, кто же виноват в том, что у червяков настолько сложные имена, что человеческими буквами их ну никак не запишешь?

Ну вот, собственно, и всё.

НАИЛЬ МУРАТОВ**ГОСПОДИН ГОЛЬДБЕРГ И МАРИЯ****рассказ**

Его костюм и туфли стоили целое состояние. В суতোлке и многоголосице аэропорта этот шикарно одетый господин казался чем-то инородным. Вышагивая взад-вперёд вдоль остеклённой стены терминала, он периодически останавливался, чтобы нервно вытереть лоб салфеткой. Выглядел лет на сорок пять, максимум пятьдесят – моложе, чем во время их предыдущей встречи. Единственной, но врезавшейся в память до конца жизни. Или даже до её начала, Стелла уже ни в чём не была уверена. Не так давно она узнала его на фото в глянцево-м журнале. Имя, конечно, другое, но чему удивляться! Скользкий тип, недаром она так его ненавидела. Сидя в открытом кафе в торце терминала, Стелла нервно стискивала телефон. Собиралась позвонить подружке и *на* тебе, увидела призрак. Рано или поздно их взгляды встретятся, и что тогда? Разве она не могла ошибиться? Можно ли полагаться на память по прошествии стольких лет! Её лихорадило: возможно, сейчас всё откроется, наконец! Если этот холёный господин равнодушно отведёт глаза и продолжит своё абсолютно бесполезное движение, то подтвердит тем самым, что она просто ненормальная. Причём не только в переносном смысле, но и в прямом, со справкой из дурдома. На что ты надеешься, Стелла? Что твоя любовь существовала не только в воображении? И что подружка зря прозвала тебя «монашкой»? На миг её захлестнуло острое желание уйти незамеченной, она даже потянулась к рюкзаку, брошенному на соседний стул. Но побег – проявление малодушия: о себе лучше знать правду, какой бы горькой она ни была. И потом, всегда остаётся шанс, что этот человек узнает её! Шанс мизерный, но даже и им не стоит пренебрегать. Достав из сумочки зеркало, Стелла с удовлетворением заметила, что время пока к ней милосердно. Кожа гладкая, да и глаза не утратили того небесного блеска, что во все времена сводил мужчин с ума. И даже Того единственного, в присутствии которого она сама теряла рассудок – мужчину с большой буквы. Если, конечно, он когда-либо существовал.

О Нём она могла говорить бесконечно, но только сама с собой. Кто ты теперь, Стелла, соломенная вдова или просто обманутая жизнью тварь?! Его смерть и была форменным обманом, хотя касался он только одного человека – женщины, от которой осталась лишь полупустая оболочка, иногда называвшая себя чужим именем. Библейским, вот в чём ирония. Зато тот, что вышагивал сейчас по терминалу, был Ему полной противоположностью. Может, он и не родился неисправимым негодяем, но попробуй-ка заставить себя относиться к нему иначе! Что ни говори, а каждый сам выбирает свою судьбу и затем несёт крест на собственных плечах. И не нужно большого ума, чтобы это понимать. Подняв глаза, Стелла заметила, что тот, за кем она наблюдала, теперь сам не отводит от неё взгляда. Вот он, момент истины! Ощувив комок в горле, она попыталась взять себя в руки. Не делай глупостей, Стелла! Ну, смотрит он на тебя, это ещё ничего не доказывает, сейчас отвернётся и продолжит путь. Таких, замороженно уставившихся на неё и при более нелепых обстоятельствах, хватало и раньше.

Но он, обогнув решётчатую отгородку, решительно направился к её столику.

– Можно? – поинтересовался с ироничной улыбкой.

– Попробуйте, – равнодушно пожала плечами она.

Что-что, а изображать равнодушие она умела! Как и многое другое. Научилась, иначе никогда не покинула бы психушку. Хотя какую опасность для окружающих может представлять пятнадцатилетняя девочка с безобидной формой раздвоения личности? Вот только было ли оно, раздвоение? Сердце Стеллы колотилось так, как, возможно, никогда ранее. Не исключено, что ближайшие несколько минут перечеркнут половину её жизни. Точнее, четырнадцать лет из двадцати девяти.

– Давайте не будем даром терять время, – нетерпеливо предложил он. – Полагаю, вы догадываетесь, кто я?

– Вы – господин Гольдберг, – ответила она со сдержанной улыбкой.

Гольдберг нахмурился, ответ его не устроил. Неужели ждал, что Стелла назовет настоящее имя? Или просто недоволен тем, что его инкогнито раскрыто? Но о каком инкогнито может идти речь, если твоими портретами пестрят обложки журналов?! Как же, известный финансист, удачливый инвестор! Мечта любой незамужней женщины. Увы, насквозь фальшивая мечта.



Так она ему и сказала, а он не стал спорить. Казалось даже, что вообще не слушает, думает о чём-то своём. Возможно, так оно и было, во всяком случае, голос его, когда она замолчала, прозвучал отстранённо:

– Куда вы летите?

– В Лондон. К подруге.

Он ухмыльнулся. К подруге – важное уточнение. Психологически необходимое, чтобы дать ему возможность развить натиск.

– Давайте, я вас туда доставлю. У меня собственный самолёт.

Она спросила с откровенной насмешкой:

– Вам тоже надо в Лондон?

– Нет, – с лёгкостью признался он. – Но пусть вас это не беспокоит. Мне всё равно, куда лететь.

Паузу, возникшую после его слов, заполнила официантка, принёсшая меню потенциальному клиенту. Гольдберг вопросительно взглянул на Стеллу.

– Ничего не нужно, – бесстрастно обратилась она к официантке. – Мы уходим.

Подхватив её рюкзак, кстати, довольно тяжёлый, Гольдберг направился к выходу из кафе с таким облегчением, будто обрёл свободу после длительного заключения.

– В багаж ничего не сдавали?

– Нет, всё моё со мной! – сказала она.

– Тем лучше, – заметил он. – Меньше мороки.

Она пожала плечами. Меньше мороки или больше – какая разница, когда на кону твоё будущее. А, может быть, и не только твоё. Ведь не зря же тут объявился этот господин! Господь ничего не делает просто так.

– Самолёт будет готов минут через двадцать, можно пока пройти досмотр. И не бойтесь, приставать к вам я не собираюсь, – предупредил он.

– Попробовали бы, – спокойно произнесла она.

Досматривали их в отдельной отгородке для особо важных персон, и заняло это всего пару минут. До самолёта добрались на отдельном микроавтобусе, что тоже не отняло много времени. Но подниматься на борт Гольдберг не стал, а, бросив рюкзак стюарду, направился к хвостовой части. Стелла послушно поплелась следом.

– Впечатляюще, правда? Не устаю удивляться прогрессу! – воскликнул он, указывая на двигатели. – А ведь каких-то двести-триста лет назад путешествовать можно было в лучшем случае на повозке.

– Вам действительно всё равно, куда лететь? – перебила его она.

– Да, я же сказал, – подтвердил Гольдберг. – Надеюсь, подруга встретит вас в Хитроу?

– Нет, у неё не получилось отпроситься с работы, – пояснила Стелла, что вызвало у него ироническую улыбку. На сухое замечание, что её подруга – очень ответственный человек, он отозвался довольно-таки ядовито:

– Поверьте, без друзей жить проще: никого не потеряешь, и никто тебя не предаст.

– Вы рассуждаете как финансист! – упрекнула его она.

– Просто как умудрённый жизнью человек, – вздохнув, возразил он. – Идёмте, нам пора.

Поднявшись по трапу, они прошли в салон и уселись в обитые кремовой кожей кресла. На столешнице красного дерева покоилась вырезанная из оникса пирамида. От неё исходил едва слышимый запах сандалового дерева.

– Посидите, мне нужно поговорить с пилотом, – неожиданно сказал Гольдберг.

Спустя минуту заработали двигатели. Их мягкое шуршание не резало слух, скорее, усыпляло. Стелла вновь открыла сумочку и тут же закрыла. Это нервное, нужно успокоиться. По сути, ещё ничего не ясно, и это нелепое совместное путешествие может оказаться очередным обманом.

Самолёт тронулся плавно, словно железнодорожный вагон, и покатил мимо терминала к взлётной полосе. Гольдберг, вновь занявший место за столиком, многозначительно сообщил:

– У нас есть пару часов, чтобы поговорить о вас.

– Или о вас, – возразила Стелла.

– Бросьте, не смешно! – фыркнул он. – Кто я такой, чтобы меня обсуждать?

– Один из самых удачливых биржевых игроков, если верить прессе.

Гольдберга задела ирония в её голосе. Эта женщина охотно отдавала ему инициативу, не собираясь раскрывать собственных карт. Но стоит ли злиться – разве не все они так поступают?

– Ну, а если не верить? – устало спросил он.

Усталость не была напускной, слишком много энергии он потратил на обуздание силы, обуздать кото-

рую невозможно в принципе. Только сейчас, развалившись в кресле самолёта, Гольдберг мог позволить себе расслабиться. Вернее, мог бы, не будь впереди разговора, который давал ему шанс обрести наконец свободу. Мизерный, если додуматься. В конце концов, он мог просто обознаться.

– На самом деле вы глубоко несчастный человек, – откровенно сказала Стелла, прищурив глаза. – Поэтому я и согласилась с вами лететь. Как вы понимаете, особой радости мне это не доставляет.

– Понимаю, – мягко произнёс Гольдберг. – Ведь вы Мария, не так ли?

Итак, это всё-таки случилось, опшибки быть не может, – подумала она. Ключевое слово названо, назад дороги нет. Ирония судьбы – пятнадцать лет бороться с паранойей, которой на самом деле никогда не существовало. И это при том, что твоя ненормальность никуда не исчезла. И что теперь делать, звёздная?! Она украдкой взглянула на холёную мужскую руку, покоящуюся на столешнице. Указательный палец незаметно выбивает дробь, но сам Гольдберг этого, кажется, не замечает. Нервничает, как и она, – тоже не железный!

Вырулив на взлётную полосу, самолёт начал набирать скорость. Стелла уставилась в иллюминатор. Томительные секунды разбега, затем стремительный взлёт, и вот уже город, раскинувшийся до самого горизонта, уплывает в сторону. Привычный, сонный, никого и ничего не прощающий. Усмехнувшись, она наконец нашла силы ответить:

– Меня зовут Стелла.

– Почему? – Голос его звучал озабоченно.

– По одной-единственной причине: это имя дали мне при рождении.

Её сарказм относился не столько к собеседнику, сколько к нелепости самой ситуации. Действительно, почему её назвали Стеллой? В насмешку?

Гольдберг задумался. Так она это или не она? Эта женщина явно не собиралась ему помогать.

– Когда-то, очень давно, я... имел честь познакомиться с молодой женщиной, удивительно на вас похожей. – Подыскивая подходящие слова, он даже наморщил лоб.

– Видимо, в психушке, – голос её прозвучал резко, почти кришуче, хотя на самом деле она готова была расплакаться. – Я провела там больше года.

Виноватый взгляд Гольдберга её даже тронул. Бедняга и не подозревал, что ей тоже пришлось несладко.

– Простите, я должен был догадаться! – поторопился извиниться он. – Поверьте, сочувствую вам всем сердцем.

Но она не нуждалась в сочувствии господина Гольдберга. Искреннем или неискреннем – любом! Услышав это, он не смог сдержать досады:

– Когда мы столкнулись в прошлый раз, вас звали Мария!

– Не помню, чтобы я назвала вам при этом своё имя! – с вызовом бросила она.

Лишь теперь Гольдберг вздохнул с облегчением. Ошибки не было, он разговаривал с той, кто в своё время была готова его убить. Не исключено, что она готова сделать это и сейчас, но он надеялся, что нет. Товарищей по несчастью не убивают.

– Ваше имя я узнал много позже, – хмуро пояснил он. – Когда вы стали настоящей знаменитостью.

– Перестаньте! – сердито бросила она. – Моё имя Стелла, и я никому не известна.

– Ещё бы! Вы умело скрыли личность! – воскликнул он.

– Как и вы! – отрызнулась она.

Сложно встретить в женщине друга, расставаясь с ней врагом. И как ему теперь доказать, что они в одной лодке? Но доказывать не пришлось. Мария – и это было полной неожиданностью как для него, так и для неё самой! – сказала, что уже не держит на него зла. И вообще ни на кого, потому что так её учил Тот, кого она любила. Странно только, что столько лет минуло, а господин Гольдберг смог её вспомнить.

– Так же, как и вы меня! – заметил он. А потом, помявшись, вдруг выпалил то, что намеревался предложить значительно позже:

– Что я могу сделать для вас, Мария?

– Ничего, – безучастно ответила она. – Вы не передо мной виноваты. Не у меня и прощение вымаливать.

– Мария, это несправедливо! – Гольдберг едва ли не кричал. – Не я ведь его убил – другие!

– Другие, – согласилась она. – Но вы были на их стороне.

Чепуха! – хотел сказать он. Тогда все, кроме кучки отщепенцев, были на их стороне. Никто не знал правды, вот в чём дело. А что, разве сейчас иначе?! Во все времена обществом управляют с помощью лжи, это правило, из которого нет исключений. И сколько бы тысячелетий не прошло, ничего не меняется. Когда-то он этого не понимал, но теперь понимает. И поэтому, встретиться они теперь, всё было бы по-другому.



Но увидев насмешку в её глазах, он промолчал, лишь горько усмехнулся. Надо же, столько лет готовить оправдания, замечательные, продуманные, неотразимо логичные, репетировать их, выучить наизусть, а они оказываются бесполезными. И всё потому, что эту женщину невозможно обмануть. Самого себя можно, а её нет. Поэтому ответ вышел неуверенным:

– Знаете, я просто не хотел неприятностей. Сами видели, какое кругом царило возбуждение. Время было такое, требовалась безусловная лояльность. Только поймите правильно, я не оправдываюсь. Бесполезно оправдываться, если сам себя осуждаешь.

Теперь он говорил искренне, она это чувствовала. И потому, неожиданно для себя, сказала:

– А вы изменились, господин Гольдберг!

– Но не вы, – без улыбки ответил он. – Теперь я лучше понимаю, почему он был на многое готов ради вас.

– Кроме одного – не позволить себя схватить! – с горечью произнесла она.

– Да, конечно, – хмуро согласился он. – Но разве он не знал, на что шёл? Иначе, видимо, не мог. Пытался нам всем что-то доказать.

Самолёт нырнул в облако, и в наступивших сумерках лицо Марии показалось Гольдбергу ещё более прекрасным. Женщины давно уже не волновали его, но эта была особенной – живущей вне времени, подобно ему самому. Он вдруг заметил, что дрожит. Надо же, такие эмоции в его возрасте! Но не зря же их с Марией пути пересеклись именно сейчас! Это не может быть случайностью.

– Кажется, подошло время за всё ответить, – вздохнул он. – И, похоже, не мне одному.

– Вы говорите об Апокалипсисе? – быстро спросила она.

Гольдберг заметил, что её тоже колотит дрожь. «Ты ведь ещё совсем молодая женщина! – подумал он. – Ты страдала столько лет, и сегодня я для тебя такой же луч надежды, как Вифлеемская звезда. Как же ты одинока, Мария! И как велика любовь, что так несмело ведёт тебя из прошлого в будущее. Возможно, лишь на миг, но он любил её, полнокровную, трогательную в своём иррациональном страхе. А ведь совсем недавно это казалось невозможным. И ещё... теперь он знал, почему её зовут Стелла.

– Похоже, тебе предстоит начать всё сначала, Звёздная! – сказал он мягко.

– Вы не ошибаетесь? – спросила она с надеждой.

– С моим-то жизненным опытом! – укоризненно заметил он.

Облака остались где-то внизу, в иллюминатор брызнуло солнце. Стелла зажмурилась, и Гольдберг заметил слёзы в её глазах. Интересно, кто из них двоих страдал больше? Кто дольше, он знал. И потому сообщил доверительно:

– Я ведь значительно вас старше, и должен сказать, что такого бардака на этой планете ещё не было. Так что ошибка исключена. Он вернётся. Слишком много признаков, чтобы сомневаться.

– Каких? – голос её звучал требовательно. Уверенность, как ей нужна уверенность, что Гольдберг и вправду не ошибается! В противном случае их встреча – просто насмешка судьбы. А Стелла до конца жизни останется Стеллой.

Гольдберг загадочно улыбнулся, потом спросил, слышала ли она про цветок удумбара. Стелла отрицательно покачала головой. Тогда он пояснил, что согласно буддийским поверьям, тот расцветает перед приходом мессии. Раз в несколько тысяч лет.

– Он расцвёл?

– Да, его находят в разных странах.

– Но это только легенда, – разочаровано сказала она.

– Легенда, – с лёгкостью согласился он. – Но когда я узнал об этом, то впервые задумался. Не берусь судить о других вещах, но в финансовых вопросах разбираюсь. И могу сказать уверенно, что мир сидит на пороховой бочке. Сейчас почти все богатые страны живут в долг, надувая кредитный пузырь, а он вот-вот лопнет. И тогда наступит Армагеддон, потому что денег в долговых обязательствах в десять раз больше, чем денег реальных. Сегодня мир принадлежит ростовщикам, завтра он станет выжженной пустыней, потому что нет другого способа вернуть долг, кроме войны.

– Добавьте сюда ещё падение нравов, упадок церкви, – быстро добавила она. – Что-то должно произойти! Человечество погрязло в лицемерии.

– Да, раньше всё было честнее, – согласился он. – Нынешнее время – время манипуляторов.

– Господин Гольдберг! – она упорно не называла его настоящее имя. – Когда это случится?

– Откуда мне знать? Я ведь не провидец!

В голосе его слышалось сожаление: давая надежду одной рукой, другой он по сути её забирал. И потому поспешил добавить:

– Но не зря же вы появились на свет в это суматошное время! Он хочет видеть вас рядом с собой, я уверен.

Мария просияла, но уже спустя мгновение в глазах её снова разросся испуг. Когда? – вот в чём вопрос. На следующей неделе, через десять лет или через двадцать? Гольдберг развёл руками. Он действительно ничем не мог ей помочь. Будущее непознаваемо.

– Я ведь старею, в отличие от вас! – беспомощно сообщила она. – Кому нужна женщина на много лет старше?

После некоторого колебания он сказал, что сейчас это даже модно, но лучше бы промолчал. Взгляд Марии пронзил его насквозь.

– Да Он меня даже не узнает! – выпалила она. – Мне было девятнадцать, когда он пришёл в наш дом, а сейчас уже двадцать девять! Через двадцать лет я буду старухой.

– Не я устанавливаю сроки! – примирительно сказал Гольдберг. – И не вы. Нам остаётся только надеяться.

Раздавленная, она не спорила. Ответила, что и сама всё понимает, просто очень нервничает. Теперь, когда у неё появилась надежда, ждать особенно тяжело.

– Тяжело ждать, когда надежды нет вообще, потому что в итоге твоё существование становится бессмысленным, – поправил её он. И добавил, что знает это по собственному опыту.

Мария виновато улыбнулась, теперь Гольдберг вызывал у неё сочувствие. Что ни говори, но он многое перенёс. И многое потерял.

– Есть ли хоть что-то, что примиряет вас с жизнью? – вырвалось у неё.

– Азарт, – спокойно ответил он. – Когда остальные эмоции умирают, азарта становится так много, что он заслоняет всё. Потому-то я и стал биржевым игроком.

– Но как вам удастся усидеть на одном месте? Вы такой спокойный, расслабленный, а ведь Он наказал вас скитаться.

Гольдберг усмехнулся. Тяжело было первые лет двадцать, пока ему не удалось найти способ обмануть судьбу. Оказывается, не обязательно всё время перемещаться самому, главное – находиться в движении.

– Всё просто, – сказал он. – Я неподвижен относительно кресла, но само оно не стоит на месте, а вместе с самолётом пересекает пространство. Думаю, всё дело в этом – нужно постоянно пересекать силовые линии Земли.

– А в кафе? – спросила она. – Вы же неподвижно стояли возле столика.

– Научился за сотни лет на несколько минут замирать. Но это требует страшного напряжения. Зато в летящем самолёте, тем более в таком обществе, как ваше, мне комфортно.

– Мне тоже, – сказала она, чтобы его приободрить. Выглядела она при этом невероятно трогательной.

Очевидно, за это Он её и любит, – подумал Гольдберг. Возможно даже, что Он простит и его, как готова простить она. Но что толку, если жизнь для тебя такое же проклятие, как и смерть, а смерть – такая же иллюзия, как и рождение.

– Расскажите, как вам было в раю? – попросил он.

К его удивлению, Мария растерялась. Оказалось, она ничего не помнит. Вообще ничего, ни малейшей подробности. В памяти осталось лишь то, что случилось до тридцати, особенно годы рядом с Ним. И десяток ужасных лет после Его гибели, а дальше провал. И лишь спустя множество веков, уже будучи Стеллой, на пятнадцатом году жизни она вспомнила все. Это как будто в компьютер вставили флешку с памятью. Ужасно, правда? Чувствуешь себя сумасшедшей, потому что мир вокруг тебя привычен и нормален, а ты живёшь чужим прошлым, которое преследует тебя спустя тысячи лет.

– Это не чужое прошлое! – мягко возразил Гольдберг. – Просто Стелла и Мария – две стороны медали, имеющей на самом деле всего одну сторону. Как лист Мебиуса.

– Вы так умны, господин Гольдберг! – смущённо улыбнулась она.

– Да бросьте, – отмахнулся он, – просто жизненный опыт! Хотя... не исключено, что ваш комплимент уместен.

На минуту он задумался, потом спросил:

– Вы и вправду после тридцати ничего не помните?

– Ничегошеньки, – подтвердила Мария.

– Вот и ответ на ваш вопрос! – сообщил он торжественно, не скрывая удовлетворения.

Но она всё ещё не понимала. Гольдберг улыбнулся: да ведь всё очень просто, если подумать! Давая Марии вторую жизнь, Он уже знал точный срок. И посчитал, что лишние воспоминания будут ей только в тягость.



– Вы встретитесь с Ним на ваше тридцатилетие, – ухмыльнулся Гольдберг.

– Так скоро? – ужаснулась она. А что будет с родителями, с её единственной подружкой? С её котом, наконец.

– Похоже, несколько месяцев ещё есть, – насмешливо заметил он. – Не могу сказать, что я буду сильно сожалеть о человечестве. Да и вы, наверное, тоже, после того, как оно целый год держало вас в сумасшедшем доме. В любом случае, бояться нечего. Место на небесах для вас лично наверняка уже приготовлено, как и для всех ваших близких.

– А для кота? – спросила она сквозь слёзы. Но это были слёзы радости.

– Когда всё начнется, а вы это почувствуете сразу, просто держите его на руках, – посоветовал Гольдберг. – Не думаю, что Он вас с ним разлучит.

Мария с горячностью его поблагодарила, а он не удержался – какой спрос со старого еврея?! – и посоветовал, что так ничего и не узнал о рае. Не то что рассчитывает туда попасть, но всё-таки... Может, его вообще не существует?

– Может, и не существует, – засомневалась она. – Когда мы были вместе, Он никогда не говорил про рай, только про Царствие небесное. Наверное, это разные вещи.

– Скорее всего, – согласился Гольдберг. – Вряд ли меня там ждут, так что вопрос умозрительный.

– Вы ошибаетесь, – горячо воскликнула она. – Ничего ещё не потеряно. Просто вы Его не знаете так, как я.

– Скоро узнаю! – скептически заметил он.

Самолёт начал снижаться. Гольдберг взглянул на Марию, уставившуюся в иллюминатор. Облака, одни только облака. Ничего интересного, если только ты не видишь на них Его образ. Ей это дано, ему нет. Разница, что ни говори, существенная.

Уже перед самой посадкой она спросила:

– А как Он меня узнает среди миллиардов людей? Да ещё с котом.

– Не думаю, что с этим возникнут сложности, – ответил Гольдберг, не задумываясь. – Я же вас узнал.

Ироничный этот ответ полностью её успокоил. Когда самолёт приземлился, Гольдберг вновь подхватил рюкзак Стеллы. Сказал, что проводит до выхода из терминала, а потом вернётся. В Лондоне у него точно никаких дел, да и вообще нужно оправиться от потрясения. Казалось, он постарел лет на двадцать. Хотя, учитывая его возраст, это была такая мелочь!

Возле стойки пограничного контроля они торопливо попрощались, и Гольдберг вернул рюкзак. А заодно сообщил, что среди встречающих Мария увидит человека с её именем на табличке. Это водитель лимузина, он ждёт распоряжений.

– Вы очень добры... господин Гольдберг!

– Агасфер, с вашего позволения – улыбнувшись, поправил её он и отправился в обратный путь. Но не успел сделать и десятка шагов, как услышал её крик:

– Обязательно Ему передам, что вы теперь совсем другой!

Обернувшись, Вечный странник торопливо ответил:

– Нет-нет, не надо!.. Скажите ему, что у меня всё хорошо.

Когда он окончательно затерялся в толпе, Мария направилась к окошку контроля. Молодой офицер, смерив её хмурым взглядом, проставил в паспорт штампы.

– Улыбнитесь! – попросила она. – Иначе не попадёте в Царствие небесное!

– Вы выжили? – вежливо поинтересовался он.

– Нет, но сегодня обязательно напьюсь! – дерзко ответила Мария. – Вам тоже не помешает, если вы грешник.

– А если нет? – улыбнулся офицер.

– Тогда тем более.

Выйдя из закрытой зоны, она заметила плакат со своим именем. Судя по всему, водитель получил её описание, так как двинулся навстречу.

– Мария? – спросил он. – Куда вас отвезти?

– Подбросьте до Сохо, а дальше я уж сама! – с лучезарной улыбкой воскликнула она.

И, заметив его недоуменный взгляд, добавила:

– Хочу пройти пешком... пока это ещё возможно.

ВАДИМ ЛАНДА

ЧАСОВЩИК рассказ

На этой планете всё было как на нашей. Только одна особенность: у каждого на руке часы – одни с самого рождения. Это у нас они просто показывают время, а там пока идут – жизнь движется, а если остановятся – всё замирает. К примеру, потерял свои школьник – вот и ходит в тот же класс второй год, пока родители не помогут ему отыскать пропажу. Или, скажем, женился счастливец в апреле и от радости часы куда-то подевал. Если брак не сложился, изменить что-либо не получится: юноша будет снова и снова жениться только в апреле и так же неудачно.

Еве не повезло: её часы остановились. Может, потому что попали под дождь. Может, заводской дефект. Да только жизнь пошла по кругу: дом – работа, работа – дом. Ни в театр сходить, ни книжку почитать. Личная жизнь тоже не складывалась. К ней, девушке видной, подбивали клинья мужчины с исправными часами, но для неудачных отношений довольно было поломки её часов. Починить механизм не удавалось никак: невозможно было отыскать запасные детали. Вот такая история.

Его звали Часовщик – так давно, что настоящего имени и сам не помнил. Он действительно чинил разные часы, заводил остановившиеся специальным ключиком – для каждого случая ключик свой, не похожий на остальные. Мастерской у него не было, работал то там, то тут. Многие слышали о нём, но не знали в лицо. Однажды на одной из маленьких тихих улочек Часовщик остановился у витрины часового магазина, чтобы рассмотреть образцы. Его отвлек стук каблучков по тротуару. Обернулся и увидел Еву, которая возвращалась домой с работы. Сразу стало понятно многое. Видите ли, люди, у которых остановились часы, ходят как заведённые – это видно сразу, по крайней мере мастеру. Он осмелился окликнуть девушку и сказал так: «Я умею чинить часы и хотел бы взглянуть на ваши». – «Вы потратите на меня своё свободное время», – смутилась Ева. «Это неважно, – ответил Часовщик. – Важно, чтобы вы решили, насколько это вам нужно». Ева немного подумала и протянула часы. Он разложил маленький чемоданчик, ставший при этом столиком, достал из него инструменты и вскрыл механизм. Таких запасных деталей в его коробочках не было, но... Ничего не бывает случайно – Часовщик пришёл к этому выводу ещё в прошлой жизни, когда занимался починкой людей. Он снял крышку со своих часов, извлёк оттуда колёсико с пружинкой необычной формы и вставил в часы Евы. «А как же вы?» – встревоженно и удивлённо спросила она. «Для меня время остановилось намного раньше. Так бывает: часы идут, а время...» – и он протянул девушке то, что исправил. Она посмотрела на Часовщика очень внимательно и прикоснулась к его часам. Они пошли. И не просто пошли: в них зазвенел будильник. Молодые люди улыбнулись, затем стали фыркать, а потом расхохотались, держась за животы. Так они не смеялись уже очень давно.

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНКО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ рассказ

Никто, конечно, мне не верит. Все думают, что это – ловко сделанная фальшивка. Никого не убеждает то, что я жил с ним в одном дворе. Никто не верит в то, что мы могли с ним подружиться. Действительно, мне было одиннадцать, а ему почти пятьдесят. Но подружиться в таком случае даже легче. Хотя мы были очень разными. Мне страшно нравились все эти вооружённые солдаты, выстрелы по вечерам, пилзы, валяющиеся на улицах. Красные флаги. Его это ужасало. Наверное, поэтому он и уехал. Потом уже я узнал, что в Париж. Больше я никогда его не видел и писем от него не получал. Да и как вы представляете себе письмо из Парижа в почтовом ящике коммунальной квартиры на Баранова, 27?



Перед отъездом он принёс мне рукопись, завернутую в плотную коричневую бумагу. Попросил надёжно спрятать, лучше – закопать.

– Тебя никто не заподозрит. Только запомни место. Я обязательно вернусь за ней. Не раскрывай её и не читай. Обещаешь?

Я сделал всё, как он просил.

Много лет спустя я узнал о том, что он умер.

Рукопись теперь у меня дома. Теперь, когда можно всё, я пытаюсь её опубликовать. Но издатели лишь смеются, увидев заголовок:

«Иван Бунин. Окаянные дни. Часть вторая».

АЛЕКСЕЙ ГЛАДКОВ

МАЙДАН рассказ

Отец снял его с плеч и крепко взял за руку. Стоять внизу, среди леса ног, было скучно; он попытался аккуратно вытащить руку из ладони отца, но тот только крепче сжал пальцы. Тогда он упёрся ножками в землю и изо всех сил потянул. Отец слегка одёрнул его, строго посмотрел, но руку отпустил, тут же переложив свою ладонь на макушку.

И всё равно стоять внизу было неинтересно. Там, на плечах отца, жизнь бурлила: палатки, наваленные в кучи вещи, мешки, автомобили, автомобильные шины, костры, люди. И ангел, наблюдающий за всеми с огромной колонны.

А внизу ничего видно не было. Отец не давал отойти в сторону. Он то теребил большой помпон на макушке – тогда из-под шапки выбивались волосы; то поправлял и волосы, и шапку – тогда всё возвращалось по местам. Мимо проходили ноги. И было весело вытягивать руки так, чтобы они касалась этих ног. Ноги на секунду задерживались, и кто-то незнакомый удивлённо смотрел сверху, улыбаясь или хмурясь. Потом ноги уносили его дальше, и уже кто-то другой останавливался, весело грозил пальцем, через секунду тоже исчезая в толпе.

К отцу постоянно подходили люди. С одними он радостно обнимался, другим – просто жал руку. Иногда он показывал на сына. Тогда незнакомец опускался. Широко улыбаясь, протягивал ладонь, гримасничал и вопросительно смотрел вверх. Отец, как бы с сожалением, качал головой, и незнакомец, хлопнув по плечу или потрепав макушку, поднимался, оставляя мальчика среди ног.

Люди подходили и уходили. Однообразная суета уже порядком надоела, как вдруг появилась большая чёрная собака. Вытянув морду, она втягивала холодный воздух, выдыхая белый пар. Мальчик протянул к ней ручку, и собака, осторожно приблизив нос, так что даже через рукавичку ощущалось горячее дыхание, лизнула её. Это было смешно, и он рассмеялся. Вдруг, подняв уши, собака резко выпрямилась. Через мгновение – рванула в открывшийся проход.

«Это такая игра!» – подумал мальчик и побежал за ней. Следуя за чёрной спиной, миновал палатки, пробрался между мешками и шинами, обогнул горячие бочки, пробежал ещё немного, свернул за угол и... потерял её.

Он очутился на улице, где людей почти не было, а те, что были, вели себя странно. Одни стояли за деревьями, другие лежали на земле. Согнувшись, кто-то перебегал через дорогу. Казалось, что взрослые играют в прятки.

Мальчик побежал вперед и остановился посреди квартала, чтоб его заметили. Но никто не подходил. Вокруг было пусто. Повертев головой, он увидел только одного дяденьку, который, стоя за деревом, делал смешное лицо и махал руками, будто бросая в него снежки. Но снежков не было. А дяденька всё продолжал махать, корча рожу. Из-за соседнего дерева появился другой. Этот тоже стал кривляться и размахивать руками. Потом ещё один из-за мусорного бака... и ещё несколько в воротах дома. Их было много! Все они бросали невидимые снежки, и, будто клоуны в цирке, широко открывая рты, выпучивали

глаза. Несколько раз все резко прекращали игру, пригибали головы и смотрели куда-то в сторону. Но после – ещё сильнее принимались кривляться. Это было весело, и мальчик снова рассмеялся. И тут первый дяденька выбежал из своего укрытия. Но не успел сделать и нескольких шагов, как схватился за грудь и повалился на землю. Двое других подбежали и потащили его обратно. Мальчик испугался.

Беспомощно стоя посреди неприветливой пустой улицы, окружённый чужими людьми, он внезапно понял, что никто больше не держит его за макушку, и что нет больше ног, с которыми здоровался папа, и что самого папы рядом нет. Слезы хлынули из глаз. Он стал вертеться на месте, пытаясь угадать обратную дорогу. Мир закружился, завертелся вместе с ним, всё перепуталось: деревья, люди, собаки, вещи, твёрдые круглые шапки на головах, чёрные ботинки... Он хотел к папе! И папа напёрлся!

Отец выбежал из-за угла дома. Увидев сына – бросился к нему. Мальчик повернулся и протянул навстречу ручки. Вдруг что-то невидимое ударило отца, он остановился и упал.

Мальчик бросился к нему. Но не успел добежать – чья-то сильная рука подхватила, прижала и понесла. Ему было четыре года. Он был от рождения глух.

ВИКТОРИЯ КОРИТНЯНСКАЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ РАЗГОВОРЫ

рассказ

Одесситы – народ общительный. Это известно далеко за пределами города. А пассажиры одесских троллейбусов и трамваев – это вообще отдельный разговор.

Учителя, медики, инженеры... Вся старая и нищая интеллигенция Одессы ездит нынче в троллейбусах и трамваях, потому что не имеет лишних денег, чтобы ездить на маршрутках.

– Пионерский, – говорят они с вызовом, занимая передние места в салонах горэлектротранспорта.

– Уже заработали... – бросают они с грустной улыбкой, проталкиваясь через молодежь вглубь вагона.

Одессит воспитанный и очень благодарный собеседник. И если есть с кем поговорить, так отчего бы не поговорить? Но, начать разговор первым, как-то неприлично, поэтому все едут молча, едут и ждут. Ждут, что вот, кто-то пересилит себя и таки начнёт говорить. И если в салоне, не дай Бог, так и не найдётся такой смельчак, за него начинает говорить кондуктор. О, эти ворчливые, алчущие ваших денег люди в оранжевых жилетках. Им нипочем ваши хорошие манеры и сонная тишина в салоне.

Ну что ж, рот открылся, слово сказано, и разговор завязался. И вот тут, в поднявшемся шуме и гаме, одессит расскажет вам за жизнь, за семью и за Одессу. Потому что нет для настоящего одессита ничего дороже жизни, семьи и родного города.

Утро, тяжело едет переполненный пляжниками вагон седьмого трамвая:

– О! Опять двадцать пять! – смеясь и толкаясь, громко кричит грузная женщина-кондуктор на первой площадке. – Начали за рыбу гроши. Нет, это даже интересно! – через некоторое время говорит она опять, уже с задней площадки. – А ну-ка, расскажите ж мне, девочки, как мне ужаться?

Салон наполняется смехом и разговорами, но вдруг какой-то строгий женский голос, перекрикивая шум, громко произносит:

– Не слушайте их. Как вы можете ужаться, если это – ваш естественный размер?!

– Вот именно! – весело кричит кондуктор, протискиваясь по салону. – Скажете тоже, ужаться... Иш, что придумали?! Да если б я была худая, разве могла б я, вот так между вами пролазить?!

– Ледокол! – грозно поднимая вверх указательный палец, неожиданно фальцетом выкрикивает худой и седой, как лунь, старик. Смех раздаётся в салоне, и женщина-кондуктор уже открывает рот, чтобы ответить. Но тут взгляд её упирается в окно, и жирно подведённая чёрная бровь удивлённо ползёт вверх.

– Приехали! Пассажиры, Лузановка! Кто хотел Лузановку?! – кричит она, выискивая в салоне людей, хотевших Лузановку. – Уже приехали! Все выходим на море! Фу-х, – падая на сидение, тяжело вздыхает она и, быстро перебирая пальцами, начинает пересчитывать скомканные комочки денег, доставая их по одной из жёлтой засаленной сумки. – Не, ну надо ж такое сказать? Вы слышали? – обращается она к высокому грузному мужчине.



Но тот молча смотрит в окно, и на лице его написано угрюмое настроение.

– Ледокол... – махнув на мужчину рукой и довольно улыбаясь, повторяет кондуктор. Но тут улыбка сходит с её лица:

– Молодой человек, я вас вижу! Что у вас за проезд? – вскакивая, вскрикивает она и стремительно бежит через весь салон к пассажиру.

Жарко. Идут с Посёлка на Пересыпь синие и красные вагоны. В красные попасть выгоднее – в них больше сидячих. Но в какой ни зайдёшь, везде разговоры:

– Девочки, да шо ж сегодня с вами такое? На море едем – ругаемся, с моря едем – ругаемся! Море ж вроде как нервы успокаивает?! Шо за рекламу вы делаете нашему морю?! Перестаньте немедленно! Вы распугаете всех туристов! – перекикивает ругающихся дам кондуктор. – Разве ж можно так работать?! Из-за вас я себя не слышу! Вы мешаете мне делать кассу!

А вот ещё, но уже на десятом троллейбусе:

– Она шо, дрова везёт? Кто там нас везёт, женщина или мужчина? – возмущённо спрашивает невысокая, сморщенная, словно сухая слива, старуха в коротком каре.

– Женщина, – отвечает ей кондуктор.

– Она шо, водить не умеет? – не унимается та.

– У неё первый класс. Просто машина у ей старая, вот поэтому и дёргает очень, – миролюбиво улыбаясь, ласково шепчет кондуктор старухе.

– Ну, ты глянть! Всю душу вытрясет, пока до Привоза доедем, – пронзительно кричит старуха, грозно надувая щеки.

– Просто она у нас бывшая летчица. Как Савченко, – подмигивает кондуктор важной даме. Но та лишь презрительно щурит глаза, и большое нарумяненное лицо её демонстративно отворачивается к проплывающей в окне синагоге, что на Еврейской.

– А вы, женщина, наверное, не одесситка, – радостно кричит тогда ей кондуктор. – Или у вас большое горе? – после некоторого раздумья неуверенно добавляет он, окидывая даму внимательным взглядом.

– Не, ну вы глянтьте? Да шо ж это такое?! – не унимается старуха на задней площадке. – Дёргает и дёргает, а дорога-то ровная! – кричит она нарочно громко, чтобы было слышно на весь салон.

– А вы на маршрутку пересядьте, – советуют ей люди.

– Там вас мальчики быстро доставят, – поддакивает кондуктор, выглядывая из-за толстого дяди.

– Не надо нам рассказывать за маршрутки. Не надо нам говорить, что и как! Сами разберёмся! – ревёт старуха. И красные пятна, как маки расцветают на её тёмной жилистой шее.

Тучи старушечьего гнева метают молнии в кабинку водителя. В троллейбусе назревает скандал, ещё минуту, и...

– Остановка «Улица Пантелеймоновская», – безучастно объявляет кабинка.

– Ну, слава Богу, доехали... – ворчит старуха. – Молодой человек, спустите мне тачку!

Облегчённо вздыхает кондуктор, и пассажиры снова сонно смотрят в большие троллейбусные окна. А вот тоже, на 10-ом троллейбусе:

– Уважаемые пассажиры, кто разменяет сто гривен? – кричит кондуктор со средней площадки.

Равнодушным молчанием отвечают ему пассажиры в салоне. И кондуктор не выдерживает:

– Девочки, я говорю совершенно серьёзно. Знайте, кто разменяет мне деньги, в этом году обязательно выйдет замуж. Что? Никому замуж не надо?

Робкие улыбки расцветают на женских лицах.

– Давайте разменяю, только мне нужно, чтоб и двадцатка была, – репается вдруг одна девушка.

– Сделаем, – считая пятёрки, отвечает кондуктор, – желание симпатичной дамы для нас закон. Вот, пересчитайте! Внимательно пересчитайте! – торжественно и громко говорит он и кому-то назидательно машет пальцем. – Знайте, в этом году вы обязательно выйдете замуж, – авторитетно заявляет кондуктор, убедившись, что всё верно. – Вот. Так и знайте.

– А я уже замужем, – немного зардевшись, отвечает девушка.

– Не может быть, такая молодая персона и замужем?! – удивлённо тараща глаза, в испуге вскрикивает кондуктор. Он притворно хватается за сердце и закатывает глаза, но, со вздохом повинувшись долгу, тут же резво мчится к вошедшим на заднюю площадку пассажирам.

– Раз так, – кричит он оттуда. – Значит, у вас в жизни произойдёт что-то очень хорошее! Да. Точно вам говорю! Это проверено! И не раз! – снова кричит он девушке, но уже с первой площадки.

– Простите, а об чём разговор? – спрашивает пассажиров полная дама, вошедшая на Таможенной.

– Раньше надо было садиться, – строго отвечает ей кондуктор, пробегая мимо.

А бывает и так, уже на первом трамвае:

– Когда летом в Одессе жарко – это одно удовольствие, – говорит, широко улыбаясь знакомой женщине, пожилой мужчина с удочками в руках. – А когда летом в Одессе вдруг похолодало – это другое удовольствие.

– Я, конечно, сильно извиняюсь, но хочу вам сказать, – наклоняясь всем телом, доверительно шепчет им женщина, сидящая через пару сидений, – Вы забыли за море. Наше море – это ещё то удовольствие!

– Да разве ж это удовольствие?! – удивлённо вскрикивает мужчина. – Море – это счастье!!! – восклицает он, и, задев стоящих, выскакивает на Векслера.

Или так:

– Ты же знаешь, я не дорого беру. У меня чистенько, две остановки до моря... Шо ещё человеку надо? – сквозь скрип тормозов, кричит в мобильник шуплая бабка, сидя на переднем сидении. – Ты же знаешь, я не скандальная. Но тут я не стерпела. Я пошла и сказала ему всё, что думаю. И знаешь, что вышло? – срывается на высокие ноты её голос. – Он снял побои и теперь подаёт на меня в суд? Нет, ну ты можешь себе это представить?

– Дамочка, – осторожно касаясь её руки, вежливо говорит кондуктор. – Вы заинтересовали весь троллейбус, но имейте в виду, вы отвлекаете водителя...

– Лора, ты слышишь? Мне говорят, что я отвлекаю водителя, – возмущённо восклицает бабка, обводя удивлёнными глазами салон троллейбуса и многочисленных пассажиров. – Я тебе позже перезвоню, – говорит, наконец, она после некоторого молчания. – Выйду, и мы поговорим, – прикрывая трубку рукой, произносит бабка. – Хорошо, хорошо. Пока. Ну вот, вы довольные теперь? – язвительно спрашивает она, уставившись на кондуктора маленькими злыми глазками.

– Совершенно, – широко улыбаясь, отвечает кондуктор. Молчаливое бабкино презрение пронзает кондуктора острым ножом насквозь, но тот, не обращая на неё никакого внимания, громко кричит кому-то на задней площадке:

– Уважаемые пассажиры, кто забыл дать деньги за проезд? Не стесняйтесь, прошу вас, я ж не кусаюсь...

Едут по Одессе троллейбусы и трамваи. Едут возле моря и мимо Привоза, заворачивают на Тираспольской и мчатся по Канатной....

Всю соль Одессы можно собрать в их салонах. В этих старых и кривых машинах ещё иногда слышна настоящая Одесса... Не жалейте денег, дорогой читатель, зайдите в троллейбус и прокатитесь на трамвае. Три гривны не сделают вам погоды. Что стоят они, эти копейки, по сравнению с тем, что, возможно, повезёт вам услышать...

«ОКОЁМ»

От редакции: С 31 мая по 3 июня в Минске проходил пятый Международный литературный форум «Славянская лира – 2018», одним из соучредителей которого является Южнорусский Союз Писателей. Ежегодно в жюри литературного конкурса «Славянской лиры» работают представители ЮРСП. В этом году в работе международного жюри принимал участие Председатель ЮРСП Сергей Главацкий, а на самом фестивале ЮРСП был представлен главным редактором «Южного Сияния» Станиславом Айдиняном. II в этом году впервые наш журнал публикует произведения некоторых победителей литературного конкурса «Славянской Лиры».

В номере опубликованы стихотворения Марии Крутовой (1-е место в номинации «Свободная тематика»), Светланы Пешковой (2-е место в номинации «Свободная тематика» и 2-е место в номинации «Пейзажная лирика»), Павла Соловьёва (3-е место в номинации «Свободная тематика»), Людмилы Чеботарёвой (1-е место в номинации «Пейзажная лирика»), рассказы Надежды Оситовой, Олега Куимова и Любви Старшиновой (1-е, 2-е и 3-е места в номинация «Малая проза»), также первые 2 акта пьесы «Стихограф» Виталия Москалёва, заслужившей 3-е место в номинации «Драматургия» по итогам голосования зрителей фестиваля.

МАРИНА КРУТОВА

Тверь

ЖЕНСКОЕ РЕМЕСЛО

Снег занавесил простынями сад:
Хэбэшки белоснежные висят,
И в детство тянут и зовут упрямо.
Там – тощая спиральная доска,
На речке два подгнившие мостка,
И прорубь, где бельё полощет мама...
В воде холодной пальцы, словно лёд.
Отпустишь ткань на миг – и унесёт,
А мама шутит: «Для русалок платя».
С ней рядом – таз, бельё горой лежит...
Не каждый с ним управится мужик.
Вот только это – «женское» занятие...



Потом в саду, от неба до земли,
Белеют парусами корабли –
Морозом укрощённые скитальцы.
Так было раньше... И почти везде:
Бельё купали в ледяной воде,
И мучались всю жизнь от боли в пальцах.

Течением те годы унесло...
Быть женщиной – «простое» ремесло?
Поймёт не каждый этот подвиг тяжкий.
...А мама рядом. И её рука,
Как в детстве, исцеляюще легка...
И я целую красные костяшки.

АНТОНОВКА

Антоновку с ветвей снимал сосед,
Стремянкой небо подперев умело.
И осень на его ладонях зрела,
И он был этой зрелостью согрет.

И становился будто бы здоров,
Вдыхая запах кислый и бодрящий.
И тяжесть яблок наполняла ящик,
И душу наполняла до краёв.

Но жизнь сама снимает урожай,
Срывая с веток души, будто ношу...
И дом был снегом густо запорошен,
И было деда по-соседски жаль.

А прелый запах яблоневых строк,
Лежащих без движенья на соломе,
Напоминал, что был хозяин в доме,
Но пережить антоновку не смог.

НАСЛЕДСТВО

Где-то там, где дома прикипают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок
Да изба, прислонённая боком к ветле.

На облупленный шифер налипла листва,
Словно сияясь прикрыть неухоженность дома.
И ветвей рукава, будто свыше ведомы,
Обнимают его по законам родства...

Опустевший давно – не приют, не очаг, –
Доживает свой век по-крестьянски покорно...
Здесь, из этой земли, силу черпали корни,
Но о них облетевшие листья молчат...



Лебеда и полынь – старожилы глуши.
Сотню вёрст прошагай – тишина бездорожья...
Здесь наследство моё: не от бабушки – божье.
А вокруг – ни души.

СВЕТЛАНА ПЕШКОВА

Липецк

БАЮ-БАЮ

Баю-баю... снов не видит
Старый хутор по ночам.
По дворам, заросшим снытью,
Бродит лунная печаль.
То, вздохнув, уронит грушу,
То пролёт вишнёвый сок,
То из бурой вязкой лужи
Смачно сделает глоток.
То водой в колодце булькнет,
То возьмётся в окна дуть.
А устанет – ляжет в люльку,
Позабытую в саду.

Ветер люлочку качает,
Осторожный, словно вор.
За плетнями, нескончаем,
Стелет простыни простор.
Заглянула в люльку птица –
Ищет гнёздышко птенцам...
Седовласый пар клубится
У прогнившего крыльца.
Речка звёзды привечает,
Привечать чужих – не грех.
Над заброшенным причалом
Вьётся иволговый смех.

Волк, свернувшийся в калачик,
Спит у чёрного куста.
Баю-бай.
Никто не плачет.
Ночь.
И люлочка
пуста.



ТРАНСЛЯЦИЯ ВОЙНЫ

Упасть в траву, как в детстве, и молчать...
 Закрывать глаза и видеть даль за далью,
 подслушивать, как шепчет молочай
 признания в любви смущённой мальве,
 как василёк колышется во ржи,
 поёт ковыль, трезвонит колокольчик...
 Прозрачный полдень кружит и жужжит,
 звенит, порхает, льётся и стрекочет.
 И запах детства...
 Это только сны.
 Повсюду скрежет ферросплавной массы.
 Я слушаю
 трансляцию войны
 машин с людьми.
 Я жительница Марса.

Случилось... Вдруг пахнуло влагой,
 и что-то ёкнуло внутри –
 уйти в себя, понуть, поплакать,
 сказать, что плохо, но схитрить.
 Стоять у форточки открытой,
 накинув старенькую шаль,
 и просто так, устав от быта,
 пьянящей свежестью дышать.
 ...Так пахнет Дон в часы рассвета,
 когда туман ползёт к воде.
 Так пахнет вздох сырого ветра,
 вино полуночных дождей,
 парное кружево проталин,
 подснежник, лужи во дворе,
 лесная глушь, степные дали,
 побег пряных купырей,
 едва проросшая крылатка,
 оживший мох, твоё плечо...

Так март проник в мой дом украдкой,
 вчера разбуженный грачом.

НАДО МНОЙ – ЗЕМЛЯ

Ты меня по имени не зови,
 мы с тобой случайные визави –
 две беды в простреленной тишине.
 ...А меня вне города больше нет.
 Я дитя его – у него внутри,
 и смотрю глазами его витрин
 от Базарной площади до пруда.
 Я теперь из города – никуда.
 От Никольской башенки – до кремля
 подо мной – земля,
 надо мной – земля.



Я теперь – дыханье крылатых львов,
 папиросный дым, перегар дворов,
 колокольный звон и колёсный скрип,
 я – нектарный флёр златоглавых лип.
 У меня в ладонях –
 прохлада луж,
 у меня в гортани –
 сквозняк и сушь.
 Ты привык по имени... Ну и что ж!
 Отними у памяти, уничтожь,
 вырви восемь звуков, сожги, развей,
 без любимых слов – забывать быстрее.
 Я тебе ни сродница, ни жена,
 не тобой наказана-прощена.
 Я – вьюнок, примятый твоей ногой,
 и трава, и корни, и перегной,
 серый мох, крадущий тепло камней...
 Ты, когда остынешь, придёшь ко мне.

МЕЗСЕЗОНЬЕ

Серых дней густое варево
 расплескало немоту –
 ни писать, ни разговаривать,
 ни молиться не могу.
 Город спутан пуповинами
 размороженных дорог.
 У домов глаза совиные,
 парк до веточек продрог.
 Тучи наглухо задёрнули
 небо траурным тряпьём.
 Голосят ветра матёрые –
 скорбно, каждый о своём.
 Вечер груб и необщителен,
 воздух горек и несвеж.
 Основным у существительных
 стал винительный падеж.
 Туча-роженица тужится,
 приготовила сюрприз –
 свежевывжатые лужицы
 под ногами разлились,
 потекли ручьи страдальные.
 И никто не хочет знать,
 что под кружевом проталины
 зарождается весна.

СИГАРЕТЫ, ВИНО И НАМОКШИЕ СПИЧКИ

Возвращаюсь всё чаще в былую страну,
 где мы были моложе, свободнее, проще...
 Если хочешь ушедшие дни помянуть,
 приходи!
 Приходи на Соборную площадь.

Там лежит под ногами граффити «Забей»,
и от этого слова коробит брусчатку.
Там Ильич возглавляет союз голубей
и двуглавых орлов костерит беспощадно.
Прихвати, как тогда, сигареты, вино,
никаких зажигалок – намокшие спички.
Если хочешь опять побрататься с весной,
то забудь, что сегодня считаешь логичным.
Где сирень бушевала – фонтанный каскад
театрально плюётся водой купоросной,
потому зеленеет с годами тоска
и становятся медными белые росы.
Мы считали тогда, в девяностом году,
что наш вид в сорок лет будет скорбен и жалок.
Поглядим...
Ты дождись, я на площадь приду –
сигареты, вино. Никаких зажигалок.

ПАВЕЛ СОЛОВЬЁВ

Гродно

ПРОЩАНИЕ С УЕЗДНЫМ ГОРОДОМ N

Стылый плацкарт, тридцать шестое, в проходе тусклый фонарь.
Немеет под пальцами поручень, табак разъедает глаза.
Стоя в последнем тамбуре, смотришь в иллюминатор окна,
Как уезжает вокзал.

У каждого стыка на перегоне – свой перестук.
Каждая шпала имеет свой запах, историю и узор.
Вдоль креозотом пропитанной насыпи гонит коров пастух,
Плащом похожий на Зорро.

Каждому часу – свой часовой, а стрелке – свою орбиту;
Звёзды легли на дно, кукушка захлопнула ставни.
Дым из трубы с гудком пополам превращается в сбитень
Со вкусом мазута и стали.

Мир за окном покрывается белым. Планета теряет стыд.
Сереющей бязью туч надуваются небеса.
В них расплывается и исчезает стих, который ты
Когда-то не дописал.

ЕЩЁ ОДНА ГОРОДСКАЯ КАРТИНКА

человек выходит на улицу площадь лобное место
чтоб не давили стены
раструбами валторн проходящий мимо оркестр
фальшивит шопена



человек садится прямо на мостовую
 трогает пальцем брусчатку
 вырисовывает на гладких камнях заковыристую кривую
 стирает свои отпечатки
 за высокими стенами города дым костров ржанье коней
 стали лагерем замкнули кольцо
 погребя не бездонны сахар и соль уже поднялись в цене
 на воротах парка культуры вешают первых купцов
 за стеклом газета передовица обещает скорый прорыв
 мол правительство в курсе думает чем помочь
 человек достаёт из кармана десяток хлебов и рыб
 оставляет на мостовой и уходит прочь

ТАК БЫВАЕТ

Так бывает: побудка, впригиваешь в сапоги и бежишь, пригибаясь, кричишь в темноту «ура», ведь тебе сказали, что там, впереди, враги, ты бежишь, в голове тамтамы, в груди дыра, ветер свищет навстречу, в лицо и чуть-чуть насквозь, а в ушах отголоски взрывов, топот и мат, просыпаешься с криком, откуда и что взялось, боже, боже, ну какой из меня солдат?

Так бывает: идёшь на кухню и ставишь чай, и в трусах, не проснувшись, делаешь бутерброд, в голове тамтамы с ночи ещё стучат, чистишь зубы; лифт, светофор, переход, метро, забегаешь в офис, включаешь, ныряешь в сеть, почта-таски-баги, на митинг, на бизнес-ланч, боже, боже, если ты всё-таки есть... нет ответа, по route to host, досадно, хоть плачь.

Так бывает: мальчишка в шортах на берегу, босиком, по щиколотку в воде, а на берег неспешно волна за волной бегут, треск кузнечика, пчёлы жужжат в резеде, до земли водопадом зелёным ветви раки, по воде круги, и птицы до хрипоты.

Мальчик пускает блины-восьмушки по глади реки,
 мальчик счастлив.
 А ты?

ЛЮДМИЛА ЧЕБОТАРЁВА

Нацрат-Иллит, Израиль

«ЛИВЕНЬ» ВИВАЛЬДИ

На землю обрушился ливень Вивальди,
 Страшая трещотками грозного грома.
 Выкидывал дождь антраша на асфальте,
 Как юнга, впервые отдававший рома.

Под стоны простуженной виолончели,
 Дрожать заставляя озябшие гнёзда,
 Раскачивал в парке промозглом качели,
 И вновь возносился под самые звёзды...



Ах, как он мечтал отогреться под крышей!
 Под вдрызг прохуdivшимися облаками,
 Под ветром, надувшим ветрило афиши,
 В неистой пляске дробил каблуками

На гребне девятого шквального вала...
 Вдруг угомонился послушным ребёнком,
 Отправленным спать посреди карнавала
 И лишь на прощание всхлипнувшим тонко.

Мир утром проснулся в своей колыбели
 И землю увидел не сирой и блёклой –
 Разбуженной трелью апрельской капели
 И светом, струящимся в чистые стёкла.

НЕ БЕАТРИЧЕ

С последним солнечным лучом
 Замрёт скрипичное каприччо.
 А я тут вовсе ни при чём,
 А я – не ваша Беатриче.

Войдёт октябрь в мой тихий сад,
 И вознесутся горьким дымом
 Воспоминанья о любимом:
 Рай... и чистилище... и ад...

На лужах зреют пузыри,
 Как яблоки в саду осеннем.
 И ожидание зари –
 Как заклинанье о спасенье.

И дождь на тоненьких ногах
 Впервые встанет на пуанты.
 А в расходящихся кругах
 Мелькнёт чеканный профиль Данте.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Мне на плечо прилёт последний лист¹
 Опальной тополиной эполетой.
 Хрустальный воздух чист и серебрист.
 Пурпурная крылатка бересклета
 Малиновкой слетает мне в ладонь,
 Отдавись аквилону на закланье.
 Пусть осени разгневанный огонь
 Дотла спалит блаженные желанья!
 И я, освободившись от оков,
 Вдохну покой и благостную негу,
 А тихий ангел из-под облаков
 Пошлёт нам свет – предтечу первоснега.

¹ Строка из стихотворения Михаила Найдича.

НАДЕЖДА ОСИПОВА

Енисейск

«СИДИТ БЕЛКА НА СУКУ...»

рассказ

Солнца почти не было видно. Где-то поблизости горела тайга. И дымовая завеса мрачно прикрывала мой маленький городок. Иногда ветер возвращал солнце, но ненадолго – дым снова выкарабкивался из тайги на городские улочки.

Конец августа принёс долгожданные дожди, лесные пожары постепенно угасли. Дождями промылось закопченное небо, и утро теперь встречало солнце сырой прохладой. Как-то так вышло, что лета в смоге я не разглядела, а северная осень уже пришла в город. А там и до зимы рукой подать. Эти мысли съедали меня поедом дённо и ночью, но мало что менялось. Потому как на мгновенный подвиг способен каждый человек, а затяжные испытания приносят лишь растерянность и усталость. Проблем накопилось так много, что я перестала понимать, с какого бока к ним можно подступиться. Совсем не было на зиму дров. Как выглядят деньги, уже стала забывать, потому что мизерную свою пенсию я в один день обменивала на квитанции. Сухари давно закончились, и питалась я в основном овощами со своего огорода. И порой казалось, что от одиночества и тишины звенит в доме воздух. Муж умер от рака три года назад. Сыновей я почти силком вытолкала из дома, оба учился в дневной аспирантуре в больших городах. Правды ради в эту гряду проблем надо было добавить, что мой возраст лихо вышагивал к шестидесяти годам, а через два месяца я должна была ехать в Москву на сессию в Литературный институт, за учёбу в котором огребала немало неприятностей от местных чиновников. И если посмотреть со стороны на сложившуюся ситуацию, выходило, что всё очень плохо. Но, самое главное, – я уже прошла такую трудную часть сложного пути, что давно потеряла право сдаваться. Пусть не для учёбы, и не из самолюбия, но я хотела во что бы то ни стало выстоять. Работы в городке не было с советских времён. И чтобы не замёрзнуть зимой у нетопленной печки, да не заморить себя голодом, надо было срочно начинать что-то делать.

Несмотря на тяжесть обстановки, несурзные поступки я продолжала множить, потому как решила в одиночку собирать на болоте клюкву, чтобы заработать денег. Болотные сапоги сохранились от прежней благополучной семейной жизни всяких размеров. Муж был охотником, и ему нравилось таскать меня за собой по тайге и окрестным болотам, поэтому местность я не только хорошо знала, она казалась родной и привычной. В напарники звать было некого – баба сразу утонет в болоте, а мужик станет приставать, либо учить жизни, поэтому в тайгу я рванула молчком и в полном одиночестве.

На деле всё оказалось не так хорошо, как представлялось дома. Насилу отыскала поляну, с которой тропа брала начало к болоту. А вместо тропы теперь стеной высились заросли, опоясанные на сто рядов старой паутиной. В прежние года здесь оставляли машины ягодники, но куда они подевались нынче, я не имела и малейших догадок. Меня смущал и тот факт, что рядом не стреляли, хотя глухари только что сами не бросались под ноги. А ведь охотничий сезон с неделю как должен был начаться. Немного походила по поляне, огляделась, подумала. Но решила продолжить путь, только на болото зайти уже со стороны ручья, благо в этом году сушь простояла почти всё лето.

Тропа от ручья была протоптанной, но показалась чужой, как запретная часть вражеской территории. Временами беспричинно нападал дикий страх, и я готова была поклясться, что за мной из-за мощных стволов корявых сосен кто-то наблюдает. Во всяких водяных и леших я не шибко верила, но когда вокруг находятся зековские зоны, то мысли в голову могут заползть самые разные. А моя самозащита, пакеты красного и чёрного перца в двух карманах куртки, на общем жутком фоне смотрелась просто смешотворно.

Чтобы не рухнуть в обморок от страха, я стала напевать. Сначала в голову полезли современные песенки, но они глупой своей легкомысленностью храбрости особо не добавляли. Потом перешла на военные песни, которые твёрдо знала ещё со школы с уроков пения. Чуть-чуть полегчало. Только приходилось всё время вертеть головой, высматривая за каждым кустом опасность, да и репертуар был настолько мал, что петь одно и то же, двигаясь по вязкой тропе, мне быстро надоело. Так я соскользнула до частушек. Разухабисто распевала их, ни о чём не думая. И смелость, смахивающая на кураж, вскоре тоже появилась



сама собой. А ближе к болоту, наперекор приставшему со всех сторон страху, я уже стала орать во всю глотку матерные частушки.

Клюквы на болоте уродилось много, но до вечера я смогла набрать только одно ведро, потому что большую часть дня всматривалась в берёзы и сосны на ближней гряде. Мне всё время казалось, что за мной по-прежнему кто-то наблюдает. Но постепенно я стала привыкать, иными днями приносила домой до двух вёдер клюквы. Другие дела тоже вскоре пошли на лад. Появились деньги, я раздала срочные долги, и уже начала прицениваться к дровам.

Но страх не уходил. Он то затихал, то усиливался. Мало-помалу выяснилось, что матерных частушек я знаю великое множество. Могу распевать их весь день напролёт. Иногда увлекалась, выбирая самые забористые, и тогда мне казалось, что совсем рядом кто-то радостно хрюкает. Петь я начинала всегда с одной и той же частушки «Сидит белка на суку...». В переводе на обычный человеческий язык, если выкинуть некоторые слова, частушка должна была звучать примерно так: «Сидит белка на суку, что-то кажется барсуку. Барсучонок, барсучок, ты не залезешь на сучок». С лесной тематики плавно переходила на деревенскую, пела про трактористов, злополучную любовь и солярку. А дальше – уже по настроению.

Кроме варёной картошки и помидоров, я стала брать с собой ржаной хлеб, который таинственный «кто-то» нагло воровал. Компаса у меня не было. Я выбирала деревце, привязывала к одной из верхних веток красный платок, который служил ориентиром. Там же оставляла свой обед. Если честно, то хлеба мне было не жалко, поскольку в частые голодные времена я привыкла без него обходиться. Ещё утешала себя тем, что, возможно, это малая плата за моё ежедневное здесь пребывание.

Так прошло чуть больше двух недель болотных заработков. Однажды вечером я возвращалась домой. Тяжёлый кан с клюквой привычно давил на плечи. Болотные сапоги почти до колен проваливались меж кочек. В висках стучало. И я всю дорогу сначала по болоту, а потом и по тропе среди леса, боязливо озиралась. Мне казалось, если вытянуть руку, то я смогу даже коснуться того, кто неотступно следовал за мной эти дни. Ещё не стемнело, но сумерки уже начали расплзаться за деревьями. Возле ручья я упала, запнувшись сапогом за коряжину. Притиснутая двухведёрным каном, долго не могла подняться. Прямо у себя под носом я удивлённо разглядела косолапо вдавленный в землю свежий отпечаток медвежьей лапы. Кое-как выбралась из-под кана, отбрасывая пригоршнями грязь с одежды. Потом села рядом с тропой на траву, привалившись к сосне. Страх очень скоро сменился безразличием. Сколько просидела у той сосны, не знаю. Домой возвратилась глубокой ночью.

Первые мысли, которые поджидали меня утром возле кровати, радости не принесли. Я не понимала, как надо правильно поступить в создавшейся ситуации. Клюквенный заработок принёс стабильность. Если бы я не упала у ручья мордой вниз, то к концу месяца смогла бы уже купить дрова на всю зиму. Медведь меня пожалел, не тронул. Наверное, не людоед, или просто сытый. А морозы? Что будет со мной лютой зимой? Как пить дать, замёрзну у нетопленной печки. Потому как зима жалости не ведаёт. И какие слова я, нищая вдова, найду для мотивации, чтобы жить дальше, если не смогу осилить поездку на сессию в Москву? В мыслях прошло два дня. На третий день я пошла в городскую соцзащиту – просить денежную помощь. Через полчаса вылетела обратно со слезами, – так жестоко меня ещё не унижали. Лучше бы совсем не ходила, только замаралась...

Когда закончились деньги, я снова собралась на болото. Решила так: если рыпаться, то что-нибудь да выйдет. А если сиднем дома сидеть, то тогда уж точно пропадать... И ещё мне до судорог захотелось поверить, что в тайге ничего плохого со мной не случится и что светлое будущее в моей жизни очень скоро должно объявиться само собой, потому что я его давно заслужила. Напоследок всё же подумалось, что в моих болотных авантюрах есть и хорошая сторона – если медведь меня сожрёт, то в таком случае – хоронить не надо будет, добрым людям тратиться...

Наверное, за пятьдесят с лишком лет я себя плохо изучила. Потому как тропу от ручья до болота проскакала без страха, а частушки пела исключительно матерные, забористые, бесстыдные. Словно делала вызов всему белому свету. Изменилось и поведение медведя. Он изредка стал показываться мне на глаза, но издали. И пакет с хлебом забирал без утайки, как свой собственный, будто имел на это право. А помидоры в шутку разбрасывал по болоту, хотя картошку почему-то никогда не трогал. Иногда вдалеке он ревел столь яростно, с такой страшной тоской, что на меня нападали уже не страх, а самая настоящая жуть. В такие дни медведь подходил к краю гряды и коротким рыком требовал: «Пой!». И я пела. Точнее, орала, молилась и материлась, всё вместе.

Однажды я его успела заметить с близкого расстояния. Он стоял, совсем как человек, облокотившись на вывороченное корневище недалеко от ручья. Только успела подумать: «А вот и Вася», как он резко



оттолкнулся от коряги, а потом исчез. Случайное сближение нам обоим не понравилось, и не только на болоте, но и на тропе я опять стала часто и громко петь, чтобы не столкнуться с ним носом к носу.

О медведе Васе я думала очень часто, даже когда была дома. Может, я ошибалась, но мне казалось, что в эти места его пригнал нынешний пожар. Поэтому медведь и орал так сильно – тосковал по родным корягам. Нам обоим было очень плохо, и я смотрела на него чаще всего с большим сочувствием.

Наконец смогла полностью купить дрова. Целых пять машин пиленого дешёвого горбыля. В дровяник ещё не складывала, оставив на потом, но душу постоянно грела мысль, что дрова были сухими. Уже планировала вскоре купить и билет на поезд до Москвы.

Но, как говорят, загад – не угад. Наверное, продуло спину. Во всяком случае, к обеду я переместилась с болота на открытый край гряды, небольшую полянку, чтобы медведь Вася ненароком не споткнулся об меня, когда я буду массировать большую спину – тереться об отломленный сук старой сосны.

Возвращаться домой, когда в кане брякает всего полведра клюквы, мне не хотелось. Надеялась, что через часок-другой полегчает, так бывало уже не раз. Медведя не было видно не то второй, не то третий день. Имела подозрение, что, возможно, он уволокся в родные края. Мы порядком привыкли друг к другу, и я теперь относилась к нему как к очень большой умной собаке, которую ни в коем случае нельзя дразнить. Но шибко думать об этом не стала, мысли были заняты больной спиной. Я удобно пристроилась на полусгнившем пне возле своей лечебной сосны. На её стволе в небольшой выемке в капельках смолы барахталась божья коровка. Я подняла с земли отгрызок ветки, хотела выколупнуть бедное насекомое из смолы, но у меня ничего не получалось. В сибирской северной тайге, по моим наблюдениям, божья коровка – большая редкость, наверное, поэтому я со столь идиотским упорством не отступала от своей затеи, на некоторое время даже забылась боль в спине. Потом я задремала. Разбудил меня комар, он каким-то образом проник в платок, и противно зудел там, меняя интонации. И тут я увидела со стороны болота двух мужиков, которые вышагивали совсем близко по направлению к гряде. В руках у мелкого мужика я увидела свой пакет с ржаным хлебом, который ежедневно вывешивала для дорогого друга Васи. По повадкам сразу поняла, что это побегушники, – зеки, сбежавшие из зоны.

Первый, мелкий мужичонка походил на сперматозоид, который вовремя не отыскал цель, а теперь, как чита, юрко совался во все щели уже по сложившейся привычке. Другой, клетчатый, задумчиво смотрел внутрь себя, остальное его не интересовало. Клетчатый сразу опустился на корягу, продолжая напряжённо думать. Рядом юркий Чита поигрывал ножом. Во мне с дикой силой зашевелились гены бабушки Дуни, которая даже в свои восемьдесят семь лет боялась, что её «сильничают». Излишне говорить, что я была почти полностью парализована страхом, но старалась не подавать вида, что боюсь их. Напрасные потуги. Поскольку зеки – прекрасные психологи, быстро и легко считывающие информацию с любого человека. И через минуту-две они ведали обо мне куда больше, чем я сама знала о себе.

Трудно гадать, как складывались бы события, если бы в это время не заревел Вася. Мелкий зек вздрогнул, на мгновение замер, а потом вдруг бросился прытко бежать, но очень скоро заскулил в рябиновых зарослях – метрах в ста от полянки. Некоторое время тянулась невидимая нам возня. Потом всё стихло. Я улыбнулась, краем глаза заметив, что моя божья коровка, неуклюже расправив мятые крылышки, сама старается оторваться от жёлто-коричневого соснового ствола.

– Ты что, совсем дура? – шёпотом спросил клетчатый зек.

Я обиделась. Вскинув на плечи почти пустой свой кан, пошла напрямик по тропе к ручью. Клетчатый засеменил следом.

Шла и думала, раздувая обиду. «Вот Клетчатый посчитал меня душой. А с его “умным” напарником, наверное, до сих пор играет медведь Вася. Хотя каждый двоечник в школе с уроков природоведения знает, что от медведя бежать нельзя, тот машину обгоняет, не то что человека. Выходит, Чита только раззадорил медведя Васю, позвав с собой побегать по лесу в догоняшки». Интересно, а что бы я сама сказала, встретив в лесу одинокую старую бабу, которая улыбается, когда неподалёку от неё ревьёт медведь?.. Так мы дошли почти до самого ручья: я молчала, а зек по-прежнему смотрел внутрь себя, лелея свою тяжёлую думу. «Чем страдать, лучше бы по сторонам осмотрелся, – осудила я Клетчатого. – Ну, убил, наверное, двоих или троих, пора бы и простить себя. Вон у чиновников в городской соцзащите послужной список весомее будет, не один десяток доконали, да ничего, без печали панствуют... Познакомить их, что ли... Для баланса...».

Совсем рядом рявкнул Вася: «Пой! Лучше пой!.. не то хуже будет!».

Я с ходу затянула привычное: «Сидит белка на суку...».

Клетчатый угодливо спросил глазами: «Может, помочь, подтянуть?».

Я отказалась, потому как не знала, что взбрѣдет в седую голову Васи, вдруг снова разъярится...

Пела долго. Только к вечеру решила тронуться с места. Когда прошли ручей, жѣстко сказала зеку:

– Нам с тобой в разные стороны. Пойдѣшь следом, закричу, позову медведя на помощь. Он меня целый месяц знает, привык. Поэтому ужинать с тебя начнѣт. Прощай.

Глаза зека затемнели обидой. Ничего, пусть тоже дурачком в одиночку в тайге постарается выжить, не всё мне бедовать. Запретила себе его жалеть. Оскорбительными словами не надо было ему разбрасываться. Да и взрослый мужик. Наверняка песенок матерных тоже полным-полно за свою жизнь выучил... Теперь его черѣд пришѣл развлекать Васю...

ОЛЕГ КУИМОВ

Москва

ДОЖИТЬ БЫ ДО ЛЕТА

рассказ

Старику шѣл уже девяностый год – какой врач согласится на операцию! Однако открывшаяся язва не оставила иного выбора.

Лѣжа на операционном столе, старик внимательно слушал хирурга. Его приятный, обволакивающий баритон звучал успокаивающе:

– Не переживайте, всё будет хорошо, операция стандартная. Немного посложнее будет с восстановительным периодом. В принципе, я вам уже об этом говорил, вы, главное, не переживайте, это вам сейчас категорически противопоказано.

– Да я что?.. до лета только дожить хочется.

На лицо ему надели маску. «Считайте до десяти, Кузьма Егорович».

– Один, два, три, четыре, пять... – принялся прилежно отсчитывать старик. Цифра шесть неподвижной массой завязла на его непослушном языке, и операционную поглотила тьма.

Очнулся старик в тѣмном лесу и сразу насторожился: почему так тихо? Он резко, по-птичьи, задергал головой, озираясь по сторонам, – никого. Какое-то внутреннее чувство подсказывало, что надо срочно искать выход из мрачной чащи. Не переставая оглядываться, он осторожно двинулся наугад в поисках хотя бы редколесья, а уж там, глядишь, проще будет. Пройдя немного, старик напал на тропинку и пошѣл уже по ней. Тропинка временами терялась среди густой травы, а вскоре пропала и вовсе. Он остановился в раздумье, в какую сторону направиться. И в тот же миг словно кто-то, невидимый, зашептал ему на ухо: «Оглянись! Оглянись!».

Позади скалился огромный серый волк. Старик в страхе бросился прочь, ища спасения в густой чаще, но волк не отставал. Старик оглянулся – оскаленная пасть с крупными жѣлтыми клыками находилась всего в одном прыжке. «А-а-а!» – закричал старик, кинувшись к дубу. Ещѣ миг – и он запрыгнет в большое дупло, но от сильного толчка растянулся во весь рост. «А-а-а!» – ещѣ сильнее заверещал от страха старик, оборачиваясь. И – невероятное дело: вместо волка за ногу его держал зубами Васятка.

«Васятка! Братик! Родимый!» – зарыдал старик, уговаривая мальчика отпустить его. Тот ослабил хватку, повернул голову набок, задумчиво глядя ему в глаза, затем засмеялся и снова стал тем маленьким босоногим малышом, который откликался на любую шутку или ласковое слово. Братик... Старик успокоился, и в этот самый момент и Васятка, и волк исчезли, и оказался он в той дикой голодной весне тридцать третьего года, в которой шѣл ему девятый годок от роду – такой беспощадно горестный год, что и вспоминать – как по живому резать, хоть криком кричи. А лучше и забыть навсегда – так, словно и не было ничего. А оно сейчас вдруг предстало, как наяву.

Они втроем, сторбившись, греются на солнышке на завалинке перед низенькой избенкой: он сам, младший брат Сергунька и десятилетняя сестра Машенька. В глазах плавают тѣмные круги, но он уже привык к ним и неотрывно глядит вдаль, за край леса, до тех пор, пока всё вокруг не закачалось в туманной пелене. Он отводит взгляд, но ещѣ долгое время не может ничего видеть слезящимися по-старчески глазами.



Говорили помаленьку, переводя от слабости дыхание.

– Дожить бы до лета, да Кузьма? – хрипло просипел, обращаясь к нему, худенький Сергунька. – Мамка говорит, лебеды наедимся вдоволь, ягод.

– Да, – подхватил он тихим голосом, – хорошо будет. Тятя рыбу в Волге будет ловить, от ухи силушка появится, а там уже и осень недалече – хлебушко уродится.

Все радостно оживились.

– А тятя говорит: грибное лето должно быть, – мечтательно улыбнулась Машенька.

– Да... орехи пойдут... чем не жизнь! – Сергунька расслабленно привалился к стене, сглатывая слюну, и принялся ожесточенно чесать язвочку на щеке. – Вот же чешется, зараза!

При виде потекшей по лицу брата сукровицы, Машенька ласково взяла его за руку.

– Да не расчесывай уже. У Кузьмы всё лицо стало в ямках. Терпи уже.

– Да не могу я терпеть, невмочь совсем. Мамка говорит, что скоро всё равно пройдёт, до крапивы бы только дотерпеть. А там уже точно всё пройдёт, совсем хорошо станет.

– Да, – радостно вздохнули дети, отвлекшись, – дожить бы...

– А Васятка умрёт скоро, я сама слышала: тятя мамке сказывал, – всхлинула Машенька.

Все замолчали, утирая слёзы: Васятка был всеобщим любимцем.

– Как мы без него жить станем?

– Жалко Васятку. Так голодным и отойдёт. Яшу тоже жалко было, но он хоть быстро отмучился.

– А то не жалко... – вздохнула Машенька, – я вся кровью обливалась, как он хрипел. Плакать-то уже не мог даже от голода. А ведь сосунок ещё был, такой крошечный в гробике лежал. Ему теперь хорошо там, на небе. Хорошо... И кушать не хочется.

Кузьма сосредоточенно нахмурился и с твёрдой решимостью в голосе сказал:

– Был бы у меня сейчас кусочек хлеба, я бы его Васятке отдал, весь-весь, до крошечки.

Сергунька, проглотив слюну, вздохнул:

– Я бы – тоже. Только зачем он ему теперь: всё равно не жилец?

Перед Кузьмой опять поплыли тёмные круги. Преодолевая дрожь в ногах, он нехотя поднялся.

– Пойду я... водицы попить. Больно уж в пузе скребёт, и голова болеть начала.

На пороге Кузьма споткнулся и упал на давно не мытый грязный пол.

Сидевшая за столом мамка безучастно скользнула по нему огромными ввалившимися глазами и опять опустила вниз заострившееся лицо. Кожа на её лбу стала тонкой, землистой, как у тех покойников, которых Кузьма раньше, когда не страшно ещё было выходить со двора, видел на улице, прежде чем их успевали унести.

Он ждал, что мамка поможет ему подняться, но та, скользнув по нему унылым взглядом, продолжала сидеть. Пролежав некоторое время, Кузьма всё же собрался с силами и, опираясь о стенку, встал, выпил целый ковшик воды, добрёл до мамки и присел возле.

На печи противно захныкал Васятка:

– Мамка, кусать хочу.

Ему было уже три года, а он всё не умел ходить. В два года, правда, пошёл, но после перестал.

Мамка тоскливо посмотрела на него и снова ушла в себя.

– Мамка, дай чего-нибудь покусать. Мамка, кусать хочу, – изводил тихим плаксивым голосом брат.

Он ненадолго замолкал и снова начинал ныть:

– Мамка, кусать...

Мамка вдруг очнулась и злобно, срываясь на визг, закричала:

– Заткнись, гадина! У-у, аспиды! Все соки высосали! У-у... – она затрясла кулачками и, внезапно выйдя из себя, схватила Кузьму за чуб. – Аспиды! Кровососы! Всю душу из меня выели!

Братья горько заревели. Мамка вдруг уронила голову на сложенные на столе руки и словно одеревенела. Из узкой спины её выпирали острые лопатки. Кузьме стало жалко мамку, и он с плачем прижался к ней.

– Мамка, мамочка... милая... только не сердись... мамочка...

Он почувствовал, как рука её ласково прошлась по его волосам.

– Простите меня, детоньки. Сама не знаю, что говорю. За что нам такое? На муки бы пошла, только бы вас спасти. Кабы знать только, что делать... кабы знать... – задумчиво повторила она.

Мамка хотела заплакать, но слёзы не шли, и она снова замолчала; рука её застыла на голове сына.

Ночью Кузьма спал плохо, часто просыпался от громкого урчания в собственном животе. Из родительского угла, где спал и Васятка, слышались его затухающие прерывистые стоны: «Мамка... кусать...

хлебца...». Когда Кузьма проснулся в другой раз, то братик уже не произносил ни звука и лишь иногда прерывисто вздыхал. Из темноты донёсся шепоток родителей. «Помирает... иначе не дотянем... деток надо спасать». Мамка тихонечко заголосила в подушку.

– Тише! Разбудишь! – сердито произнёс тятя.

Плач её стал совсем тихим, приглушённым то ли подушкой, то ли одеялом.

Кузьма хотел спуститься с печки и подойти к братику, но ему отчего-то стало страшно, да и не было никаких сил подняться, и он лежал, прислушиваясь, пока сон всё-таки не сморил его.

Проснувшись в очередной раз, Кузьма услышал мамкин надтреснутый голос:

– Егор, деток не разбуди. Иди в сарай.

Тихо стукнула дверь, и Кузьма теперь уже уснул окончательно, до рассвета.

Разбудил его запах мяса. Он боялся поверить: «Еда!».

– Мамка варит! – зашептал ему в самое ухо Сергунька. – Васятка поест – жив останется.

Откуда вдруг в доме взялось мясо – Кузьма и помыслить не мог. Он знал, что случилось какое-то чудо. Может, власть выделила еду, чтобы людей спасти, ведь давно уже обещали? Теперь они, наконец, набьют живот и избавятся от непрекращающихся болей и тошноты. Не надо будет пить столько воды, от которой и так уже разбухло пузо, как у баб на сносях.

Мясо! Будет сила, глядишь – и до травы дотянут. Жить останутся.

Никто уже не спал. Все с шумом вдыхали аромат варившегося мяса.

– Мясе... – мечтательно закатил глаза Сергунька. – Мамка мясца даст.

Тятя, почерневший лицом ещё сильнее, не глядел в их сторону.

– Вставайте уже... есть будем, – тяжело вздохнул он.

Пока тятя снимал с печи Япу, мамка осторожно, чтобы не расплескать, поставила на стол большую деревянную миску, от которой по всей избе разносился будоражащий запах.

Тятя положил возле каждого нарезанные куски мяса. Наваристая, хоть и без единого зернышка и капустки, но подкрашенная свеклой похлебка была так вкусна, что тятю пришлось сердито прикрикнуть: «Цыц! По очереди!» – из-за того что дети в спешке сталкивались ложками.

Кузьма не замечал ничего вокруг, спеша насытиться, и лишь когда миска опустела и все замерли, выжидательно глядя на тятю, он заметил, что чего-то не хватает. Оглядевшись, Кузьма понял, что не так: не доносилось жалобного хныканья Васятки. Братик ни разу не попросил кушать.

– Тятя, а где Васятка? – испуганно спросил Кузьма.

Тот нахмурился, взъерошил пятерней спутанные космы и с силой потянул вверх, отворачиваясь в сторону.

– Украл Васятку-то, волки унесли... Мы с мамкой за мясом ходили... на склад, а дверь запереть забыли.

...Сон старика исчез так же внезапно, как и появился, и ничего уже не снилось, однако, странное дело, всё ещё находясь под воздействием наркоза, он стал думать так, будто бодрствовал, и продолжал вспоминать.

Тем вечером, перед тем как уснуть, мальчишки шептались на печи: «А помните, у Семёновых тоже волки ребёнка унесли?» – «Ага... а люди сказывают, съели они его». – «Так... а Васятка... может...» – «Нет, не может ничего такого быть. У нас тятя с мамкой настоящие. Васятку точно волки унесли», – заключили братья.

И всё же с той поры зародилось в Кузьме сомнение, о котором и помыслить страшился, а всё равно крепко оно в нём застряло. Годы летели, много чего было, Кузьма превратился в Кузьму Егоровича, вначале немолодого, а затем уже и старого, забывчивого. И память уже успокоилась, остыла, да и не в силах была удержать всего. Многое из того, что в своё время волновало, терзало или радовало душу долгие годы, подзабылось, и если и вспоминалось, то куда спокойнее, – так же, как бывает, пробежит от лёгкого ветерка по тихой воде мелкая рябь и исчезнет, так и не всколыхнув глубины. А Васятка... Васятка всё равно всегда был с ним. Всегда. По молодости, правда, совсем редко вспоминался, но это только по молодости, а потом... потом всё чаще и чаще. И всё сильнее ныло сердце, и всё сильнее тянуло с ним встретиться – там, за порогом жизни. И чтобы братик обязательно ответил, наконец, на мучавший старика вопрос, а если вдруг что не так, то простил. «Эх, Васятка, встретиться бы с тобой поскорее. Во что бы то ни стало. Я знаю: что бы то ни было, ты всё равно простишь. А если нет на мне никакой вины, то ещё лучше. А потом мы обнимемся – как бывало прежде».

И, странное дело, старик, лишь отдельными кусками способный вспомнить, как росли его собственные дети, словно бы почувствовал сейчас нежность худеньких ладошек, с такой любовью обвивавших



много лет назад шее старшего брата. Васятка прижимался к нему всем своим тельцем, и оба замирали, полные восторженной любви друг к другу. Только бы оно повторилось, это объятие, – там, где они, наконец, встретятся.

Внезапно старика ослепил яркий свет, от которого слегка закружилась голова. Немного привыкнув к нему, он увидел, что совершенно один в странном пространстве – как если бы очутился внутри сказочного калейдоскопа. Старик в буквальном смысле висел в воздухе, потому что никакой опоры под ногами не существовало. Как в морской глубине вокруг только одна вода, так и здесь его окружало невиданной прежде белизны пространство, состоявшее из искрившихся, переливавшихся вспышками яркого света мозаичных осколков. Он вспомнил, что лежит сейчас на операционном столе, и чувство горького, непостижимо одиночества обожгло его ужасающей догадкой, что в этом сверкающем царственном склепе ему предстоит провести целую вечность. «Неужели я умер?!?!». И ещё более мучительная мысль породила в нем внутренний крик: «А Васятка! А тятя! А мама! А Яша! Машенька! Сергунька! Неужели каждый из них находится в подобном одиночестве и нам не суждено встретиться?! Неужто вот он какой, тот свет?!?! И выходит, что все земные надежды – обман, иллюзия, в которую мы верим?! Тогда что есть в этом мире настоящего, кроме этого тоскливого безмолвия??? Какой смысл в такой жестокой бессмысленной вечности???».

Между тем, откуда-то из-за пределов его белоснежного склепа послышались глухие, чуть слышные голоса. Старик напрягся. Голоса приблизились, зазвучали явственно.

- Ира, следи за ним, я отойду, – густой мужской бас показался знакомым.
- Сколько ему ещё? – мелодично прозвучал в ответ голосок молоденькой женщины.
- Да в принципе... вот-вот уже, наркоз-то лёгкий.

Старик сообразил: оказывается, этот склеп, что сейчас привиделся, – всего лишь странный сон опьяненного нракозом сознания, а значит, всё будет так, как положено. И во что бы то ни стало будет встреча – придёт срок!

Кузьма Егорович открыл глаза. Склонившаяся над ним молоденькая симпатичная медсестрёнка радостно воскликнула, обращаясь к хирургу:

- Всё, Сергей Николаевич, он проснулся!

ЛЮБОВЬ СТАРШИНОВА

Тверь

ВОЗВРАЩЕНИЕ

рассказ

Это была самая обыкновенная ссора. Сейчас Анна уже и не помнит, с чего всё началось. Но, по уже сложившимся правилам в их отношениях, хлопнув утром дверью, Дима уже за ужином должен был сидеть вместе с ней, не испытывая никакого дискомфорта. Так обычно все ссоры и заканчивались. Но в этот раз, Дима не вернулся вечером и не позвонил. Поэтому весь вчерашний день Анна честно, по-женски, дулась на него, занималась домашними делами, мыла окна, и без того забрызганные несмелым августовским дождём, а попутно строила сценарии «возвращения блудного сына». Окончательно обидеться на Дмитрия и забыть про него хотя бы на время мешало одно: срочная совместная работа, статья, которую они должны были сдать к понедельнику. Дело в том, что тётя Анны была редактором московского журнала и иногда просила её написать что-нибудь о провинции. Материала в Тверской области было предостаточно, Анна училась на последнем курсе факультета журналистики, и поэтому статьи писались легко. Но и они заметно оживились, приобрели большую наполненность, когда к делу подключился Дмитрий – фотограф с образованием историка.

И вот сегодня они с Дмитрием должны были ехать в Старицу, снимать «натуру». Утром Аня долго плескалась в ванне, готовила себе завтрак, тщательно гладила походную рубашку с множеством карманов, просматривала записи в блокноте, то есть искусственно оттягивала момент, когда надо будет взять фото-



камеру и сесть за руль старенького «Рено». А сделать это надо непременно: тётя будет звонить вечером. Рассказывать ей о ссоре с Димой, отодвигать сроки сдачи материала не хотелось, поэтому к полудню Аня всё-таки собралась.

Впервые Дмитрий и Анна очутились в Старице в начале мая. Весна бурно ворвалась в их жизнь. Всё: горячий блин майского солнца, смолистый и свежий запах молодой листвы, трава, пробивавшаяся мягким подшёрстком в сухостое давно не кошенных лугов, по-хозяйски озабоченное щебетанье певчих птиц, обустроенных свои непрочные жилища, – всё это создавало радостное и искромётное настроение. Оно заставляло сильнее биться сердце и звало в дорогу. Куда глаза глядят!..

Таких городков как Старица – множество в России. Каждый из них имеет свою историю, отражённую в более-менее скудных сведениях из летописных источников, да и то по поводу пребывания там известного исторического персонажа, междоусобного кровопролития либо даты включения в состав могущественного Московского княжества. Это событие большей частью знаменовало собой закат «самостийного» городка. Последний, в свою очередь, приобретал провинциальный лоск со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, превратясь в обычное уездно-торговое поселение, постепенно в конце двадцатого века приходил в разорение и упадок. Вот и здесь, в Старице, вдоль дороги выстроились двухэтажные мещанские домишки, кое-где по обеим сторонам Волги разместились уцелевшие от разгула атеизма и последующей за ним Отечественной войны церкви. Всё как везде... Грязные неубранные от зимнего беспредела улицы, безликие пятиэтажки, трубы, уродующие свежие весенние краски дня...

И промчаться бы мимо тогда Анне и Дмитрию... Но вот показался живописный берег реки, высокий холм с громадой храма на его макушке, россыпь церквушек под ним – просто чудо в тверском захолустье! Дима вырулил за мост, припарковался у заброшенных то ли торговых рядов, то ли конношен. Вытнулся во весь рост вдоль водительского кресла, размял затёкшие пальцы и предложил Анне прогуляться.

Они выбрались из своего тесного, как личный мирок, салона автомобиля. Взяв Аню за руку, Дима бодро шагал вверх по дорожке, сохранившей следы старой булыжной мостовой. Стая грачей приветствовала их бодрым и слегка охрипшим карканьем. Церковь вблизи впечатляла размерами. Колокольня стояла отдельно от неё, как стражник, проколов взметнувшимся шпилем весеннее небо метров на сорок вверх. На типовой охранной табличке значилось: «Борисоглебский собор. Памятник архитектуры начала XIX века. Охраняется государством». Поскольку никакой «охраны государства» поблизости не наблюдалось, Аня и Дима обошли здание и попытались зайти внутрь. Собор был заперт на ключ. Гостей здесь явно не ждали. Люди давно оставили в покое это обжитое веками место. А ведь когда-то здесь, вокруг церкви, высились крепостные стены, разворачивался захватывающий сценарий российской истории. Дима подошёл к зарешеченному окну, встал на выступающую деталь цоколя и заглянул внутрь. Прокопчённые стены, груды кирпича да ржавые железные кровати... Что и следовало ожидать... Хорошо, что руки местных жителей не поднялись на то, чтобы использовать здание как источник строительного материала. Но некоторые отчаянные огородники всё же раскопали по периметру древних валов территорию старицкого кремля, и горбились там, сажая картофель на таких импровизированных участках. Слава Богу, что в самом храме не разместились склады какого-нибудь «Старицабытсервиса» или клуб, как это было принято во времена «культурной революции».

Слава богу... Какому богу? Он уже давно покинул одно из своих светлых жилищ. *«Реставрировать церкви не надо / Пусть стоят как свидетели дней, / как вместилница тая и смрада / в наготе и в разрухе своей. / Пусть ветшают...»*. Дима процитировал вспомнившиеся строки Станислава Куняева. Что-то таинственное и судьбинное есть в картине разрушения и созидания. Пробуждающаяся весной природа и умирающий храм. Ростки травы и пруттики берёзок, закрепившиеся на каменных выступах под куполом. Кажется, тогда Дима сказал, что ему хочется скорей уйти с этого места и не возвращаться больше сюда, не вспоминать, не думать об этом... Ни Дима, ни Аня не предполагали тогда, в мае, что их спонтанное путешествие ляжет в основу статьи для московского журнала...

Недалеко от храма ребята набрали на стелу с именами погибших и захороненных здесь защитников города во времена последней, самой страшной, для русских людей войны. Местные власти облили ограду, постамент, фигуры героев-солдат и даже их винтовки одной серебряной краской. Таким сплошным нелепым пятном среди зеленеющих невысоких елей и застыла это скульптурная композиция, приводя в недоумение редких посетителей. Пусть в крупных городах стоят памятники и обелиски воинской Славы,



насыпаются курганы и воздвигаются монументы. Здесь это было не так важно: здесь высится этот холм, как нерукотворный памятник всем павшим...

Потом Дима потянул Аню на соседний вал, метров на пятнадцать возвышающийся над тем местом, где они сейчас стояли. Наверх вела тропинка с едва видимыми ступеньками, вырубленными в твёрдой глине. Аня всегда боялась высоты, но вдохновлённая приятелем и весной, положила руки на Димины плечи и стала подниматься вверх. Она не смотрела по сторонам – только под ноги, да ещё считала полоски на Диминой рубашке... раз, два, три... синяя... белая... Скоро подъём закончился. Но в тот день Аня так и не смогла подойти к верхней кромке вала, побоялась. Дима же наслаждался нахлынувшим чувством свободы и силы.

Перед ними высилась площадка ещё одного древнего укрепления. Вокруг не было ни одной постройки. Ветер с силой обдувал макушку холма. Внизу в полусотне метров текла Волга. Быстрая и сильная в этих местах, река пропадала за поворотом, где виднелся лес. На противоположном берегу раскинулась панорама города с монастырём, мостом, улицами, домами и прочими атрибутами современной жизни. И город уже не казался запущенным и грязным. Он виделся им огромным разноцветным пятном на фоне окружающих полей и лесов. Солнце поднялось над ним и согревало своими лучами. Вдали виднелась большая чёрная туча. Но над древним городищем небо было чистым и прозрачным, как воды реки. Только порывистый купорье-ветер вносил свои коррективы в причёски ребят и трепал их одежды.

Спускаться обратно для Ани было ещё страшнее. Она вытянутыми руками упёрлась в спину Димы и закрыла глаза. Сердце отбивало быстрый такт, как при беге. Но спуск шёл медленно. Казалось, он никогда не кончится. «Скоро ещё?» – всё время спрашивала Аня. «Нет, долго ещё» – в такт ей отвечал Дмитрий. Даже когда они остановились, он ещё крепко держал девушку. Аня открыла глаза: «Обманщик! Мы давно внизу, а ты молчишь...». Они стояли и смеялись, самые счастливые люди на всем белом свете, как вдруг за сильным порывом ветра хлынул дождь. Гроза! Первая, весенняя, с громом и молнией!

Гроза пронеслась в одно мгновение над Старицей, смыв остатки зимней грязи и окончательно разбудив заспанный и пропахший пивом город. Казалось, он ожил, заблестел новыми чистыми гранями и приготовился влюбиться в свою новую, 713-ю весну...

Вот и сейчас, подъезжая к Старице, Аня подсознательно искала приметы того весеннего дня, может быть, самого лучшего дня в её жизни. Было немного грустно от воспоминаний, и в то же время они придали Ане решительности и упорства. «Ну и пусть, напишу статью и без него, раньше же справлялась» – думала она, уже поднимаясь по склону холма.

Вчерашний дождь промочил землю, было скользко. Почти у самой вершины, Аня поскользнулась, и, зажмурившись, приготовилась к неприятному и грязному спуску в неприличной позе. Но вдруг кто-то схватил её за кашпошон куртки.

– Ты? – неловко обернувшись, она увидела Диму. Странно, она не удивилась, скорее, испытала облегчение и радость от того, что видит его снова. Нет, за два дня он не изменился, даже не похудел, рубашка и джинсы – те самые, в каких ушел тогда утром. А всё-таки – он симпатичный, только оброс, и волосы на макушке уже не торчат, как она любит, а ровным прилизанным куполом лежат на голове. Но это правильно, ходят в парикмахерскую, к Лесе, и пока её подруга стрижёт Диму, они поболтают, наконец. И вообще, ему давно пора познакомиться с её лучшей подругой, потому что...

– Ты подниматься собираешься?

Тут Аня осознала, что сидит на краю склона, упершись в землю ладошками, а Дима всё еще удерживает её за кашпошон.

– Ой... да... прости... спасибо! – выпалила она и вскарабкалась к нему на площадку.

– Я ждал тебя с утра, – как ни в чём не бывало начал Дима. – Уже многое отснял, ты наверняка отберёшь нужный план. Давай обсудим детали...

Отряхивая брюки, Аня пошла за ним. «И всё? И больше ничего не скажет?! Да, но ведь я сама приучила его не обсуждать ссоры! Значит, всё – как всегда, обратно за рулём пусть он едет, наверное, документы у него с собой... Какой он молодец, всё-таки...».

Сейчас город с вершины холма выглядел знакомым и чуть повзрослевшим, был по-деловому собран и озабочен, припудрен серой летней пылью. От этого листва казалась серебристой и потяжелевшей. Словно деревья с весны обменяли свои маленькие клейкие листочки-монеты на полновесные рубли на-

стоящего лета. Запустение левого берега Волги с его кручами и валами всё также хранило спокойствие людей и событий минувших веков. Старица, сторица, стОлица, столица. Само название города уводило в те времена, когда здесь в 1297 году как крепость тверских князей был основан город. Городок, Городец, Городок на Волге, Новый Городок – прежние его имена. На правом берегу белел прянично-нарядный Свято-Успенский монастырь. Укрытый за вновь отстроенными кирпичными стенами, усердно реставрируемый, он, несомненно, древнее и ухоженней остальных старицких храмов. Ну что ж... Богу богово, как говорится. Пусть тешит и радует глаза паломников и души верующих.

Устроившись на ровной площадке с планшетом и камерой, Аня и Дима обсуждали детали статьи. Попутно Дима увлечённо рассказывал об истории этих мест. Его привлекал дух древнего города, мощь земляных валов и легенды о старицких пещерах-каменоломнях, где по преданию спрятана библиотека Ивана Грозного. Дубовые стены с башнями, каменные храмы и терема возвышались над Волгой в том месте, где сейчас находились молодые люди. А на другой берег реки вёл тайник.

– Как бы обнаружить его – сказал Дима. – Где вход, а где выход... – Думаю, вон там, – он указал на Борисоглебский собор, – там где-то и есть начало подземелья. Можно зайти и попробовать поискать подвал...

– Что ты имеешь в виду? Мы подходили ко входу, церковь заперта, и нам не пробраться внутрь, все каменные ступени обрушены, деревянные полы и балки наверняка сгнили...

– Ну, это я так... Интересно же... – простодушно, по-детски как-то, ответил он и впервые за день широко улыбнулся.

На город наплывали расплюснутые тучи, похожие на старое полинялое одеяло, с прорехой посередине, в том самом месте на валу, где были Аня и Дима. Пора было решать – возвращаются они домой вместе или... Аня совсем в этом не сомневалась, а вот Дима за всё время, пока они делали наброски статьи и чертили планы окрестностей, ни разу не обнял её. Это было странно, и ново: так общаться с ним, строго по-деловому, ещё не приходилось.

– Давай спускаться? – сказал Дима. – Я пришлю тебе снимки на электронную почту, сегодня... Вот... Я ещё хочу сказать... я уезжаю... Ты... ты тут ни при чем, я сам... Я уже согласился. Давно. Я хотел сказать тебе как раз тогда, утром... Но было бы ещё хуже... В общем, будет экспедиция в Крым. Семёнов добился её финансирования в университете... Ты понимаешь? Ты слышишь меня?

Аня молча смотрела на реку. Волны ударялись о берег, с каждым словом Дмитрия прибой становился всё сильнее и сильнее, казалось ей. И даже колокольня словно ожила – «бом, бом, бом» стучало у неё в голове, и звуки доносились с той стороны, где стоял Дима, и, жестикулируя, пытался что-то объяснить. Да, она знала Семёнова, знала о его экспедиции, о её значении для университета, знала о трудностях и опасностях. Она всё знала, кроме времени, на которое Дима туда поедет. У экспедиции не было чёткого графика, всё должно было решаться на месте. Сколько это будет – месяц? Два? Три? Иногда, такие походы длились и дольше. А она... Она рассчитывала, что к холодам Дима переедет окончательно в её квартиру и можно будет подумать о том, о чём думает любая женщина (хоть и не признается в этом никому, ни за что и никогда!), встретив хорошего надёжного человека... А сейчас вот... Что же он мог объяснить ещё, он, уже давший согласие на поездку, и наверняка собравший необходимые документы и свой рюкзак?! Он, отчаянный мечтатель, археолог, который хочет всю свою жизнь прожить именно так, по-походному?! Может ли она, да имеет ли право удерживать его – семьей, детьми, занавесками на окнах и пирогами в духовке?!

– Прощай, – сказала она, прерывая его сумбурную речь. – Я поняла... Я желаю тебе счастливого пути, и... всего-всего... лучшего... Я... сделаю статью, как всегда, под нашим общим именем, не волнуйся. Но... ты лучше не звони мне, ладно?

– Даже когда вернусь?

– Даже когда вернёшься...

Прошло два месяца. Всё это время Дмитрий не звонил и не писал: он всегда слишком прямо понимал просьбы Анны. Сегодня ей опять приснился сон, где она и Дима, молодые и красивые, стояли на вершине холма. И так было жалко проснуться: всё это радостное настроение исчезло, в момент смылось утренним октябрьским дождём. На кресле лежал журнал. Статья «Возвращение». Анна Дмитриева. Страница двенадцать... Хватит!!! Надо звонить немедленно!



– Дима, привет. Я хочу отдать тебе журнал, наша статья вышла – выпалила она в трубку на одном дыхании и замолчала.

– Ты... Ты можешь приехать сейчас в Старицу? Я как раз тут... На нашем холме...

Ветер был по-осеннему суров. Какая-то морозная хрупкость висела в воздухе, казалось, что сейчас она превратится в снег прямо на глазах. Аня спешила наверх. Шаг за шагом перед ней открывался вид на Успенский собор. Ещё чуть-чуть и... Споткнувшись, и носом встретившись с землей, она неожиданно для себя расплакалась.

– Не грусти! До свадьбы заживёт! – Дима уже протягивал ей руку.

Какой век, сколько времени на часах?.. Огромным кораблём плывет старицкий кремль по реке Времени. В его толще спрятаны остатки построек, вещи и останки прежних жителей, память многих поколений. Какими бы не были высокими и мощными валы и стены, сколько бы ни собралось людей и оружия, какие бы богатства не скопились – всё оказалось бессильно перед властью Времени. Как Ноев ковчег этот корабль был вынесен на окраину Истории. И стоит он сейчас в тихой заводи нашей памяти. Только высятся рубка Собора и мачта колокольни над ним. Где-то там внизу копошатся люди, мчатся автомобили, «кипят страсти». Пройдут века, и может сегодняшней город также канет в Вечность. И все призывы купить шампунь от перхоти или «Пепси», «голосовать за...», как лишнее, наносное, будут смыты этой рекой или унесены ветром других, более существенных Перемен. А что останется? Останутся Россия и ещё этот неизведанный нашими умами и душами священный холм, «пуп земли русской». Будут также плыть над ним облака, и сиять солнце, проноситься снега и грозы.

...Аня стояла на самом краю крепостного вала, спиной прижавшись к Диминой груди, и почти не дышала. Он обнимал её, защищая от ветра. Весь город открывался перед ними новыми непрочитанными страницами в биографии.

«Я люблю тебя» – шептал Дима, и слова его тихим эхом отразились от самой Ани. «Я люблю тебя» – движением губ ответила она. «Я люблю тебя» – вторили им древние холмы и река...

И слова эти, такие простые, были понятны в тот момент каждому человеку: «Я люблю тебя!» И земля, и вода, и камни тоже запомнили их, чтобы каким-то непостижимым образом через времена и события передать людям.

ВИТАЛИЙ МОСКАЛЁВ

Полоцк

СТИХОГРАФ

стихотворная пьеса в шести актах

Действующие лица:

Афанасий Терентьевич Угодников – главный редактор журнала «Голубая рифма»,

Эвелина Тарасовна Угодникова – жена редактора, директор книжного магазина, большой ценитель искусства и украшений,

Иван Поцелуев – поэт, председатель литературного общества «Плеяда»,

Константин Ямбовский – поэт, почётный член литературного общества, автор книги стихов «Ямбическая сила»,

Анатолий Хоревич – поэт, не менее почётный член, автор книги стихов «Пятая масть»,

Илона Латышская – поэтесса, по совместительству редактор, очень любит шляпки и перчатки,

Веня Мраморный – старейший член литературного общества, очень гордится тем, что пил с Рубцовым,

Дама в белом, Дама в чёрном, Дама в красном – поэтессы, постоянные участники заседаний,



Максимилиан Кексов – начинающий поэт,

Виттор – студент кафедры прикладной математики и естественных наук, необузданная творческая натура,

Галина – уборщица в институте, несостоявшаяся фотомодель,

СтихОграф «ДАЛЬ-1» – прибор созданный Виттором для написания стихов,

Человек в сером пиджаке – литературный критик.

ПЕРВЫЙ АКТ

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС...

Осенний вечер. За окном темно и шумит дождь. Свет в лаборатории включен. Виттор, с паяльником в руке, сидит, склонившись над прибором. Галина рассеянно елозит шваброй по полу, размазывая грязь во все стороны.

Галина

Работы осенью, как грязи.

Натопчут все, а я в ответе!

Виттор (*улыбаясь*)

А вы хотели сразу в князи,

Так не получится, поверьте!

Галина

Да сколько можно, день-деньской,

Мету, мету... пыль въелась в нос,

Кушите что ли пылесос!

Виттор

Снабжённый тряпкой и метлой...

Галина (*обиженно*)

Смеётесь, да?

Виттор

О, нет,нисколько,

Но смех продляет жизнь, замечу!

Галина

Я здесь тружусь, верчусь, как пчёлка,

А за квартиру платить нечем.

Прибавил смех бы ваш мне денег

Или богатого студента!

Чтобы забросить дальше веник...

Виттор

Миллионера-импотента?

А что? Всё будет просто класс!

Галина

Да был когда-то ловелас...

Японец, дряхлый, но богатый...

Звать – Даюсало Комунадо!

Виттор (*откладывая в сторону паяльник*)

Ну и зачем вам старец нужен!

Быть может, свинкой он простужен!



К тому же он ведь – иностранец:
Шпион, иль вовсе самозванец!

Галина

О, Нет. Он скромный модельер,
А я модель...
(опуская глаза)
Была когда-то...

Виттор *(восклицает)*

Японский мэр!
Не сберегли такого кандидата!

Галина *(вздыхая)*

Я на премьере оступилась и упала,
Порвала платье – собственность агентства.
Уволили без шума и скандала,
Не помогли ни деньги, ни кокетство!
С тех пор его я больше не видала...

Виттор *(усмехаясь)*

Кокетства вам смотрю не занимать,
К чему метла! Она пока не в моде...
Чем его пыль туда-сюда гонять,
Подумали бы о другой работе.

Галина

Наивный вы! Засели среди книг,
Не знаете, что в мире происходит
Хорошая работа – это шик:
Тот, кто теряет, лучше не находит!
Меня сюда, и то по блату взяли...
Уборщицей!

Виттор *(улыбнувшись)*

Уборщицей? По блату? Ну, вы дали!

Галина

Не верите? А до меня уже
Шестнадцать человек за место дрались!
И все, представьте, чьи-то протеже!

Виттор

Так вы пошли на взятку и обман?

Галина

Зачем вы так! Мой родственник – декан!
К тому же дядя самых честных правил...

Виттор

Племянницу-модель мести заставил!
Что ж уважаю...
Да, совсем Виттор
Отстал от жизни, мастерит прибор,
И ничего кругом не замечает...



Галина

Прибор?
(подходит ближе и оглядывает его)
 Похож на телевизор!
 Весь в проводах! Вы телемастер?

Виттор *(умехаясь)*

Ну, можно так сказать, отчасти...
 С одной поправкой лишь – его я создал сам!

Галина

Да, вы талант! Вот только ваш прибор похож...

Виттор

На что?

Галина *(смущённо)*

На старый хлам!

Виттор *(зротно)*

Дизайн, конечно, подкачал! Он с виду непригож,
 Но суть его я воссоздал довольно точно...
(радостно восклицает)
 Это стихограф! Моделирует построчно
 СТИХОТВОРЕНИЯ!

Галина

Стихограф? Но зачем!
 Не поняла его я назначения?

Виттор *(смеясь)*

Стихи писать! Поэзию творить!

Галина

Стихи? Вот, эта железяка? Нет, не может быть!

Виттор

Не верите? Ну что ж, смотрите сами!
 Итак, вперёд, на встречу с чудесами!

Под восторженные взгляды Галины Виттор садится за стол. Триумфально улыбается.

Его лицо сияет. Щёлкнув кнопку, он включает прибор. Стихограф громко зашумел вентиляторами, и экран загорелся синим светом.

Виттор

О чём хотите вы услышать стих машины?

Галина *(вздыхая)*

О чём мечтает девушка! Конечно, о любви...
 Но только я боюсь, машины лишь про шины
 Способны сочинять!

Виттор *(обращаясь к Стихографу)*

Ну, что ж, мой друг, твори!
 Хоть в жилах у тебя течёт не кровь, а ток,



Поведай о любви, как истинный знаток!
(вводит текст)
 Любовь – страна моих мечтаний!

Стихограф
И диетических питаний!

Галина смеётся...

Виттор *(стирая)*
 Ещё раз...
 Любовь – страна моих мечтаний!

Стихограф
И суффикс нервных окончаний!

Виттор *(смущённо)*
 Сейчас, сейчас, он только разминается!
 Один момент, и целый стих появится!
(пишет)
 Любовь, она, как выстрел в сердце!

Стихограф
*Из автомата вытал ствол...
 Добавь ты в водку лучше перца,
 Любимый мой козёл!*

Виттор *(озадаченно)*
 Что ты несёшь! Тебе не стыдно?
 Ты – недопаянный гибрид!

Галина *(смеётся ещё громче)*
 Поэт, конечно, незавидный,
 Но ведь рифмует, паразит...

Виттор
 Сейчас он выдаст нам экспромт,
 Есть в нём и функция такая...
 Эх, надо стукнуть молотком,
 От всех напастей помогает!

Стихограф
*Любовь – забор твоей души
 Невероятно трудоёмкий.
 Порожняком ты не пиши,
 Принципиально в распашонке.*

Виттор *(сердито строчит)*
 Не напишу я больше ни строки,
 Достал меня... Зараза!

Стихограф
*Как полторы коровьи ноги
 Отрубленного мяса!*

Виттор (*разочарованно*)

Нет сил моих! Ну, что это за бред!
В металлолом тебя осталось сдать, поэт!

Галина

Смешно до слёз! Спасибо вам, Виттор.
Я думала, от смеха я умру...
Какой, однако, грязный ваш прибор...
Фу, сколько пыли! Дайте я протру!

Галина прикасается мокрой тряпкой к Стихографу. Раздаётся треск. Прибор начинает искрить и над ним тонкой струйкой поднимается дымок. Галина, вскрикнув, отпрыгивает в сторону, роняя тряпку. Виттор бросается к Стихографу и выключает его.

Галина

Простите...

Виттор (*тихо*)

Два года бился я над ним!

Галина

Я не хотела...

Виттор

Бог-свидетель,
Так будет лучше нам двоим...
Что за поэт, который без души,
Без тела!

Включает Стихограф.

Галина

Смотрите, лампочка горит!

Виттор

Там где-то микросхема коротит –
Избыток тока.
Накрылся медным тазом,
Наш пройдоха!
Ум зашёл за разум...

(Экран неожиданно зажигается...)

Галина

Введите что-нибудь!

Виттор (*обрадованно*)

А я уж думал провожать его в последний путь!..
Ну, раз судьба на стороне твоей,
Пой о любви, мой электронный соловей!
Вводит текст.
Любовь – страна моих мечтаний,
Её на карте не найдёшь.



Стихограф

*По морю к ней не приплывёшь,
Она лежит вне расстояний!*

Вигтор

*Там солнце светит круглый год,
Там исполняются желанья...*

Стихограф

*Там луч взаимного слиянья
Теплом влюблённых обдаёт!*

Тишина. Пауза. Хриплый стон Виттора.

Галина (в восторге)

Очуметь!

Вигтор (заикаясь)

О боже...боже..
Получилось ведь...

Падает в обморок...

ВТОРОЙ АКТ «ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ...»

Просторный кабинет главного редактора журнала «Голубая рифма». На стенах развешаны однотипные картины абстракционистов. В углу аппетитно дымится самовар. Угодников сидит за столом, поыхивая сигарой. Напротив него человек в сером пиджаке листает подборку произведений к следующему номеру.

Угодников

Работать стало невозможно,
Плодятся рифмачи, как мухи.
Ах, чтоб у них отсохли руки,
Ведь пишут так, что сердцу тошно!

Человек в сером пиджаке

Твоя работа – благодать!
Ты знаешь, как порой непросто,
Талантов в землю зарывать,
А восхвалять одних прохвостов.

Угодников

Кто платит, тот и прав всегда,
Поэт – он музы лишь властитель,
А я идейный вдохновитель
И поставщик его труда.

Человек в сером пиджаке (*кивая на подборку стихов*)

Читаю я твоих «баранов»,
И иногда бросает в дрожь
Таких отъявленных стоп-кранов
И в целом мире не найдёшь!



Стихи – корявые речёвки,
 А лица все, как на подбор –
 Улыбка уличной торговки,
 Или заплывший жиром взор!
(останавливаясь глазами на одной из страниц)
 А Поцелуев – просто вздор!

Угодников

Иван списался, начал много пить,
 Но имя заработал он по праву.
 Хоть многим он бывает не по нраву,
 Но без него мне нечего ловить!
 Он популярен, помнишь его... как там...
Ты изменила мне с другой...
 И этот стих его чудной –
 Отстой, когда ты холостой!..

Человек в сером пиджаке *(морищась)*

Эксплуататор сексуальных тем...

Угодников

Ну, что ты, что ты!
 Для нищих духом – это корм.
 Но не об этом я сейчас.
 Поэт, он скульптор форм.
 И архитектор фраз.
 Он, как цветок.
 Среди всех нас –
 Жизнь – поэтический экстаз.
 Но вот те раз –
 Поэт исяк!
 Остыл, зачах...
 В себе увяз...
 И мнит посланником, провидцем...
 Апологетом пьяных фикций
 Свой стихотворный знак!
 На самом деле,
 Он не цветок уже – сорняк
 Лишь пустословная ботва...
 Засохший колер акварели!
(надевает очки)
 Ну а вот это...
 Разве не моральный пшик поэта?
(читает)
Прекрасное смертельно,
Смертельное прекрасно,
Напрасное бесцельно,
Бесцельное напрасно.
Печальное несчастно,
Несчастное печально,
Реальное ужасно,
Ужасное реально.



Человек в сером пиджаке

Жвачные стихи. Резину тянет.
Экзекуция крамольной мысли –
Опустошённый Гамлет...

Угодников

Зажрался, что ещё сказать,
Богатства духа выменял на плоть.
Как не терзай бумагу, как не шкось,
Инстинкт писать остался... что писать?
Вот в чём вопрос...

Человек в сером пиджаке

Поэты – вымирающее племя!

Угодников

Нет, ты не прав!
А если говорить всерьёз –
Поэтов проверяет время!

Человек в сером пиджаке *(вскакивая и становясь в позу оратора)*

Народ пресыщен пищей для желудка,
А сытость – это гибель для души.
Перевелись поэты! Так, ублюдки,
Кропают, обкурившись анаши!
Ни сути, ни размаха, ни масштаба,
Лишь сладкие избитые слова,
В поспешном трепыханье накарябал
О том, что есть четыре дважды два,
И думает, что гений, прочь сомненья,
На самом деле – просто стихоплёт.
«Я помню это чудное мгновенье...»
От каждой строчки Пушкин так и прёт.
Ни стили, ни созвучья, ни размера,
Вторичность чувств, обыденность идей –
Любовь с кичливой страстью адюльтера,
Лобзанья толстомордых кобелей.
Ну, как такого по носу не щёлкнуть,
Ну, как не раздавить, как мелюзгу –
Бездарные потуги не почёркать,
И на съеденье не отдать врагу!

Угодников

Что быть должно, должно то быть!
Однако ж, резко ты сказал.
Поменьше лучше бы ворчал:
Шедевры лить – не водку пить!

Дверь открывается и на пороге возникает дородная статъ Эвелины Тарасовны. Она мило улыбається оробевшему критику и сладко чмокает мужа в лоб.

Угодников

О, свет моих очей!

Эвелина Тарасовна *(улыбаясь мужу)*

Что нового, хирург словесности!

Угодников

От графоманов нет отбоя,
Кропают, как плодятся кошки.

Человек в сером пиджаке

И днём и ночью нет покоя,
Жужжат, как надоедливые мошки
В тоскливой пресности...
Бери хоть в руки мухобойку...

Эвелина Тарасовна

От критиков, как от плохих мужей,
Нет никакого толку.
Ты захвати совковую лопату,
И с песней лучше дуй на стройку...
(презрительно)
Писака!

Угодников

О, радость моих дней!
Зачем же так?!

Эвелина Тарасовна *(презрительно)*

А что взять с вурдалака,
Дурак – он и в поэзии дурак!
Пить кровь поэта может каждая собака,
Критиковать у нас – любой мастак.
(мечтательно)
Поэт, он как ребёнок,
Наивный маг,
Молочный поросёнок.
С ним надо бережно,
С ним надо ласково!

Человек в сером пиджаке

Поэтом я могу не быть,
Но бить поэта я обязан...
Чтобы шедевры начал лить
Он кровью, вдохновляя разум!

Эвелина Тарасовна

Поэт тебе – не роза в парнике.
Он развивается по собственным законам.
А ты, как был в своём безвкусном пиджаке,
Так и останешься...
Придворным экономом!

Человек в сером пиджаке краснеет и снова утыкается в подборку стихов.

Угодников

О, небо моих глаз.
Тебе я доверяю безраздельно.
Кто, как не женщина – синоним красоты!



Эвелина Тарасовна (*снисходительно улыбаясь*)

Когда стоишь у газовой плиты,
Так не хватает от мужчины комплементов,
Жаль только дамам-поэтессам, а не мне
Их расточаешь ты!

Угодников

Какие дамы, и какие поэтессы!
От этих поэтесс одни лишь стрессы.

Человек в сером пиджаке (*многозначительно кивая*)

Ещё бы...
Одни и те же рифмы, мысли, стопы.
Розы – слёзы,
Кровь – любовь.
Кругом гламур,
Да плюшевые грёзы...
Хоть ты и вовсе сквернословь!

Эвелина Тарасовна

Эх, мало тебя в детстве били.
Ты, как плохая псина,
Всё время думаешь о мыле,
Как арестант о гильотине.
Что рифма, разве так важна.
Пусть я рифмую *кровь – любовь*,
Главнее, что меж этих слов,
Струится мысль,
Живет ДУША.

Угодников

Разнополярность мнений – это хорошо,
Но ближе к делу.
Как это не было б смешно,
Но нам, как раз, необходима молодая кровь...
Поэт, поющий про свободную любовь.

Человек в сером пиджаке

Желательно, с дырой в кармане,
И с котомкой, полной слов.

Эвелина Тарасовна (*пожимая плечами*)

Какая сложность, не пойму,
Внимание на молодых.
Заставьте же работать их
По собственному плану.
Писать о том, что надо вам,
Не им.

Угодников (*мечтательно*)

Найти хотя б одну такую обезьяну,
Чтобы продала свой талант.
А то куда ни кинь,
То бред, то плагиат.
От этих строк бузою поперхнётся лень.



Эвелина Тарасовна

Эх, вы, прагматики и теоретики,
 Я за версту поэтов чую,
 Не велеречивые сонетики,
 А искренность людскую.
 Под дверью
 Топчется один такой
 Со стопкой стихотворной.
 На вид смешон,
 Костист и неказист.
 И ростом мал...
 Очки на нём...
 Ну, впрямь, интеллектуал...
 Зато глаза!
 Глаза горят огнём,
 В них термоядерный запал.
 Я уверяю вас
 Таких надрывных редко встретишь глаз.

Угодников

Что за оно!

Эвелина Тарасовна

Не видела его я раньше никогда,
 Но уверяю, чем пустое сравнивать с порожним,
 Поговорите с ним, коль суть его чиста,
 То выгоду извлечь совсем несложно.
 Не просто так явился он сюда.

Угодников

О, свет моих очей,
 Твой хитрый ум не раз давал ценнейший мне совет!
 Посмотрим, чего стоит сей поэт.

Человек в сером пиджаке (*встает и уходит*)

Я приведу.

Эвелина Тарасовна

Ах, жаль. Я не могу остаться,
 Я в лавке ювелирной высмотрела серьги,
 Серебряные и узор, признаться, редкий.
 С такими на концерт не стыдно показаться.

Угодников

Замётано. К нам Демис Руссос приезжает.
 Один единственный концерт.
 Пойдём, взгрустнём о временах былых...

Эвелина Тарасовна (*улыбаясь*)

Когда ты пел, ни на минуту не смущаясь,
 Чужие строчки, тренируя свой фальцет,
 За свой при этом выдавая стих.



Угодников (*мечтательно*)

Да!
Наглости во мне тогда хватало,
И целого мне мира было мало.

Эвелина Тарасовна

Иначе б ты меня не покорил
В том летнем сумраке ночей...
Ну, я пошла...

Угодников

О, свет моих очей...

Эвелина Тарасовна берёт Угодникова за галстук, притягивает к себе и фроникновенно целует. Отпуская галстук, она даёт главному редактору по лбу ощутительный щелбан и с силой откидывает в кресло.

Эвелина Тарасовна

А, Витька, между прочим, депутатом стал!
Ах, если бы я выбрала его...

Угодников (*почёывая лоб*)

Он туп и слаб, и ростом мал.
И с крокодилом цвета одного...

Эвелина Тарасовна

Вожусь, как ненормальная, с тобой,
Тяну тебя на новые высоты,
А ты стихи предпочитаешь льготам,
И знаешься с какой-то гольтьбой...
(*мечтательно вздыхая*)
Иметь так хочется мне перстень золотой,
Но ограничена я в средствах.
Иной раз не хватает и на лак!

Угодников

Иди уж!

Эвелина Тарасовна уходит, громко хлопая дверью.

Угодников (*тихо шепчет*)

Всё ей не так!

Дверь вновь открывается. Угодников панически морщится, но вместо Эвелины Тарасовны в комнату главного редактора заходит Человек в сером пиджаке и молодое дарование, неуверенно перекладывающее из руки в руку многочисленные листы.

Угодников

Как величать вас?

Витгор

Витгор меня зовут.

Угодников

Замечательно.

Как Гетте говорил – зер гуд.

(смеётся)

Что привело вас в скромный наш журнал?

Виттор *(оглядывая дорогие картины на стенах)*

Стихи.

Человек в сером пиджаке

Ах, значит, гонорар!

Виттор

Стихи!

Печататься хочу!

Уж столько написал я их,

наивных, горьких и смешных.

Исписано листов, не перечесть.

Угодников *(резко усмехаясь)*

Я знал всегда!

Поэтов вдохновляет лесь.

И ты, гляжу, из их числа...

Виттор

Что лесь! Она, как жидкий дым костра,

Который вскоре в небе растворится.

И не поймёшь, то ль это горностаи,

А то ли облако по небу мчится.

Она, как дождь, мгновенна и быстра,

Глаза слезит, но сердце не достанет.

Что лесь! Она, как жидкий дым костра,

Теряющийся в утреннем тумане.

Человек в сером пиджаке

Смотри, а парень ведь совсем неплох.

В нём есть задор и бойкий слог.

А ну-ка что-нибудь прочти!

Угодников

Прочти! Но громко не кричи!...

Виттор *(откашливаясь, читает)*

Месяц вывалил язык

На степное блюдо.

Ветра выверенный крик

Слышен отовсюду.

Горячо шумит ковыль

Про любовь благоую.

Только это чья-то был –

Я люблю другую...



Человек в сером пиджаке

И ты Брут, всё про то же... Боже!
 Моталки ёлкины, сосновые иголки,
 Да что же вы заладили, да что же,
 Вы, что читали книги с нижней полки!
 Набрались всяких образов давнишних,
 Сейчас иное надо – новый стиль.
 Иначе будешь третьим, будешь лишним
 И в барах будешь петь про свой ковыль.

Угодников *(важно и назидательно вещает)*

В журнале мы приветствуем сейчас
 Тем актуальность, неизбежность фраз.
 Открытость, искренность, фатальность
 И в то же время виртуальность,
 Непостижимость и брутальность,
 Хождение по мукам, мукам...
 Тебя ж послушаешь – такая скука.
 Что хоть возьми шуруповёрт
 И заверти в затылок болт...

Виттор

Шуруповёртом – болт! Позвольте!
 Болт с шестигранною головкой.
 Его лишь гаечным ключом
 Зажмёте...

Человек в сером пиджаке

В поэзии зажмёшь и винной пробкой.
 На то она – поэзия. Пойми.
 Здесь нет ни правды, нет ни кривды, ни обмана,
 Здесь от любви не ждут любви,
 От кандалов – тюрьмы.
 Здесь человеком может стать любая обезьяна,
 А Дарвин – обезьяной, чёрт возьми!

Виттор

Я понял вас...
 А если так...
(читает)
Устал страдать, терплю усталость.
А в сердце горечь дней зафалась...

Угодников и Человек в сером пиджаке в один голос

Не то!

Виттор *(вынимая откуда-то снизу)*

А это...
 Крутись, судьбы моей калейдоскоп,
 Сияйте звезды счастья в дальних сферах.
 Сегодня – человек, а завтра клоп,
 Сегодня – море,
 Завтра – берег!

Довольно Бог ходить на голове,
Стопой отметь своё явленье вскоре –
Сегодня клоп, а завтра человек!
Сегодня – берег,
Завтра – море!..

Угодников

Виттор, ну, это где-то рядом...
Пойми умом, не сможешь, так пойми хоть задом.
Нам философия нужна, как пьяному похмелье...
Хотя, пожалуй, я возьму последнее стихотворенье.

Человек в сером пиджаке

Позвольте мне, как критику сказать.
Виттор, мы примем все твои стихи,
Но нам иное надо показать –
К примеру, можешь женские воспеть духи!..

Виттор горько усмехнувшись, достает откуда-то из кармана смятый клочок бумаги, и запальчиво прищурившись, читает.

НЛО

Неопознанный любящий объект
Облюбовал женскую плоть,
Пахнущую кремом и духами.
Инопланетянин – тоже человек,
Ему тоже хочется познать тепло
Женского тела, обнимая руками.

Человек в сером пиджаке (*кусая мизинец*)

Брависсимо!
Эстетиссимо!
Немыслимо!

Угодников

Вот это да! Вот так сюжет!
Виттор – ты истинный поэт.

Виттор

Я никогда подумать бы не мог,
Что этот стих придётся вам по нраву.

Человек в сером пиджаке

В нём сила есть, пускай хромает слог,
Но тонкий юмор выдался на славу!

Виттор (*тихо*)

Стихограф, я – ничто, а ты, брат, признан,
Справь же по мне, как по поэту, тризну...
(*фрагмко*)
Так, что в дальнейшем вам изобразить,
Работать я готов и под заказ.



Угодников *(всё больше оживляясь)*

Нам надо в массы новый смысл любви вносить
 Без всяких чайных и кофейных глаз.
 Любовь мужчин, допустим,
 Мы это не пропустим,
 Мы это издадим.

Виттор

Я не хочу порочить своё имя.
 Чтобы над ним навис, как меч, позор.
 Пусть рифмы ваши будут голубыми,
 Но в жизни и в любви другой, Виттор!
 Спасибо за внимание...
(разворачивается, чтобы уходить)

Человек в сером пиджаке

Постой, Виттор, а как же гонорар...

Виттор

Не надо мне Гоморры вашей дар!

Угодников.

Ты думаешь, пробьёшь ты где-то стих.
 Смешно...
 Ведь ты – Виттор, и ты безлик...

Виттор

Чем обусловлен ваш намёк?

Угодников

Как смотришь ты на то, чтобы другой,
 Был назван автором стихов, что ты нам предоставил?
 Мы воздадим тебе за всё с лихвой.
 Так многие путь начинали к славе,
 Оттачивали мысли и перо.
 Ну, например, Оноре де Бальзак.
 Писал иной раз и за так.

Виттор отбирает из своей пачки стихотворения Стихографа. Остальные забирает с собой.

Виттор

Печатайте те, что я оставляю.
 О них я меньше всех переживаю.

Человек в сером пиджаке *(просматривая кипу бумаг)*

А что же ты забрал про свой ковыль,
 Судьбы калейдоскоп...
 забрал, вот беда, лага,
 Виттор пойми, что ты в поэзии – микроб.

Виттор

Ну, хорошо, хоть – не собака!

Угодников *(льстиво улыбаясь и доставая из кармана деньги)*

Мил друг, ты не бери всё в голову,
Ты будешь не обижен мною.
Согласен ли писать, что заявлю –
Дружить с редакторской казною.

Виттор *(тяжело вздохнув)*

Согласен.

Угодников

Но главное – не уговор,
Да и не деньги вовсе,
А крохотный листок
С названьем договор
И... твоя подпись.

Виттор, смущаясь, подписывает.

Угодников *(усмехаясь и помахивая кутюфами)*

Успеешь за неделю,
Получишь вкусную тефтелю.

Виттор

Успею...

Угодников

Тогда задерживать не смею.

Виттор прощается и уходит.

Угодников.

А ты был прав, на пятерых писак,
Найдётся хоть один талантливый простак.

Человек в сером пиджаке *(ехидно улыбаясь)*

Куда он денется с подводной лодки, на ночь глядя.
Всем гении нужны, а не талантов кладезь.
Виттор ничем не примечателен,
И этим даже замечателен.
Слуга, придаток, клерк.
Литературный раб,
А ты, Угодников – его прараб...
(смеётся над собственной шуткой)
Ну, что ещё по чаю?

Угодников

Какой тут чай?
Им радость не продлишь и не уймёшь печаль.
(Кивает на толстую пачку стихов и подмигивает)
Коньяк пять звёзд!
Я угощаю...

«СЕТЧАТКА»

ВЯЧЕСЛАВ ОКЕАНСКИЙ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА ДОМА И ДОРОГИ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»

эссе

Приступая к разговору о поэме Н.В. Гоголя, сопоставленной К.С. Аксаковым с гомеровской «Илиадой», мы должны понимать, что перед нами – художественное целое, возникшее при помощи следующих материальных начал: бумаги, чернил и огня. Огонь, поглотивший части второго и третьего томов гоголевских «Мёртвых душ», входит в структуру текста как бы из будущего и останавливается перед последними дошедшими до нас словами второго тома: «Но это нам уже темно представляется и мы едва...».

Сконцентрируем внимание прежде всего на названии произведения, ибо оно – символично и даёт ключ. *Типичное понимание* заглавия двупланово и, если вдуматься, отнюдь не лишено остроумия и даже определённой исторической глубины: «мёртвые души» – название реально умерших крепостных крестьян, ещё продолжающих значиться в «ревизских сказках» как живые – с одной стороны, а с другой – Гоголь подразумевал под «мёртвыми душами» их земных хозяев – помещиков-крепостников, вполне феодально задерживающих торгашеско-капиталистическое развитие огромной крестьянской страны... И те, и другие – единомёртвые, хотя и находятся по разные стороны смысловых баррикад.

Впрочем, уже достаточно давно – на утренней заре постсоветского православно-ориентированного литературоведения – ленинградский исследователь С.А. Гончаров указал на то, что за полтора последних века такие яркие умы как, например, К.С. Аксаков, М.М. Бахтин, В.В. Кожин видели пафос поэмы в особом мировосприятии, глубоко отличном от гротескно-сатирической прямолинейности – название «Мёртвые души» прежде прочего включает в себя широкий спектр проявлений *бездуховности*.

Интересно, что сам образ «мёртвых душ» отнюдь не был изобретён самим Гоголем. Так, звучащий в начале шестой главы элегический мотив омертвения души «О, моя юность, о, моя свежесть...», имеет множество разнохарактерных литературных параллелей, причём, как в новой, так и в древней словесности. Например – у Е.А. Баратынского, в «Элегии» 1821 г.:

*Нет, не бывает тому,
Что было прежде!
Что в счастье мне?
Мертва душа моя.*

У Жуковского в балладе «Кассандра» героиня, причастная запредельному, «мертва душою»; и он же в балладе «Покаяние» 1831 г. пишет строки, которые вполне могли бы послужить эпиграфом к лирическим отступлениям гоголевской поэмы:

*Но грешным очам неприметна краса
Весёлой окрестной природы,
Без блеска для мёртвой души небеса,
Без голоса роиц и воды.*

Надо отметить устойчивость темы «мертвеца» в русской романтической литературе начала XIX века: «Насмешка мертвеца», «Живой мертвец», «Сказка о мёртвом теле» В.Ф. Одоевского; «Гробовщик», «Пиковая дама» А.С. Пушкина... Но, безусловно, более глубокие основания для понимания смысла гоголевского названия дают идущие из древнерусской и святоотеческой словесности христианские представления о бессмертии души.

Эта тема парадоксально заостряется на последних страницах Св. Писания: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв» (Апокалипсис, 1:1). Блаженный Августин подчёркивает, что «души смерть приключается, когда оную Бог оставляет, так как телу, когда душа оною оставляет» («О смерти, которая душе приключиться может, и о той, которой тело подвержено», кн. XIII, гл. 2). «Имеют, – пишет он в другом месте, – и души свою смерть в нечестии и беззакониях», «душа безбуквенная (без Евангелия) мертва» («Проглаголание св. Евангелия»). В «Словах» митрополита Даниила предстаёт образ «плотского» человека: «...о теле своём заботишься не только обильным питанием и питием, но и бесчисленными омовениями и натираниями...» – не обращено ли это и к Чичикову с его усиленным «вниманием к туалету»?

Заслуживает особого внимания и наследие Григория Саввовича Сковороды (XVIII век), его концепция «сродного труда», весьма близкая к «теологии труда» Гоголя (о которой писал прот. Василий Зеньковский): «...мёртвая совсем душа человеческая, не отрешённая к природному своему делу»; «отнять от души сродное делание – значит лишить её живости своей», «всемигунно терпеть душевную смерть».

Лейтмотив глубокого преобразующего раскаяния проходит через всю христианскую литературу: «Прими Иисусе Христе мертвеца, погубившего свою душу» («Житие св. Нифонта»). Идея духовного преобразования заложена в самом имени Павла Ивановича Чичикова, которому у Гончарова ставится в параллель отмеченный Божьей благодатью сам св. ап. Павел, прежде бывший гонителем христиан, древним евреем Савлом. Этот мотив радикального перерождения нового русского человека даёт ключ и к пониманию символики «вознесения души» в конце первого тома.

Галерея образов помещиков начинается с Манилова, в котором сконцентрирован главный, согласно гоголевской *аксиологии делания*, порок русской жизни – лень... Мертвенность этой души определяется тем, что у неё *нет своего дела*, а все замыслы остаются пустыми иллюзиями. Охваченная типичной российской подозрительностью и страхом Коробочка боится, увы, не Бога (что было бы при обратном раскладе началом её премудрости!), а мертвецов. Обманщик Ноздрёв – хам и шулер, жульничает в игре, кроме того, проявляя чрезмерность как порок русской души – её, по словам Бердяева, «ушибленность ширью» (столь свойственный обычному русскому помещику XIX века масштаб хозяйственной философии: там – те леса – мои!). Собакевич проявляет обычную русскую жадноватость, замешанную, правда, не на жалости, а на склонности к мошенничеству. Например, это выражается в том, что он назначает огромную (по тем временам!) цену – по сто рублей – за человеческую душу, вписывает среди «душ» женщину Елизавету; для информации надо заметить, что при переписи для рекрутской службы женщины и дети не учитывались... Сближает Ноздрёва и Собакевича неуважение к своим друзьям; но если Ноздрёв хамит прямо в глаза, то Собакевич это делает за глаза: «Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться», – отмечает Гоголь.

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь проникновенно пишет о духовной «шользе болезней» – мысль труднодостижимая для современного здравоохранного комплекса, замешанного на глобальном надувательстве людей. В контрасте с идущей от святоотеческого миропонимания гоголевской идеей – непростижаемое «богатырское» здоровье Собакевича: «...скорее железо могло простудиться и кашлять, – отмечает автор, – чем этот на диво сформированный помещик».

Плюшкину же свойственна гипертрофированная для обычного состояния русской души невероятная скупость; здесь Чичикова и встречает-то ключница, в чём видится определённое указание на символику инициатического прохождения героя через замкнутые врата.

Но попробуем здесь поразмыслить: почему образ Манилова начинает, а образ Плюшкина завершает систему образов помещиков? – и почему в главу о Плюшкине введено авторское отступление?

Манилов, как мы уже отметили, персонифицирует главный, по Гоголю, порок русской жизни – лень, отсутствие дела. Он, как и следующие за ним персонажи, лишены внутреннего движения, развития, явлены совершенно статично, как некие окостенелые типы порока, представители зоологического мира. Правда, у Манилова есть мечта построить мост – таким образом, у него есть туманная *идея будущего!* У Плюшкина же, напротив, появляется слабое движение при упоминании о старом друге детства – ныне городском председателе; для него есть *идея прошлого!*

Но как это оказывается важно для самого Гоголя с его довлеющей *историкофилософской* интенцией! Здесь начинаются так называемые лирические отступления, более похожие на вдохновенную проповедь. И глав-



ное в системе этих лирических отступлений – мотив дороги, противостоящий окостенению. Мы видим, что Чичиков не вполне мёртв; в главе седьмой даже размышления Чичикова о мёртвых душах сливаются с мыслями самого автора и даны в едином абзаце – в одной тональности вопросительного раздумия...

Останавливаясь на тематике пути в поэме, необходимо подчеркнуть, что дорога у Гоголя – суть всегда динамика, обновление, начало времени и грядущих изменений, прилетающих на его крыльях; дорога – путь, выводящий из затхлых пространств «мёртвых душ»; она принадлежит открытым пространствам *живой* природы – просторам и далям. Этому противостоят замкнутые inferнальные пространства: дома помещиков, город, трактир, гостиница... С дорогой же связана возвышенная топография в поэме: русские необъятные дали, церкви, дальние контуры которых видны на горизонте – в терминаторе символического слияния неба и земли!

Дорога – спасение от гибели: автору, Чичикову, России – в этой *сотефилогичности дороги* состоит весь замысел поэмы Гоголя, в чём он исповедально признаётся на её страницах сам! Дорога – символ: путь духовного очищения, путь из ада. Она указывает на неабсолютность ада; и здесь реализуется антидантевское решение, поскольку у автора «Божественной комедии» на вратах ада начертано: «Оставь надежду всяк входящий сюда!» – напротив, для Гоголя есть дорога – следовательно, есть надежда.

Говоря о сюжетном строении гоголевской поэмы необходимо учитывать три сюжетных уровня. Прежде всего, это – сюжет Чичикова: приезд в город NN – визиты в городе – поездка за «мёртвыми душами» – возвращение в город – оформление покупки – празднование – слухи – отъезд из города NN. Далее надо выделить сюжет повествователя, который сопровождает Чичикова, комментируя периодически всё происходящее с ним, однако этот сюжет более раздвинут – сюда, например, включается: приезд в город Коробочки – беседа двух дам – повесть о капитане Копейкине – смерть Прокурора. «Сюжет» же лирических отступлений в метафизическом отношении наиболее существенный: он представляет собою то, что можно было бы назвать *религиозно-философским метасюжетом поэмы*, связанным с глубинным и нереализованным до конца авторским замыслом...

Характерно, что лирические отступления подобно чистому ручью изпод земли пробиваются при том малом живом движении души у Плюшкина и усиливаются, когда Чичиков покидает крут помещиков; особенно повышается «густотность» лирических отступлений к концу первого тома – их стоит рассматривать как лирико-философскую исповедь автора, приоткрывающую многое в его замысле.

Подходя к вопросу об авторской позиции в поэме, сразу отметим, что здесь существуют весьма разнообразные и самые различные точки зрения... Мне доводилось слышать от мыслящих студентов, что слишком мало души в Чичикове заложил Гоголь для подлинной возможности его духовного преобразования – а одна толковая учительница на их школьной практике мне заявила, что все мы – мыши, а «Мёртвые души» – мышеловка, но первый, кто в неё попался, был сам Гоголь!

В.В. Набоков, например, предполагал, что Гоголь мастерски, хотя и невольно, вывел в Чичикове чёрта, скупающего души – а, вместе с тем, и апогея пошлости: «Аура Чичикова обнимает его дорожную шкатулку и табакерку, “серебряную с финифтью табакерку”, которую он щедро всем предлагает... Чичиков – фальшивка, призрак, прикрытый мнимо пиквикской округлостью плоти, который пытается заглушить зловоние ада... ароматами, ласкающими обоняние жителей кошмарного города NN»; «...перед Гоголем стояла двойная задача: позволить Чичикову избегнуть справедливой кары при помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда более неприятного вывода – никакая кара в пределах человеческого закона не может настичь посланника сатаны, спешащего домой, в ад». Набоков объясняет «финальное крещендо» как «скороговорку фокусника», при которой Гоголь спасает Чичикова, «отвлекая внимание зрителей» возвышенными рассуждениями...

Д.С. Мережковский в статье «Гоголь и чёрт» видит во всей гоголевской чертовщине персонификацию и объективирование пошлости, обступающей творческий гений Гоголя извне и изнутри; таким путём «литературного объективирования» Гоголь от этого избавлялся... Но избавился ли? – однозначно сказать нельзя. Автор утверждает, что Гоголь отождествлял православие и католичество, для чего, пожалуй, имеются некоторые мистические основания, если не понимать это абсолютно натуралистически. Но главная идея Мережковского – близка набоковской и строится она на концепции авторской ущербности: Чичиков-чёрт-антихрист обманывает не только нас, но и самого Гоголя, который бежит от своих Хлестакова и Чичикова, ужасается их... Символическая судьба андерсеновского Кая, согласно Мережковскому, есть реальная судьба Гоголя: кажется, и ему попал в глаз осколок проклятого зеркала, разбитого учениками злого волшебника Троля... Провозвестник «грядущего Хама» приводит в подтверждение своему демонологическому пониманию и мысли самого Гоголя: «Герои мои ещё не отделились от меня

самого»; «Есть во мне что-то хлестаковское» (письмо Жуковскому из Неаполя, 1847 г.). И далее Мережковский подчёркивает, что чичиковского было в Гоголе ещё больше, чем хлестаковского, а главная ошибка писателя – в том, что он захотел Чичикова сделать человеком великим и себя погубил вместе с ним. В конце Мережковский ставит проблему Церкви, отмечая, что историческая греко-российская церковь не могла помочь Гоголю, а отец Матфей Константиновский остался глух к его творческой трагедии...

К.Б. Мочульский в работе «Духовный путь Гоголя» многое приписывает душевной травмированности Гоголя, его врождённой демоники, с которой сросся его талант и определил специфику духовных устремлений. В «Мёртвых душах» Гоголь видит долг перед человечеством: *научить* людей духовному перерождению и праведной жизни – следовательно, чтобы закончить «Мёртвые души», автору самому нужно было стать праведником... Этой идее приносится в жертву всё. «Мёртвые души» (по признанию самого Гоголя; Мочульский указывает 1847 г.) – история души автора, герои поэмы – воплощение его собственных пороков.

В.В. Розанов в статьях «Загадки Гоголя», «Гений формы», «Русь и Гоголь» (1909 г.) и «Гоголь и Петрарка» (1918 г.) говорит о Гоголе прежде всего как о европейце, мистическая родина которого – Рим, куда *тянуло* (!) Гоголя ещё до знакомства с ним и где он собственно и написал первый том «Мёртвых душ», а без Рима – он ничего уже не смог. Не помог даже Иерусалим – поездка к святым местам, которые предстали пред ним «мертвенными, как его душа». Но Рим, как тоπος, был для Гоголя неоскудевающим источником творческого вдохновения... Розанов отмечает, что Гоголь – родоначальник новой после Пушкина традиции в русской литературе: Гоголь – отец русской тоски в литературе. И, наряду с «солнцем русской поэзии», Гоголь по праву остаётся вторым – ночным – светилом: «В Пушкине и Гоголе слово русское получило последний чекан... Мысли Толстого или Достоевского – сложнее, важнее. Но *слово* остаётся первым и непревзойдённым у Пушкина и Гоголя».

Н.А. Бердяев в статье «Духи русской революции» относит персонажи Гоголя (наряду с персонажами Достоевского и Толстого) к оным: монстры гоголевской литературы – «мёртвые души» – хлынули в жизнь и одержали победу в миазмах революции – такова тут главная идея; эту же мысль позднее развивали И.Л. Солоневич, А. Эткин.

В книге профессора Иерусалимского университета М. Вайскопфа «Сюжет Гоголя» глава «Бесы Средневековья» содержит пронизательные соображения со ссылками на авторитет св. Григория Синаита, что гоголевские помещики – не просто демонические персонажи, но и жертвы вполне реального дьявола, у которых произошло «утяжеление» и «оплотнение» в результате воздействия «ниспавших небесных умов». «Какую чертовщину Вы читаете в Великий Пост!» – заметил однажды и сам поздний Гоголь относительно пневматологических перспектив чтения «Мёртвых душ».

Наиболее близкую нам точку зрения развивает И.А. Есаулов в монографии «Категория соборности в русской литературе» (Петрозаводск, 1995): «...в замысле Гоголя проступает стремление изобразить духовное возрождение павшего человека». Автор весьма убедительно говорит «о воздействии центральной идеи “Слова о Законе и Благодати” на поэтику “Мёртвых душ”»: «То, что, согласно закону, *живо*, “в действительности” *мертво*»; «Мы видим замену нравственного и религиозного *юридическим* началом, когда закон понимается как “*дело священное*”, то есть возносится и попирает благодать». При таком «понимании “ветхого закона” как утерявшего привилегию быть делом священным» сами понятия «закон» и «законничество» приравниваются «треху».

Очень интересные соображения высказываются Есауловым и относительно того фундаментального обстоятельства, что трёхчастный католический космос, изоморфный католическому менталитету (Ад – Чистилище – Рай), не соответствует полярной структуре православного бинарного космоса (Ад – Рай): «Неудача, постигшая Гоголя, может быть объяснена и глубинным противоречием между “бинарным” православным сознанием и заданной необходимостью представить во втором томе некое “срединное место”, подобно тому, как это удалось Данте в “Божественной комедии”; «Многоступенчатый “католический” способ спасения не реализован Гоголем и не может быть реализован в пределах “золотого века” русской литературы, века XIX. “Плавное”, постепенное спасение души в пределах внутреннего мира произведения невозможно».

Необычайно важны итоговые соображения Есаулова: «Отношения тройка Чичикова / тройка “вся вдохновенная Богом” изоморфны отношению Россия / Святая Русь. В свою очередь, горизонталь тела России (“ровнем-гладем разметнулась на полсвета”), преодолевая апостасию – в символе Руси-тройки – должна, по замыслу автора, превратиться в духовную вертикаль»; а потому именно «преодоление апостасии является основной эстетической задачей поэмы».



Перед нами здесь в полный рост поднимается тема будущего России как культурно-цивилизационной *возможности* – отнюдь не фатальной необходимости! Восточно-христианская (православная) традиция и существенно причастный её земной истории и вечным перспективам русский мир в отличие от других культурных очагов Запада и Востока имеет своим чаемым исходом сокровища царствия небесного – отнюдь не ресурсы земных цивилизаций – а потому последние с их элитами, «народами и государствами», претендующими на земные недра, увы, отворачиваются от самого в нём главного и «постораниваются» от одного его попутного ветра. «Страшно, соотечественники!», – предупреждает нас и сам Гоголь. Небесное колесо ведь только одной своей точкой касается земли – но этого оказывается достаточно, чтобы оно катилось дальше.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

ФЕНОМЕН РЕМАРКА

эссе

Каждый писатель, художник открывает своё время по-своему, и оно предстаёт разным, в зависимости от того, как писатель, художник видит мир. Эриху Марии Ремарку не пришлось для создания своих художественных «панорам» разбивать свою душу на таинственные и множественные «анимы», как это делал Герман Гессе. Он не обострял до болезненности «пограничные» состояния психики, как то было у Кафки, певца чудовищного разлада, непокоя, разорванности. Тем не менее, произведения Ремарка полноправно вошли в мировую литературу. Ремарка читают и перечитывают.

В чём же феномен Ремарка? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в его книги, но сначала – несколько биографических штрихов. Настоящее имя писателя – Эрих Пауль Ремарк. Он родился в 1898 году в городе Оснабрюке, в Вестфалии, провинции прусского королевства. Его отец был хозяином переплётной мастерской, потому Эрих Пауль книгами был окружён с детства. Однако книги для него закрылись, когда на них легла зловещая тень Первой мировой войны. Не закончив королевской семинарии в Оснабрюке, в 1916 году Ремарк оказывается в самом пекле, на передовых позициях Западного фронта. На войне он пробыл почти до самого её конца, незадолго до того, как пушки смолкли, он лежал в военных госпиталях в Германии, ведь 31 июля 1917 года он был ранен осколками гранаты в левую ногу, правую руку, в шею...

Впечатления войны кошмарами застлали его сны, они роились у его изголовья, падали под перо на страницы, и в конечном итоге определили постоянную тему и целый этап его творчества.

Он описал тяготы войны, муки и смерть солдат, горы трупов с кровоточащими глазами и ртами, с почерневшими лицами – трупы погибших от газовой атаки; оторванные куски тел – части рук и ног, приносимые взрывной волной вместе с землёй...

Сцены ужасающего кризиса человечности как приковывают, так и отвращают читателя, которому хотелось бы на свежий воздух от окопного смрада и пороховой гари, если бы сцены эти и подробности были самоцельны... Но – при самом сильном впечатлении мы видим – не в них таится искомое и, главное, не в них основа Феномена Ремарка... К основе мы приближаемся тогда, когда посреди ужасов уничтожения у героев проявляются качества духовные – они освещают чёрные военные тучи ремарковских описаний чудесами сострадания, жертвенности, покаяния.

В известнейшем из романов Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929) есть потрясающая сцена, в которой главный герой оказывается, волею случая, лицом к лицу с умирающим французом, поражённым его рукой. Буря раскаяния переполняет убийцу, но и завтра он будет снова убивать.

Значит, убийство – не в природе этого человека, и вообще – человека, оно – нечто чуждое, принесённое внешними обстоятельствами, войной, которая враг всего человеческого, в ней все – живые и мёртвые – жертвы...

Почему же всё-таки человек раскаивается, страдает, но завтра убивает вновь?

Да только чтобы не сойти с ума и не погибнуть. Об этом в книге сказано обезоруживающе прямо: «Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронтовой день ложится нам на душу тяжёлым камнем, потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас; во всяком случае я подметил вот что: все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе, но попробуй размышлять о них, и они убьют тебя».

Следя дальше за мыслью Ремарка, мы можем догадаться и о большем, о чём мыслит и говорит писатель, а именно о том, что лучшие представители поколения, прошедшего войну, как бы загоняют в глубь души свой комплекс вины, они «кодируют» его в памяти и бессознательно передают следующему поколению.



У следующих поколений этот комплекс находит выход (он – своего рода тайный предохранитель). И вот, из глубины памяти встаёт вина, и человек находит выход или в покаянии перед Богом и миром, он раскаивается искренне, или тот же непреодоленный комплекс ведёт к новому насилию. Упомянутый комплекс вины лежит в плоскости тех же болезней человечества, что и отчуждение, равнодушие к ближнему, что встретили в мирной жизни те, кто вернулся с фронтовой передовой в Веймарскую Германию, которую Ремарк описал в своём «Возвращении» (1931).

Юность Ремарка была растоптана на полях сражений. От лица поколения он с горечью писал: «Мы больше не молодежь. Мы уже не собираемся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бежали от самих себя. От своей жизни. Нам было восемнадцать лет, и мы только ещё начинали любить мир и жизнь, а нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце. Мы отрезаны от человеческих стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну!».

Тема трагедии молодёжи, принесшей с фронтов отчаяние и обречённость, тронула многих. В первый же год издания тираж книги в Германии достиг одного миллиона двухсот тысяч экземпляров. Она была переведена и стала известна не только в Европе. Появление её критики расценивали как успех, суливший автору большой интерес к его творчеству в будущем. Сам Ремарк годы спустя говорил, что то была большая литературная удача, которая никогда не больше, увы, не повторится...

Он был грустным человеком. Недаром в той же книге слова: «Сколько всё-таки горя и тоски уместается в двух таких маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем, – в человеческих глазах».

Ремарк утверждал, что война – это нечто вроде опасной болезни. У ремарковских героев эта болезнь остаётся на всю жизнь, как осталась она, неизлечимо, в самом писателе. В романе «Время жить и время умирать» (1954) Ремарк раскрывает психологическую причину насилия, она у него заключена в фразу: «Те, кто сеет смерть, ничего о ней не знают».

Действительно, те, кто, не задумываясь, посылает полки в сражения, понятия не имеют, что такое смерть. Они могут увидеть трупы, предсмертные страдания раненых, но таинственная сущность перехода в иной мир недоступна убийце. А если бы была доступна, он бы не был убийцей. Ибо убийца с каждой жертвой своей убивает и себя. Он убивает свою душу, делает её каменной, чёртовой.

От слабой юношеской книги Э.М. Ремарка «О смешивании тонких водок» (1924) до посмертного романа «Тени в раю» (1970) пролегла дорога судьбы, что закономерно была подобна лестнице, по которой шаги устремлялись то вверх, то вниз, но писатель всё равно стремился к вершине, надеялся на тепло, ждал и жаждал солнца.

Неровные ступени жизненного пути Ремарка... После фронта – демобилизация и, как Эрнст в его «Возвращении», после окончания специальных курсов для фронтовиков, он становится учителем в деревенской школе. В «Чёрном обелиске» (1956), где описана работа по продаже надгробий, снова эхо тех же ступеней – в тяжёлые годы инфляции Ремарк, бросив преподавание, тесал камни на городском кладбище.

Был Ремарк и шофёром-испытателем в фирме, которая специализировалась на изготовлении автомобильных покрышек. Тут безусловно – биографически – вспомнятся – «Три товарища» (1937) и «Жизнь взаимь» (1959). В первом романе рассказ ведётся от лица Робби Локампа, человека, который вместе с фронтовыми друзьями владеет авторемонтной мастерской. В «Трёх товарищах» сразу чувствуется не только отличная техническая осведомленность автора, но мастерски передана стихия автомобилизма.

Достаточно вспомнить, как друзья устраивают импровизированные гонки на старом «Карле» и их победу. Это увлекательнейшие страницы, они живые до полной достоверности, до иллюзии присутствия – оттого они хорошо запоминаются...

Ремарк в жизни был пламенным автолюбителем; каждый раз, проходя мимо своей «Лянчи» – итальянского быстроходного спортивного автомобиля, он стучал ногой по колесу, как бы приветствуя железного друга. Понятно, почему ему удался образ автогонщика Клерфе, образ его напарника и атмосфера гонок с их триумфами и трагедиями в повести «Жизнь взаимь», похожей по фабуле и образам на роман «Три товарища».

Однако «Три товарища» – книга особенная, она занимает в истории литературы никем более не занятое дотолее место. Ремарку посчастливилось отразить в ней всё то лучшее, что теплилось душах людей в догитлеровской, дофашистской Германии и то, что составляет мечту о человеческих взаимоотношениях, ибо в «Трёх товарищах» явлена квинтэссенция чистой дружбы – твёрдой, ироничной, грубоватой но и сентиментальной. Сила и чистота, романтизм и горьковатый юмор – это «тональный» портрет довоенного поколения. Здесь в художественной доминанте не изображение отчаяния а, напротив, с «Трёх товарищей» в творчество Ремарка по-новому приходит тема любви.

В «Трёх товарищах» появляется ещё один «спутник» любви – жизнелюбие, ведь любимая женщина – это часть жизни и потому неразумно, да и невозможно не любить жизнь, сколь бы трудной она ни была...

Особенно «мажорный», даже по-молодому озорной «рисунок» прозы наблюдаем в первой части «Трёх товарищей»; вторая часть кончается «минорным» аккордом смерти Пат, подруги Локампа, его возлюбленной. Но даже заключительная сцена, в ней «свершается» последний час Пат, всё равно не теряет этого доброго свечения, ибо Пат прожила недолгую, но яркую жизнь и последние месяцы, дни, провела в объятиях человека, её любившего, который был ей прежде всего другом, а это умение быть другом, а не казаться им – особенно раскрывается в испытаниях, перед лицом смерти, и мы видим – когда Пат уже умерла, в сущности, она и Локамп остались вместе. Ведь он остановил перед её смертью время! Он утишил ход часов, грохотавших в обретаемом последнюю чувствительность слухе Пат, он, Локамп, разбил часы о стену...

Они ещё побыли вместе, пока не «наступило утро и её уже не стало», она ушла... И всё же их не-расторжимое «дваём» продолжилось по-иному в сознании друга – это уже было её долгое посмертье...

В скобках отметим, что прототипом Пат была первая жена Ремарка. Звали её Ильза Ютта Замбона. Она была бывшей танцовщицей, болела туберкулезом. Их совместная жизнь длилась четыре года. Однако позже, в 1938 году Ремарк заключает с Юттой брак, чтобы помочь ей перебраться из нацистской Германии в Швейцарию, в которой к тому времени обрёл приют сам писатель. Не только в писательстве, на страницах своих книг Ремарк в героях своих был благороден, но и в жизни готов был придти на помощь некогда близкому ему человеку, женщине...

Героини Ремарка неизменно изящны, неизменно женственны и неизменно трагичны. В конце повести или романа чаще всего они погибают. Кроме того, они загадочны, внутренний мир их мы постигаем более со стороны. Рассказчик, он же герой – постоянно действующий персонаж, предстаёт во всём богатстве психологических и ментальных оттенков. Это не удивительно – и в обыденной жизни мир стучится в нас, в наше восприятие только через окно нашего единственно – индивидуального «я»...

Загадочные и обречённые героини Ремарка считаются однообразными. Критика, по крайней мере, не раз указывала «самоповторяемость» образов, меняющих из книги в книгу имена, но не характеры. Не хотелось бы разделить эту распространённую точку зрения, о «многократной эксплуатации однажды уже счастливо найденных» сюжетных ходов. Применительно к этому «треху» ещё цитируют Оскара Уайльда – «Если человек иногда повторяется, говорят: он повторяется. Если же он всегда повторяется, говорят: «он нашёл свой стиль». Так вот, здесь видится не повторение, а развитие, углубление. Например, Пат, может быть, в некоей мере и возродилась в «Жизни взаимы» под именем Лилиан, но обрела ещё большую утончённость и свободу. Мы лучше знаем о внутреннем мире, о переживаниях Лилиан, чем знали в «Трёх товарищах» о мыслях и чувствах Пат. И тем понятней, отчего Клерфе, полюбив Лилиан, относится к ней вдохновенно, держа её жизнь в руках бережно, как драгоценный сосуд из тонкого стекла...

К чести немецкого прозаика надо сказать, что даже в вечную тему – тему любви ему удалось внести нечто ценное, своё. Он изображал людей, которые по мере сближения не теряют индивидуальность, остаются собою. Любовь если и не поднимает их на самый высокий гностический эмпирей, но и не разрушает.

Разумная, а не бесчувственная дистанция – незримой стеной меж ними; порог уважения к чужому «я» остаётся, как бы ни пылали сердца. Может быть потому, что каждый – свободен, меж мужчиной и женщиной «коагулируется» особая, чисто – ремарковская неповторимая атмосфера... Они ведь прежде всего друзья-романтики, а потом уж страстные любовники... И они трагически освещают своим теплом каждый опущенный судьбою миг жизни.

Каждый день как последний. Так живёт не только смертельно больная туберкулезом Лилиан, ту же высокую горечь несёт доктор Равик из «Триумфальной арки» (1946). Трудно ответить на вопрос, в ком из ремарковских «лиц» нет чувства непрочности всего земного. Они живут так, будто весь мир может в любую минуту рассыпаться в прах, как песочный дворец, построенный детьми на берегу легендарной подземной реки, имя которой – Лета... Чувство иллюзорности «недвижимых» человеческих ценностей – дома, уюта, родины в XX веке многократно подтверждала жизнь. Беженцев из Германии выслали из тех стран Европы, куда им удавалось бежать. Они не имели права на труд, они были изгоями. И всё-таки даже им удавалось порой найти временное пристанище, отдохнуть, привязаться к кому-нибудь, полюбить...

«Мгновение радости – вот жизнь! Лишь оно ближе всего к вечности», – говорит доктор Равик своей подруге Жоан в «Триумфальной арке». Он, изгнанник, живущий во Франции нелегально, всё же совершает с Жоан путешествие на юг, на дорогой курорт, в роскошный отель, в казино. Или мы видим их вместе в Париже на балу. Бал перед самой войной. Люди одеты в костюмы XVIII века. Но этот «пир» не



удался – его смыло дождём, как улыбку с лица смывает грусть. Грусть всегда сопровождает героев Ремарка, она – полноправный персонаж его произведений. Ремарк – писатель трагического мироощущения, но его добрый и волевой взгляд на мир создаёт особый аромат, особое, только ему присущее очарование, и умеет в грусть вплести цветы восхищения и любви...

Пусть отдых, приют, любовь были не более чем миг, почти иллюзия, но в ней – здесь художественное откровение Ремарка – сама суть того, что люди называли Счастьем...

Потому именно они, знающие, что такое смерть и отчаяние, умеют по-настоящему радоваться жизни. Их душа лишена ленивой неги благополучия, напротив, они всегда настороже, в них есть свежесть и полнота ощущений. Их фантазия превращает в огненные вихри даже сомнительные кабаки, «а оркестры, гонявшиеся за чаевыми в сказочные капеллы!» – так в «Жизни взаимы» подтверждением – Лилиан «даже самую избитую, затасканную и сентиментальную песню воспринимает как гимн человечности, в каждой такой песне ей слышится и скорбь, и желание удержать неудержимое и невозможность этого». Во «Времени жить и умирать» (1954) оживают события Второй мировой войны. Солдат Гребер приезжает в отпуск из действующей армии в родной город, объятый пожарищем бомбежек – дом его разрушен авиацией союзников, родители – то ли погибли, то ли эвакуированы, – здесь, на развалинах прошлого, на развалинах мирной жизни – встреча с Элизабет, совершенно ремарковской женщиной.

Они сидят в лучшем ресторане и предаются роскошеством, которые даёт знатокам-гурманам цивилизация. Мелькают названия непревзойдённых шедевров виноделия, ведь все мужчины Ремарка – истинные рыцари винных погребов, знатоки, которых не обманешь... Вино – тоже друг, оно помогает не только забыться, но и восхищаться! Что говорить – Ремарк, конечно, придавал вымышленным людям собственные черты – сам писатель знал толк в винах и мог определить название и год урожая, не глядя на этикетку. Это доставляло ему радость победителя над этой всегда эфемерной, ускользающей от счастья реальностью.

Очень много лет назад я как-то попросил своего младшего брата подсчитать, сколько крепких напитков упомянуто в «Трёх товарищах». Результат был, если не ошибаюсь, такой – коньяк добрым словом упомянут – двадцать девять раз, шерри-бренди два раза, вина – четырнадцать раз, как и джин, херес, водка, которые мы объединили в один «разряд»; коктейлей разных «консистенций» выпито семь, ликёров четыре, совсем немного, раза, кажется, четыре – пиво. Но абсолютное первенство среди ремарковских пристрастий занял ром, – он удостоился тридцати трёх «попаданий» в авторский выбор. Как не вспомнить призыв Бодлера – «Опьяняйтесь!».

Вина и крепкие водки, легендарный кальвадос, благоухающий яблоками, – склонённость хаймовской чаши в ту откровенность, ту добрую открытость, которая бежит искристой пеной через край...

«Он пил вино, смаковал его и смотрел на Элизабет! Ведь она тоже была частью этого праздника. Вот оно, *нежданное*, несущее с собой лёгкость и бодрость! Оно поднимается над необходимостью, ненужное и как будто бесполезное, ибо принадлежит к другому миру, более сверкающему и щедрому, к миру игры и мечты. После этих лет, прожитых на краю смерти, вино было не только вином, серебро – серебром, музыка, откуда-то просачивающаяся в погребок – не только музыкой, и Элизабет – не только Элизабет! Все они служили символом жизни без убийств и разрушения, жизни ради самой жизни, которая уже почти превратилась в миф, в безнадежную мечту».

Когда Гребера и Элизабет обуревают возвышенное и грустное эпикурейство, вино становится ничем иным, как растворённым в бокалах солнцем.

Миг, стоящий жизни... Те, кто знает, что «внешний» мир зыбок, как мираж, могут создать в своей глубине иной иллюзорный, хрустально-сияющий вечерний мир. Они обретают то великое и мимолётное, что роднит богача и бедняка – миг самозабвенного слияния с красотой, с музыкой. Это то состояние, когда раскрываются горизонты перед вечерней зарей и у человека дрогнет сердце тоскующей болью о прекрасном, о сказочно-вечном. Вот почему «тени» и «лица», рождённые воображением Ремарка так спешат на праздник жизни.

Зов на пир во время чумы, зов мужественный, но и сентиментальный – ещё одна грань неисчерпаемого феномена Ремарка.

Однако при неисчерпаемости у творческого феномена Э.М. Ремарка есть Сердце, которое забилося в первой же ставшей широко известной книге, где читаем:

«Земля, земля, земля!..»

Земля! У тебя есть складки, и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забыться как крот! Земля! Когда мы корчили в предсмертной тоске, под всплесками несущего уничтожение огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала её в нас могучей струей! Смятение

обезумевших живых существ, которых чуть не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись ответно в тебя пальцами и, безмолвно, боязливо радуясь ещё одной пережитой минуте, впивались в тебя губами!».

Настоящий трагический гимн Планете одного из её заблудших сынов. Взгляд с орлиного полёта. Выход в таинство всеощущения, осознания себя сыном Земли.

Вот где сердце духовного огня ремарковских произведений, в которых психологический регистр внезапно раскрывает спонтанно-медитативное ощущение мира в его сокровенном Единстве.

«Во внезапно наступившей тишине, которая вовсе не была тишиной, ему вдруг почудилось, что подземный толчок выбросил его из кратера вулкана, и что он плавно, как Икар, спускается вниз на Землю, раскрытые объятия Земли, спускается к той, что сидит где-то на трибуне, чьё имя, чей облик, чьи губы воплотили для него всю Землю».

Так образ возлюбленной Клерфе Лилиан в «Жизни взаимь» обретает планетность. Она становится равнозначна Земле – женщине, матери, материи.

Такой феномен расширенного миропонимания выдвигает писателя в более высокий ряд, чем тот, принадлежащие к которому просто видят и отражают.

Сила обобщения восходит к Единству, которое наступает в «тишине, которая вовсе не была тишиной». Не о той ли тишине писал современник Ремарка Г. Гессе в «Степном волке», –

*...Мы во льду астральной тишины
Юности и старости не знаем,
Возраста и пола лишены...
Холодом сплошным объята мы,
Холоден и звонок смех наш вечный...*

Горести и радости отступают перед человеком, когда он близок к Тишине, к божественной ноте спокойствия, когда он стоит на грани, которая отделяет его от смерти, когда он «по ту сторону добра и зла».

Близость рокового порога приближает к мудрости и – вот он, феномен феноменов – корень бессмертия: «Лилиан услышала, как мимо трибун, подобно торпедам, просвистели машины. Тёплая волна захлестнула её. “Мудрость всегда молода, – подумала она. – На свете множество декораций, игра никогда не прекращается, и тот, кто видел голые колосники во всей их ужасной наготе и не отпрянул в испуге, – тот может представить себе бесконечное количество сцен с самыми разными декорациями. Тристан и Изольда никогда не умирали. Не умирали ни Ромео и Джульетта, ни Гамлет, ни Фауст, ни первая бабочка, ни последний реквием”. Она поняла, что ничто не погибает, все лишь испытывает ряд превращений»...

...Большую часть жизни Эрх Мария Ремарк прожил вдали от родины. Он был изгнанником. В итальянской Швейцарии, в Порто-Ронко, где он лечился, его застал нацистский военный переворот 1933 года, свершившийся в Германии. Демократия, а вместе с ней и свобода слова были растоптаны, книги Ремарка сожжены, сам он лишён гражданства...

Знаменитая киноактриса Марлен Дитрих в книге воспоминаний, где каждой замечательной встрече её жизни посвящена отдельная глава, пишет о своём друге: «Ремарк был удивительно деликатный человек, с чуткой, ранимой душой и тонким талантом, в котором всегда сомневался. Мы были соотечественниками. Говорили на одном языке, который любили. Родной язык – это великая сила».

Впервые я встретила его в Венеции, в Лидо. Я приехала туда к Фон Штернбергу. Ремарк подошёл к моему столику и представился. Я чуть не упала со стула. Такое всё ещё случается со мной. На следующее утро я встретила его на пляже, куда пошла погреться на солнце и почитать любимого Рильке. Ремарк подошёл ко мне и, посмотрев на книгу, сказал не без иронии: “Как я вижу, Вы читаете хорошие книги!” – “Хотите, я вам прочту несколько стихотворений?” – предложила я. Он скептически посмотрел на меня. Киноактриса, которая читает?! Я читала ему наизусть “Пантеру”, “Леду”, затем “Осенний день”, “Первые часы”, “Могилу молодой девушки”, “Детство” – все мои любимые стихи. “Давайте уйдём отсюда и поболтаем” – предложил он. Я последовала за ним в Париж и теперь слушала его. Всё это было до войны».

Сколько раз вот так же главные персонажи его книг уводили, увозили своих подруг, своих избранниц...

Марлен Дитрих говорит, что писал он с большим трудом, иногда на одну фразу затрачивал часы... Этого совершенно не чувствуется в летящей, раскованной его манере, но поверим Дитрих, тем более что история литературы знает примеры, когда тяжело создававшийся роман выглядел со стороны, как лёгкая импровизация...



Далее Дитрих пишет, что летом 1939 года она со своей семьей и Ремарк были в городке Антиб. А на следующий год Ремарк по переполненной беженцами дороге привез на своей «Лянке» дочь Дитрих в Париж... Начинаясь новая война.

От войны, от насилия Ремарк и его герои, как правило, спасаются бегством всю жизнь. От первых книг до посмертного романа все, о ком идёт речь, сплошь так или иначе – «беженцы». Некоторые пытаются убежать в повседневность, но это мало кому удаётся, как вернувшимся с фронта солдатам в романе «Возвращение». Или доктор Равик из той же «Триумфальной арки», который бежит от нацизма в Париж... Но все они всё же бегут и от самих себя, и от разлада с самими собой, и от внешней опасности...

Ремарк подобно его Роберту Россу из «Теней в раю» достаёт себе чужой паспорт и в 1939 году бежит, уезжает в США.

В Лос-Анджелесе, в Калифорнии, где он поселился, его как немца временно интернировали, ему запретили покидать гостиницу с шести вечера до шести утра.

Дитрих продолжает: «Ремарк стал первым беженцем, которого я взяла под своё покровительство. Для него я нашла дом, где он имел возможность встречаться с людьми и во время “запретных часов”».

Парадокс этой ситуации разрывал ему сердце. Его книги сжигались Гитлером, а он был интернирован в Америке.

Ремарк был мудрым, но это ни на йоту не уменьшало его скорби. Когда отменили запретные часы, он уехал в Нью-Йорк, а позднее – в Швейцарию. Покидал Америку не очень охотно, понимая, *что* принесли Европе страшные годы войны...

Беженцем в Америке Ремарк перестал быть в 1942 году, когда принял американское гражданство. В 1954 году он уехал в Европу, туда же, в Порто-Ронко, откуда началось его странствие. Там он пишет книгу за книгой. Выезжает в другие страны, бывает в Германии, в США...

В 1960-е годы оставаясь в Швейцарии, Ремарк жил уединённо, и это понятно: он перенёс несколько инфарктов и дорожил временем. Дитрих говорит, что смерть страшила его и прибавляет: «Мне это очень понятно. Нужно иметь большую фантазию, чтобы бояться смерти. Его фантазия была его силой»... Умер Ремарк 25 сентября 1970 года в городе на юге Швейцарии, в Локарно.

В заключение скажем, что жизнь и память Европы первой половины XX века открывается ключами художественной прозы, среди которых далеко не последним видится ключ, который нашёл в глубине своей души Эрих Мария Ремарк, эпиграфом к собранию сочинений которого может служить единое слово – «*всечеловечность*». Зов к ней – ключ и колокол ремарковского литературного наследия, оставленного им жизни и миру.

«ШШКАФ»

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

ЕСЛИ БЫ ОНИ БЫЛИ ЖИВЫ...

ретрорецензия

(Левон Осепян. *Умереть в Париже*, – М., Гуманитарий, 2016)

Артур Рембо однажды сказал: *«Ты несёшь меж ресниц, словно пламень весёлый, доброту небывалой и дикой весны»*. Только воздух Северной Франции, осевший на берегах Сены, порочный и радостный, злой, но вольный, смог заполнить лёгкие поэта необходимым для творчества магическим эфиром, и материализовать образ, обозначенный этими строками – Париж! Столица мировой литературы, поэзии, живописи, музыки и философии – Париж, как гигантский проектор, притягивающий своим светом лучших мировых творцов, увековеченный ими в своих произведениях. Тут и «Праздник, который всегда с тобой» американца Хемингуэя, и «Я хотел бы жить и умереть в Париже...» советского горланглаваря, и смутно экзистенциалистский климат Франсуазы Саган, заметившей «Немного солнца в холодной воде». Вот и Левон Осепян прорвался к читателям из этой когорты влюблённых в столицу мировой культуры со своим эссе – на нём лежит горькое клеймо смерти – «Умереть в Париже».

Что это? Подсознательное влечение закончить свои дни рядом с Еврейским островом, на котором 700 лет назад был сожжён последний магистр тамплиеров? Или, лишь пригубив смертельный яд предрепённой гибели, обратить искреннюю любовь, признание и благодарность к своим современникам, людям красивым и творческим, с кем судьба свела автора, подарив ему радость общения с ними? С большой теплотой и неизбывной грустью рассказывает Осепян короткие истории каждого из них, пронесших меж ресниц

солёные капли дикой весны. Это и художник Владимир Вильчес-Ногерол, аккумулировавший безумно талантливую смесь южно-романских кровей и культур, дитя коммунистических потомков пиренейских идаьго и северо-итальянских интеллектуалов из Болоньи. Мария Саакян – наша молодая современница, энергичный и чувственный кино-режиссёр, счастливая мать пятерых детей, лауреат многочисленных кинематографических премий, наследница ярких культурных традиций – онкология изъяла её из жизни в 38 лет, не спросив, хотела ли Мария жить и умереть в Париже?

Удивительным и органичным вкраплением в повествовательный ряд являются фото-портреты персонажей эссе Осепяна: талантливый фотограф, Левон запечатлел для нас образы блистательных звёзд отечественной и мировой культуры, которые порою не нуждаются в прозаической аннотации. Как, например, «Портрет Марии Саакян», на котором счастливое мгновение жизни в чуть сдержанной улыбке, тем не менее не оставляет ощущения трагической предопределённости, спрятанной в глубине искрящихся, но грустных глаз. Тонкая грань между Бытьём и Смертью, найденная и заданная Осепяном на острове посередине Сены, в последующих его портретных встречах, стучит в сердце, как пепел Клааса, спасая от забвения успешных от нас людей, сделавших Жизнь более сложной, но несравненно интереснее. Нигилистические полутона казались бы неосознанно сопровождают эссе, всё время ставя читателя перед альтернативой, как перед Рубиконом: Свет или Тьма?



Париж... Жизнь... Смерть... – всё переплелось в один звенящий нерв, удерживающий нас от того, чтобы закрыть глаза навсегда. Жизнь не моргая смотрит на нас глазами девушки с фотографии 1944 года, что поразила автора эссе жизнеутверждающим спокойствием. Сделанная в дни освобождения Парижа от гитлеровских оккупантов, фотография чудесным образом соответ-

ствует дихотомическому приграничью – Смерть в прострелянных пулями витринах на заднем плане и Девушка на первом плане – Марианна XX века – неистребимая Жизнь Парижа смотрит нам прямо в глаза...

Поэтому читатель остаётся в абсолютной уверенности: Левон Осемян приезжал в Париж за Жизнью!

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ ПТИЧИЙ ЯЗЫК

(Лада Миллер, В переводе с птичьего. – М., Время, Поэтическая библиотека, 2018)

Любовная лирика – то, что всегда востребовано временем. Казалось бы, столько уже написано на темы любви! Но возникает парадокс: современный читатель почему-то хочет слышать стихи, написанные именно сегодня. Что-то неуловимо меняется со временем: роль женщин, роль мужчин, способ выражения самих чувств. И потому «я помню чудное мгновенье» или «шепот, робкое дыханье, трели соловья» сегодня уже выражают наши чувства не совсем точно. Хотя это шедевры и «литературные памятники». Об этом я размышляла, читая книгу Лады Миллер «В переводе с птичьего». Уже в самом заглавии книги Лады есть замечательная догадка: стихи – это всегда «переводь», даже когда мы пишем на родном языке. «Птичий – это женский», – говорит автор книги, Лада Миллер. И добавляет: «Из мужчин птичий язык понимают только те, кто живёт в счастливом браке». Духовное различие между полами глубже, нежели чисто гендерное. Женщины мыслят немного по-другому, и именно в любовной лирике различия эти различия наиболее заметны. Вплоть до того, что даже гениальные женские стихи о любви могут показаться мужской аудитории не столь интересными. И наоборот.

*Жизнь кончается больно и быстро.
Не хватай, не целуй, погоди.
Я наткнусь на тебя, как на выстрел,
Как на крик в говорящей груди.*

*Изю всей своей силы и грусти
Тянешь к сердцу, торопишься – Эй!
Пузырящийся воздух невкусен,
Да и нет в пустоте пузырей.*

*Всё не так. Слишком страшно и резко
Рассветает. Держи меня за...
Вот крючок. Здесь кончается леска.
Начинаются рот и глаза.*

В стихах Лады даже посторонние предметы и вещи активно вовлекаются во внутреннюю жизнь героини: например, дерево «прощается» с висевшим на нём инородным телом, гвоздём. А вот «миска с облупленным краем». А ещё «время идёт и ломает каблук». Мир Лады духовен в точной предметности. И мир этот – очень женский: именно в проявлениях любви мужчины и женщины наиболее сильно отличаются друг от друга. Но, возможно, это их и притягивает. Счастье просто зависает в воздухе в стихотворениях Миллер. А ведь долгое время искусствоведы утверждали, что о счастливой любви в русской поэзии талантливо писать никто не умеет. разве что Анна Гедымин. Все почему-то пишут исключительно о трагическом. Счастье у Лады Миллер – это «вещь в себе». Оно объёмно, оно прирастает и печалью, и тревогой, и страхом, и даже тоской – то есть тем, что изначально вообще не мыслилось как компонент человеческого счастья. Прошлое, настоящее и будущее сопряжены и словно бы одномоментны.

*Оставшись, я уже не убегу.
Мы будем жить с тобой на берегу,
Делить еду и лёгкую работу,
Перебирать задумчиво песок,
Рожать детей, креститься на восток
И соблюдать, как водится, субботу.*



*В кувшине глина. В облаке вода.
Рука в руке... Прощать и обладать,
Чтоб не терять необходимый трепет,
Не в этом ли святая благодать?
(Когда в саду распухнет беда,
Заголосим, но губы не разлепим)*

*Я не о том, любимый, не о том
(Уносит море тело, память, дом,
Знакомые до обморока лица)
Я о начале. Всё-таки уйду.
Остаться, это значит на беду,
Как и на счастье, взять и согласиться.*

Важное качество лирики Миллер – то, что герой и героиня всё время находятся («в кадре»). То есть они не мечтают и не сетуют о несбывшемся, а **живут**. Живут здесь и сейчас, на страницах этих лирических стихотворений. Живут и воодушевляют многочисленных читателей, у которых в личной жизни всё складывается не так хорошо, как хотелось бы, своим личным примером. Лада Миллер на личном примере доказывает, что счастье не просто возможно. Оно – существует в реальной жизни. И стихи пишутся именно от счастья. От избытка эмоций, а не от их недостатка. Умение писать появляется, когда научишься ярко жить. «Я всю жизнь писала от избытка чувств», – признавалась Марина Цветаева. Причём эта яркость у Миллер – сугубо внутреннего свойства: герои стихотворений не тусуются, не выпячивают себя перед другими людьми. Не входят в конфликт с окружающим миром. Иногда они путешествуют, и тогда города, в которые они посещают, служат фоном, декорацией их отношений. Счастье, по Ладе Миллер – это состояние постоянной, делящейся непрерывно влюблённости. Это гармония наслаждения друг другом. Любовь женщины подобна пещере: заходишь туда – и не знаешь, сможешь ли выбраться, не заблудившись.

Поэзия такого плана – это всегда «лепет»: как сказал Мандельштам, «он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьёт». Опыт и лепет, какое непривычное, парадоксальное сочетание слов!

Опыт – состояние зрелого человека; лепет – речи младенца. И всё это – синхронно, одновременно! В стихах Лады Миллер есть, я бы сказал, мастеровитая безыскусственность.

*Здесь вечер нежен и кровит
Закат. Рукой подать до рая.
Здесь жизнь – от края и до края –
Лишь ожидание любви,*

*А наш сердечный перестук
Нестихотворного размера –
Всего лишь средство от разлук,
Всего лишь алое на сером.*

На встрече с писательницей в Москве выяснилось, что Лада Миллер – поэт «с судьбой». Хотя, если быть до конца честным, все эмигранты – люди непростой судьбы. Попробуй прижиться на новом месте – и не потерять себя! Лада дважды в жизни обустроилась в новой для себя стране – вначале в Израиле, а потом – в Канаде. Она пришла в литературу, продолжая работать врачом. Подвижная, яркая, обаятельная, обстоятельная женщина. Лада верит в «Божий кулак, который просачивается сквозь дыры мироздания». Она считает, что слово спасёт мир. Не красота, как у Достоевского, а именно слово. Любимые поэты Лады – Блок и Пастернак. А ещё ей нравятся роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» и детективы Агаты Кристи. Она живёт во франкоязычном Монреале и не очень-то жалуется Америку. «У них капитализм, а у нас – социализм». Публика в Петербурге и в Москве произвела на жительницу Канады самое благоприятное впечатление. Она осталась очень довольна путешествием в далёкую Россию.

*А время идёт и ломает каблук,
И вот уже времени нет.*

*Не жизнь, а потеха – гремят жернова,
Швыряют в несътую брешь.
...А слово услышу – и снова жива.
Утешь меня, слово, утешь.*

АЛЕКСАНДРА ЮНКО

«НА РАЗВАЛИНАХ ДНЯ...»

В серии «Слово земли нашей» – приложения к журналу СПП «Литературное Приднестровье» – вышла в свет книга Валерия Кожушняка «Записки прохожего» (Гирасполь, 2017).

Приднестровье богато добрыми литературными традициями и талантливыми именами. Однако такое весомое «прибавление в семействе» происходит не каждый день. Ведь это своего рода том избранных произведений автора, уже отстоявшихся и проверенных временем. Мне кажется, нужно говорить обо всей книге целиком как о значительном и знаковом явлении, как о некоем культурном феномене. И главное внимание следует привлечь, конечно, к роману. Потому что в нём есть всё, что Валерий Кожушняк мог предъявить читателю в тот момент, когда поставил точку.

Книга охватывает крупный временной промежуток. Так, роман датирован 1991-2017 годами. Рассказы написаны в середине 70-х. Пьесы и повесть «Во саду ли в огороде» – десятилетие спустя. Под повестью «Горнюха» указан 2002-й (год опубликования). А ведь всё это разные эпохи, притом не строго в календарном смысле.

Роднит столь разнородные произведения не только яркая, узнаваемая авторская манера, но и то нечастое по нынешним временам свойство, которому грозит полное вымирание, – художественная

честность. Это свидетельствует о высоком накале чувств, что позволяет сохранить в памяти самые главные события пережитого, и в то же время – о большой внутренней свободе, сохраняемой при любых обстоятельствах, идеологических установках, модных веяниях или спекулятивных законах дикого рынка.

Не случайно Кожушняк формулирует свой главный творческий принцип так: «Движитель писателя есть эмоция, помноженная на высокий интеллектуальный уровень и беспредельную искренность». Тут важно, полагает он, не откладывать добытые знания и полученные впечатления на дурацкое «потом», чтобы эмоции не блекли, оставляя лишь сухой гербарий чувств. «Ход мыслей можно худо-бедно восстановить, а вот страсть и степень её градуса испаряются. В результате остаётся пепел необязательных словес, неуместные умствования, покрытые слабеньким налётом влаги отлетевших эмоций. Это как увядшая любовь без страсти вдохновения».

Но обо всём по порядку. Точней, по хронологии.

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

«Я был в таком возрасте, когда монументальные истины не особо давят на плечи». Таковую ироническую автохарактеристику даёт себе герой рассказа «Магарыч».

Жестко, в противовес «одурманенным романтикой» искателям «тумана», Кожушняк показывает разношерстную публику, которая в реальной, а не в песенной тайге строит железнодорожную ветку. В далёком уральском городке судьба сводит юного Евгения с Магарычевым. И пусть этот персонаж напоминает «заржавленную, мятую консервную банку», именно от него, прошедшего через все испытания эпохи, лирический герой узнает о том прекрасном, что есть на свете, – о картинах и «внепрограммных» стихах, об умных книгах и музыке, о крепкой вере и опоре в собственном сердце. Поэтому и запомнилась навсегда короткая эта встреча с эдаким Платоном Каратаевым XX века.

И в рассказе «Друг» вполне житейский случай (мужики выпили и передрались на Пасху), оказывается, неразрывно связан с большой историей страны. У «лёгкого человека» Петрухи и утрогого, закаменевшего душой Гаврилы есть за плечами общее былое, лагерь и сибирские шахты. Когда-то Гаврила принёс домой кукурузу – «подкормить детей маленько», был по доносу арестован и – «только его и видели». Тем временем дочери умирают от голода, а трёх сыновей чья-то добрая душа под чужой фамилией определяет в детдом... И от всех попыток найти их после войны толку не было.

Поистине сказочной предстаёт русская печь, сложенная Гаврилой по возвращении из Сибири.

Ведь сам он «надежду на лучший исход утратил, а без этого душе, как печке без огня, черно». Зато печь топится по особому случаю и, как по волшебству, выпекает куличи, «как облака, – мягкие, душистые». Спровоцированная Петрухой драка прорывает в Гавриле плотину запертых на годы чувств. Отсидев в милиции пятнадцать суток, он рушит кувалдой печь и, словно исчерпав запас жизненных сил, умирает. Письмо о том, что нашёлся, наконец, один из сыновей, приходит вдове Ефросинье слишком поздно.

«Зимний лов» – это, я бы сказала, образцовый рассказ: ни одного суетливого «телодвижения», ни одного лишнего слова. И вновь автор использует тот же приём, когда повествование начинается вроде бы неторопливо, а затем внутреннее напряжение всё нарастает. Не может не потрясти читателя сцена, когда один из рыбаков забивает карпа. Эта драматическая кульминация «Лова» оборачивается синонимом всеобщего озверения, не случайно название рыбины звучит как человеческое имя. Однако при всем трагизме сюжета здесь нет и следа безысходности. Всё уравновешено добрым юмором и неподдельным теплом. Образы деда и мальчика Вальки просто омыты авторской любовью.

Своеобразным продолжением этого рассказа можно назвать повесть «Во саду ли в огороде». Трогательная история нелёгкого взросления и прощания с детством являет черты, несомненно, автобиографического характера. Здесь в полную силу проявляются такие свойства прозаика, как неприкрашенная правда, при описании трудностей быта и общего мироустройства, чуткое к речевым характеристикам уху, глубоко поэтическое восприятие жизни во всей её полноте. И тут мы на-

блюдаем рождение бабочки из гусеницы. Иными словами, рутинная байка прямо у нас на глазах преобразуется в художественную реальность куда более высокого порядка.

Драматургия Валерия Кожушняка несёт отчётливые знаки принадлежности к годам написания, однако поднятые в ней проблемы ничуть не устарели. «Лицом к лицу», на первый взгляд, анекдот о «живом покойнике»: мужики шутки ради уложили подвыпившего пожарного в гроб. Однако сюжет прекрасно ложится на приметы времени – пресловутую борьбу с пьянством середины 80-х. Если же копнуть чуть глубже, окажется, что история эта – о смысле жизни и вечных её вопросах, о «раковой опухоли равнодушия» (по выражению студента-заочника Сашки), разьедающей прежние ценности. Завязка одноактной «Встречи» обыденна: пассажиры в зале ожидания ждут самолёта. Постепенно, в диалогах и столкновениях мнений, раскрываются характеры действующих лиц. Драматизм нарастает крещендо вплоть до финальной сцены, когда Света, приехавшая в «небольшой северный город» специально для встречи с братом, узнаёт о его гибели.

Пьесы эти до сих пор не ставились. Фрагменты «Встречи» в постановке Иркутского ТЮЗа вроде бы показывали на местном телевидении, но сведения об этом не вполне достоверны. Жаль, ведь в этих драматических произведениях заложен немалый сценический потенциал. Да и вся малая проза Кожушняка так и просится быть инсценированной, перенесенной на экран ТВ или кино. Об этом, в частности, писал критик Андрей Хропотинский, подметивший немало важных черт авторской манеры писателя. Весьма сочувственно принял он и повесть «Горнюха».

СКАЗ О ТОМ, ЧТО СГУБИЛО ХОРОШЕГО ПАРНЯ

Любопытно, что у главных героев повести есть невымышленные прототипы. Раз и навсегда, отложившись в памяти, они остаются в писательской «кладовой» и выходят на сцену тогда, когда он чувствует потребность снять их с полки.

Николай Горненко – хороший, в сущности, человек, был безжалостно перемолот «полным раскардаком в стране, жизни общественной и личной». Новая действительность представлена Клавдией Матвеевной, эдакой одесской леди Макбет перестроенных и постперестроенных лет, которая, подобно дьяволу, потребовала у героя сначала тело, затем душу и, наконец, самую жизнь.

«Горнюхе», пожалуй, больше всего из написанного Кожушняком повезло с критикой. Среди множества опусов, посвящённых пресловутым 90-м, повесть «автора из провинции» не затерялась. В некотором роде апофеозом всеобщего признания можно считать заметки о «Горнюхе», которые напечатал в «Литературной газете» (2004 г.) Александр Яковлев.

Позже саму повесть Валерий Хатюшин (2009 г.) опубликовал в «Молодой гвардии». Свежие номера журнала выкладывались в интернет. Так имя писателя оказалось на слуху. Тут подоспели публикации в «Авроре», затем



в сибирских изданиях. И «литературные сани мои стали потихоньку набирать скорость», не без иронии вспоминает Кожушник. Широкий резонанс был вызван в первую очередь тем, что появилась повесть как нельзя более кстати, явив новую проблематику и новых героев. Таким образом, автор попал в важнейшие болевые точки времени. Вместе с тем «Горнюха» выгодно отличается от скороспелых «фельетонов» тех лет глубокой проработкой характеров, сочувствием к персонажам, да и весь сюжет исполнен не в чёрно-белой гамме, а в полном спектре красок жизни («Много чего намешано в нашем человеке», мимоходом отмечено в «Записках прохожего»). И, как всегда у Кожушника, обыденная фабула поднимается до современного эпоса, финальная же гибель Николая обретает масштабы античной трагедии.

Высоко оценил повесть наш замечательный земляк, «московский бессарабец» Кирилл Ковальджи, который писал, что среди двух крайностей – претензий на элитарность и бульварного читателя – он с особым удовольствием окунулся в волны прозы «нормальной», то есть без изысков и дешёвки:

«Герои Кожушника – и прежде всего Николай Горнюха (Горнюха) – оказались в невесомости, без ориентиров.

Тихая катастрофа: в считанные дни исчезла сверхдержава, “маяк человечества”, провозгласившая самые благородные цели интернационального братства трудящихся и социальной справедливости (с другой стороны – “империя зла”). И вдруг – пустота. Граждане разобщены, представлены самим себе, надо просто выживать...

Читатели будут сочувствовать Николаю, сопереживать ему, радоваться его любви и огорчаться его человеческим и предпринимательским неудачам, но разве сам Николай или только Клавдия Матвеевна виноваты в его трагической гибели? Правду пишет Кожушник: не смог Николай стать “новым русским”. Он не хищник, он человек – не лучше и не хуже других. Как быть таким? Неужели они обречены на поражение, неужели они “закономерные” жертвы смутного времени? Писатель заставляет задуматься, увидеть и понять, что происходит на окраинах бывшей державы (и не только там). Всякое сопереживание – урок и крупица надежды. А надежда есть – пусть она несколько символическая: в часы гибели Николая у него рождается сын. Смерть и рождение, слова “новая весна” – последний аккорд повести и предвестие иного начала. Валерий Кожушник не обманет ожиданий читателя, тоскующего, как и я, по добротной, достоверной, честной прозе.

Остается только пожалеть, что Кирилл Владимирович ушёл из жизни, не успев прочесть «Записки прохожего».

ОГЛЯНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ

Главному произведению сборника прозы предпослан эпиграф из Есенина:

*В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой...*

Это своеобразный камертон к повествованию, в котором, к слову говоря, то и дело сквозят литературные аллюзии, к числу которых можно отнести и вынесенную в заголовок статьи строчку поэта из Рыбницы Валентина Ткачёва.

«Роман в капсулах, письмах, монологах, откровениях, в снах и видениях» – даже подзаголовок указывает на множественность поднятых здесь пластов. Писался он четверть века, вдобавок на сломе эпох. И вместил десятки сюжетных линий, огромное число персонажей (реальных и вымышленных), «наброски с натурь», размышления о «природе вещей», о связи времён и тайных глубинах человеческой психологии, впечатления от пережитого и прочитанного. В результате получился небывалый сплав, которому довольно сложно подобрать определение.

Не случайно публикаторы оказались в растерянности. На одних электронных сайтах «Записки» анонсированы как любовный роман, на других – как приключения. Что ж, в каком-то смысле правы и те и другие. Однако история взаимоотношений Анатолия Сергеевича и Женечки, протянувшаяся от начала повествования до финала, всё же, думаю, не является основной. Это скорее тот вертел, на который автор насадил многочисленные составляющие своего «шашлыка». И уж тем более не становятся самодовлеющими различные пертурбации, куда попадают то автор, то его герои.

Внутреннее пространство произведения куда более масштабно, чем love-story или adventure. Так у Стругацких старинный приземистый лабаз на поверку оказывается многоэтажным сказочным НИИЧАВО («Понедельник начинается в субботу»). В этих лабиринтах немудрено затеряться: но они же придают всей вещи неповторимость и ёмкость, вмещающая всю боль, накопившуюся за годы развала Союза, всё неустройство жизни, всю тоску по утраченным близким, всё, о чём порой не

скажешь вслух, и многое, многое другое. Отсюда в «Записках» ощущение большого пути, который проходишь вместе с писателем, а ведь 270 страниц – далеко не предельный объём подобной эпопеи.

Да, роман, в отличие от форм малой прозы, здание многоэтажное, с многочисленными закоулками, лестницами, ходами-переходами, запертыми дверьми, лабиринтами, но тем интересней исследовать это строение. Другое дело, куда заведёт тебя автор. Встретит ли, приветит, накормит-напоит, найдёт ли с тобой общий язык? Или бросит на произвол судьбы, так что вся эта сложная конструкция окажется всего лишь хитроумной ловушкой, за которой – ложный шик, блеск, красота? Или, наоборот, шпик, мрак, пустота?

Начиная читать «Записки», я опасалась, что на поверку они рассыплются на мелкие фрагменты, но нет, каким-то чудом Валерий Кожушнян всё это соединил – и оно держится. Притом всевозможные экскурсы и «отклонения от генеральной линии» читателю и современнику порой важнее других, вроде бы более очевидных сюжетных ветвей. В напряжении держит не интрига, а внутренний нерв, личное отношение ко всему. Ну и, конечно, всё, что автор накопила за жизнь как человек, мужчина (потому что это определённо очень мужская книга) и литератор.

Немало тонких любопытных наблюдений о романе принадлежат известному крымскому писателю Льву Рябчикову, который в книге Кожушняна выступил и как автор предисловия (то есть аналитик), и как редактор, то есть человек, вдоль и поперёк изучивший собственно тексты. И при этом он признаётся, что, в очередной раз, перечитывая роман, неизменно открывал для себя нечто новое – «детали, образы, мысли, прежде пропущенные из-за множества других». Это, в частности, говорит о множественности пластов произведения, о многообразии затронутой в нём проблематики и, главное, о сложности, глубине и неоднородности художественного целого.

Л. Рябчиков определяет это произведение как притчу. Можно с этим соглашаться или нет, но, когда читаешь и прочитанное нравится, для тебя не важно, какой ярлычок можно навешать, а варьировать можно до бесконечности, потому что перед нами вещь значительная, объёмная и синтетическая по жанру.

Примечательны две цитаты из романа, приведённые Рябчиковым. Первая касается, скажем так, технологии писательского труда «Я не умею выдумывать, я умею дорисовывать набросанные жизнью эскизы». Это сказано не ради красного словца. За каждым персонажем, за каждым поворотом сюжета ощущается золотой запас лично

пережитого, впитанного, увиденного, услышанного. Для прозаика особенно важно, чтобы он не просто катил мимо или поехал по путёвке, но исходил это пространство своими ногами, пожил, потёрся между людьми, сделал чужие места своими, а родные описал так, чтобы их могли полюбить даже те, кому не доводилось здесь бывать.

Должна честно сказать, что моими любимыми страницами «Записок» стали невыдуманные истории – детство, юность автора, его журналистские встречи, отсылки к событиям конца 80-х – начала 90-х вплоть до чистой публицистики. То есть именно то, что принято называть нон-фикшн (англ. non-fiction) – особое сочетание документальной прозы и художественного вымысла с явным преобладанием первого компонента. И что так свежо контрастирует с повсеместно распространёнными игрушечными жанрами – всеми этими фэнтези, фанфиками и прочим трудно истребимым бурьяном.

Вторая цитата: «Моя душа пробита пулями междоусобной войны, и кровоточит совесть...» – соотносит личную драму с общей трагедией великой страны и её обманутого, обобранного и насильственно расколотого народа. Нельзя пройти через поле боя сторонним наблюдателем, рефлексирующим созерцателем – опалит огнём, полоснёт очередь, запепит осколком. (Так главный герой теряет память то ли после попадания в голову снайперской пули, то ли после солнечного удара). И в поисках ответа на вечный вопрос – «Кто виноват?» – человек, думающий и чувствующий, будет кивать не только на трудные времена или нерадивых и продажных правителей. Он не снимет бремя ответственности с собственной персоны, поскольку не отделяет себя от своей эпохи и своего народа. Эта кровная связь, эти кровоточащие раны – не литературная уловка, не подделка. Когда со всех сторон нам подсовывают несъедобные муляжи или ловко состряпанную синтетику, Кожушнян протягивает читателю кусок хлеба, да, чёрного, да, грубого помола, но настоящего.

Возвращаясь к эпиграфу, хотелось бы напомнить, что стихотворение Есенина обращено к любимой сестре Шуре и заканчивается четверостишием:

*Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь,
Нам одну любовью с тобою
Эту родину привелось.*

И эти строки, пожалуй, именно тот ключ, который помогает понять не только выбор названия, но и общий замысел романа.



ПРЫЖКИ В ВОДУ

«Да никуда не денешься, время было суровое, не до гуманности тут. Страна строила счастье сразу для всех, отдельные личности в расчёт не брались» («Друг»). «В любом государстве, даже в странах хвалёного демократического Запада, устанавливается планка – своеобразный ограничитель всяческих свобод. И чем жёстче режим, тем ниже потолок над головой, иной раз и на четвереньки приходится опускаться, чтобы хоть как-то двигаться. Но совсем беда, когда резко убираются всяческие ограничения и ограждения. Ревущая, опьяневшая от призрачной воли орда на полусогнутых ногах несётся тогда неудержимо по просторам Отчизны, сокрушая и сметая всё на своём пути. Всё можно! И воцаряется хаос, в котором, как рыба в воде, чувствуют себя превосходно только проходимцы и свиные рыла разного калибра» («Записки прохожего», глава седьмая, одна из любимейших моих вводных новелл «Призрак коммунизма»).

Даже по этим двум небольшим отрывкам заметно, что автор пытается осознать те бесконечные катаклизмы, которые переживала наша страна. Тут и Великая Отечественная, и «малая война» на Днестре, и безымянно сплывшие «в колымских распадах и карьерах, в воркутинских штольнях и перелесках, в казахских буранных степях», и все «переломы устоев», выпавшие на долю народа. Бесконечная боль, бесконечные испытания, бесконечное терпение.

Внимательный читатель, без сомнения, обратил внимание на то, что ни в одном произведении Валерия Кожушняка не найдётся голливудского «поцелуя в диафрагму» и хэппи-энда. Маленькая частная история, как и общая, всегда окрашена у него драматизмом и привкусом горечи, и понятно почему. Вместе с тем от книги не веет чернухой и отчаянием. Напротив, в ней, вопреки всему, ощущаются тепло, свет и надежда.

– Это именно те субстанции, – признаётся автор, – которых мне недоставало в детстве. Интуитивно я хочу именно такой участи своим героям. Но жизнь, как ни печально, кончается смертью.

Вот в этом нервно вибрирующем натяжении между бытовым и бытийным, мне кажется, заключается секрет огромной притягательности прозы Кожушняка.

В любое его произведениеходишь как в хорошо обжитой дом, где всё знакомо и каждый предмет на своем месте. Автор входит в сюжет без лишнего плеска, что называется, не гонит волну. По поводу этого сравнения Валерий Иванович

мог бы рассказать увлекательную историю о том, как в детстве со сверстниками и пацанами постарше прыгал с бетонных мостков почти на самой Дубоссарской плотине, со стороны водохранилища, «солдатиком» на спор – кто без брызг войдёт в воду. А высота там была до трёх метров! Так что без сноровки можно было запросто расшибиться... Кто знает, не те ли давние впечатления повлияли на творческую манеру писателя? Сам он предпочитает не теоретизировать, но точно знает, что должно быть именно так, а не иначе – и по стилистике, и по эмоциональному настрою, и по выбору словесных конструкций.

Действие разворачивается неторопливо, подчёркнуто обыденно. Тем временем постепенно накапливается драматизм, почти незаметно, внутри, без внешних эффектов. И вдруг – бах! – внезапная кульминация, подобная взрыву порохового погреба. Точно также любое произведение, начинаясь подчёркнуто обыденно, исподволь обретает едва ли не мифологический размах.

И ещё одна интересная особенность. Вслед за развязкой следует ещё и некое послесловие. Вроде бы связанное с сюжетом, но не напрямую, а под каким-то иным ракурсом. С позиций другой «точки сборки». Так строил выход из своих новелл Проспер Мериме, не повышая градус по окончании последней сцены, а как бы слегка отступая в сторону от фабулы и давая читателю возможность перевести дыхание.

Мне уже приходилось писать о языке Кожушняка, всегда адекватном тому, о чём идёт речь: не вылизанный, не выхолощенный, не книжный, но вместе с тем богатый, гибкий и глубокий.

Природа наделила этого прозаика тем особым даром, который не дётся выучкой и практикой. Только абсолютный слух позволяет ему улавливать и талантливо передавать особый говор нашего края. Тот самый, который соседи-одесситы давно «прихватизировали» и сделали фирменным знаком своего славного города. Писатель Валерий Смирнов даже составил «Большой полутолковый словарь одесского языка», выдержавший не одно издание. Однако ареал этого прелестного «суржика» куда шире.

Вот, к примеру, диалог двух стариков в повести «Горнох»:

«– Гайда, ставай тута, возле мэнэ. Сшас карась пийде, я добре подкормыв макухой.

– Петря, я ж на окуня приехал. Пока малька ловил, пока леску менял, уже и соареле (солнце – *молдавск.*) поднялося.

– Куды с окунями лезешь? Тута караси тока клоють. О тож, ты рыбак такой, холера тоби в бою».

Насколько же отличается эта яркая речевая окраска от стёртого, «среднестатистического» языка, каким разговаривает подавляющее большинство персонажей современной литературы!

У каждого художника есть «место силы», откуда он черпает темы, образы, впечатления, – его малая родина. К примеру, Михаил Ларионов, возможно, не попал бы в историю живописи, если бы у него не было солнечного Тираспольского детства, подарившего XX веку новое направление – лучизм.

Для Валерия Кожушняка вечным источником вдохновения всегда было родное Поднепровье. Конечно, повлияли на него и учёба в Москве, и работа в Сибири, и армейская служба в Закарпатье и Забайкалье, но главное «место силы» остаётся здесь.

– Я с детства впитывал удивительный язык нашей южной окраины и мечтал дать ему прописку в литературе, – говорит Валерий Иванович. – В ранней юности подвигли меня на это строчки Маяковского «улица корчилась безъязыкая...» – пока не появился он – поэт. Укрепило мою мечту и чтение «Донских рассказов» Шолохова. А почему моя родная сторона не имеет права на такую языковую особенность? Хотелось, чтобы везде и всюду узнавали говор нашей родной *магалы*. Дерзко? Может быть. Но я уже не мог остановиться и подспудно лепил свои произведения, уснащая их неповторимым языком русско-молдавско-украинского юга.

Но, как нередко бывает, особая эстетика Кожушняка, так выделяющая его из ряда, стала не столько благословением, сколько проклятием. Северней некоторых широт, где «моя твоя не понимай», южный говор легко принять за «испорченный русский». Возможно, именно поэтому так непросто складывалась судьба писателя и уже сверстанные его рассказы вылетали из готовых номеров различных российских журналов. Замкнутый этот круг разорвал, как уже упоминалось, главный редактор «Молодой гвардии» Валерий Хатношин, который уже дважды публиковал нашего земляка, а в нынешнем году запланировал дать отрывок из «Записок прохожего».

Сегодняшнее время «ложных солнц», когда

у всех на слуху оказываются коммерческие или конкурсные ододневки, увы, не благоприятствует тому, чтобы книгу Валерия Кожушняка оценили так, как она того заслуживает. И всё же, будь на то моя воля, следовало бы выдвинуть её на одну из серьёзных литературных премий. Хотя автор к этой идее относится крайне неодобрительно: «Наблюдаю в фейсбуке, как писатели, лауреаты чего-то, посят фото каких-то грамот, дипломов, – и делается смешно и грустно. Как тщеславны люди! Прости, Господи, и пожалей бедолаг! Да и зачем это нужно? Удостовериться, будто что-то значу в этом суетном мире? И так знаю, что значу. Но это для себя и близких».

Тут я вынуждена во многом согласиться с Валерием Ивановичем. К большому сожалению, нынешняя практика «раздачи слонов» к достоинствам или недостаткам того или иного сочинения равнодушна. И всё же хочется надеяться, что время следит воду, отсеет шелуху, и в сухом остатке останутся те редкие крупинцы настоящего, что и составляют золотой фонд литературы.

Как говорил Сергей Довлатов, критическую статью нужно писать так: излагать краткое содержание, всячески нахваливать автора и всем рекомендовать быстрее бежать и читать его книгу. Шутки шутками, но в этом есть рациональное зерно. Ведь то, что не зацепило, не вызывает желания откликнуться.

На фестивале «Бессарабская осень», разбирая опусы начинающих прозаиков, известный российский писатель Леонид Юзефович высказал любопытную мысль. Если вещь удалась, какой смысл искать в ней «блех»? Если не удалась – тем более. Я не задавалась целью найти «блех», да их, мне кажется, и нет. А главное – нет лукавства, нет игры в поддавки с читателем, нет фальши и заданности. Это подкупает с первых же строк и рождает доверие к автору. И уж, конечно, у Кожушняка нет, и не может быть, пришитых белыми нитками счастливых концов, как полагалось бы приличному любовному или приключенческому роману. Да, жизнь наносит душе незаживающие раны, да, она кратковременна и в этой кратковременности трагична, но зато дарит, пусть и не часто, радостные дни и счастливые мгновения. Так будем ей за это благодарны.

Александра Юнко (26.06.1953 – 23.07.2018) – поэт, прозаик, эссеист. Родилась и жила в Кишинёве. Руководила литературным объединением «Орбита» при газете «Молодежь Молдавии» (1976–1981), создала литобъединение «Черновик» при газете «Русское слово». Автор нескольких книг стихов и прозы (переводных, оригинальных и в соавторстве с Юлией Семеновой), книги эссе «Гадание на Пушкине», многочисленных статей о классической и современной литературе. Стихи и проза печатались в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Южное Сияние», «Семь искусств», «Зарубежные задворки» (Германия), «Артикль» (Израиль), «Порт-фолно» (Канада), «45-я параллель», «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Поэтоград» и др. Лауреат премии журнала «Зарубежные записки» (2015). Победитель конкурса Ассоциации русских писателей Молдовы и журнала «Русское поле» имени Антиоха Кантемира (2016).

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 27.08.2018 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,85.
Зам. 1438. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17